ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК



1986
НАШ СОВРЕМЕННИК
5

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ



Как долго мы не виделись, сестра...

Фото А. Стешанова

НАШ СОВРЕМЕННИК



ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

5 МАЙ 1986

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», МОСКВА

Вечные обелиски

Анатолий КУЗЬМИН

Судьба

Без хитрости живем.
И чтим, ни с кем не ссорясь,
на первом месте — совесть
и верность — на втором...

У нас в сердцах война
и в памяти — навеки.
На каждом человеке
оставила она
какую-то печать:
иль шрамы,
иль седины,
иль горькую кручину
о всех, кому не встать,
кому в земле лежать —
родным, знакомым,
близким.
До вечных обелисков —
везде — рукой подать...

Добрей народа нет.
А жить пришлось народу
с бедой — четыре года.
И с болью — сорок лет.

Валентина КОРОСТЕЛЕВА

Пляши, вдова!

Одернув юбку узкую,
Ульяна в круг вошла
И не спеша под музыку
Плечами повела...

Вдруг топнула, нарядная,
По-русски, от души!
И кто-то крикнул, радуясь:
— Пляши, вдова, пляши!

Ах, как она отчаянно
Пошла кружить-дробить!
Как будто все печальное
В паркет хотела вбить.

И горе незабытое,
И слезы, что в тиши...
Нет милого — убитого.
Пляши, вдова, пляши!

За слово, что не скажется,
За свет земной души,
За всех, кому не пляшется,
Пляши, вдова, пляши!

Николай ДОМОВИТОВ

Убежать бы мне в юность

Вот я вижу: стоят на крутом берегу
И глядятся в реку высоченные ели.
Убежать бы мне в юность, а я не могу —
Замели все дороги седые метели.

Вот я вижу Любань и сожженную Мгу.
И снимаю с ремня я пробитую фляжку.
Убежать бы мне в юность. А я не могу —
Заросли блиндажи лебедой и ромашкой.
Вот я вижу друзей: мы лежим на снегу
И кричим, задыхаясь: — Атака отбита!
Убежать бы к друзьям мне, а я не могу —
Я живой, а друзья — из гранита.

Фазу АЛИЕВА

Мужья военные

Твердит все чаще тетя Патимат
Своей уже невестящейся дочке:
— Военные — вот лучшие мужья!—
Дочь слушает с улыбкою, молчит.
Как ей не знать
пристрастия причину!
Глава семьи, Гамзат, не сводит глаз
С жены, когда такие речи слышит.
Он так глядит на Патимат свою,
Как в тот далекий,
солнечный насквозь
День мая, незадолго до войны.

Когда их вышел провожать аул,
Себе сказал он твердо: «Я вернусь
С победой и женюсь на ней».
И не был, горский парень,
ласков он;
Сказать по правде—даже грубоват.
И слез ни на закат, ни на восход
В восторге не ронял.
Совсем не знал,
Что нужно женщинам дарить
цветы...

И стал Гамзат пехоты рядовым,
И колесо войны толкал плечом
На запад день за днем,
за годом год,
И смертью, словно воздухом,
дышал.
И было чудо — весь изрешечен,
Он выжил, брéдя по госпиталям.
И было чудо — не лишился ног,
Огнем гангрены тронутых. И вот
Пошел он бездорожьем на закат,
В лесу, на безымянной высоте
В снегу кровавом,
среди мертвых тел
Подснежники увидел! И сорвал!
И в тот же миг до боли ясно он
Представил горы отчие, аул
И Патимат, идущую к ручью
С кувшином на плече...
Вился дымок
От очагов и таял в вышине.
И мать свою средь многих матерей,
Глядящих вдаль, на запад, увидал.

И сколько он потом, не сосчитать,
Прошел огнем кипящих рубежей,
И скольких он товарищей своих
Похоронил в чужой земле,
пока
Не вырвалась, как из скалы родник,
Из сердца радость — в миг,
когда расцвел
Весенний день Победы на земле.

Так повелось давно: он раньше всех
Встает, пока еще заря
Далекие вершины не зажгла.
Он лучше всех в ауле знает, где
Фиалки и подснежники растут,
И каждый день их носит Патимат,
Протягивая левою рукой
Букет,— а правая не может слез
Стереть с лица, поскольку он ее
В бою последнем, там, в чужой
земле,
Оставил.

С аварского.
Перевод Александра МЕДВЕДЕВА.

Николай СЛАСТНИКОВ

Вспоминает майор

Отгремела гроза.
Отшумела раскатами грома.
Снова солнце встает
И плывет над равниной земной.
Но тревожная память
Прожектором аэродрома
Ловит темные тени
И гасит одну за одной.

Вспоминает майор —
Он сегодня уходит в отставку,
Он своё отслужил,
И пора подытожить года.
Впрочем, к выслуге лет
Надо все ж таки сделать поправку:
Их легко распознать —
Ветеранов войны и труда.

Вспоминает майор...
Вспоминает жестокие годы.
В черном цвете — Мадрид,
В красном — Ханка
и Малый Хинган.
Лишь закроет глаза —
Налетают в крестах самолеты.
И кричит лейтенант:
— Батарея! Огонь по врагам!

Из горящего Бреста
Он вышел одним из последних.
Шли по ровненским топям,
Шутил старшина Бутурлин:
— Не тужи, лейтенант,
Мне, однако, приснилось намедни,
Как обратным путем
Мы шагаем с тобой на Берлин!..

На смоленской земле
Он остался с посмертною славой —
Алексей Бутурлин —
Весельчак, астраханский рыбак...
Вспоминает майор,
Как своей недолеченной правой
Он вписал его имя,
Впечатал в разбитый рейхстаг.

Ах, какая весна —
Огнекрылая птица Победы! —
Как тогда пронеслась
Над разбуженным миром она.
А потом — тишина...
Непривычные взгляду рассветы.
Только в сердце — бои,
Да погибших друзей имена.



Что помнят ветераны

Алексей ФЕДОРОВ,
бывший командир 241-й бомбардировочной авиационной Речицкой ордена Кутузова дивизии, доктор исторических наук

«ИДУ НА ТАРАН!»

Родина наша — колыбель героев, огненный горн, где плавятся простые души, становясь крепкими как алмаз и сталь.

Алексей Толстой.

НЕРЕДКО во время встреч слушатели, знакомые с моей судьбой, нет-нет да и зададут горький вопрос, как, мол, это я, военный летчик бомбардировочной авиации, в первые часы войны оказался на земле под бомбами фашистских самолетов? Задают его студенты, солдаты, рабочие. Задают в общежитиях, аудиториях, на заводах.

Горестно, конечно, вспоминать то время, когда фашисты, часто безнаказанно, метали смертоносный груз на наши мирные города. Об этом немало написано. И все-таки каждый раз, когда меня спрашивают о тех днях, чувствую, что не могу не рассказать. Вспоминаю Севастополь, где служил в морской авиации, раскаленный воздух, наполненный пылью и приторной пороховой гарью. В грудах дымящихся развалин лежат здания. Я вцепился в оконный переплет, и сознание собственной беспомощности терзает душу. Кажется, каждая бомба нацелена прямо в тебя, а ты, оторванный от пилотского кресла, не в состоянии чем-либо помочь пылающему городу.

Да, нелегко рассказывать о таком. И я всякий раз напоминаю моим слушателям о бдительности, ибо подобное не должно повториться...

Не скрывая суровой правды, не замалчивая совершенных ошибок, я, естественно, не им посвящаю основную часть своих выступлений. Ведь совершенно очевидно, что даже в пылу полемики самым горячим головам не следует забывать, что высшей правдой Великой Отечественной является наша Победа. А фундамент ее — героизм народа, его преданность своей матери-Родине.

Вспоминается первая военная осень и тревожная торжественность 24-й годовщины Великого Октября. В авиационных полках шли митинги. Проходил он и в 24-м бомбардировочном полку, которым тогда командовал Герой Советского Союза подполковник Ю. Н. Горбко. Навсегда запомнилось мне выступление на этом митинге летчика лейтенанта В. Челпанова, его клятва: отдать для победы все силы, а если понадобится — и жизнь... А двадцать дней спустя он выполнил клятву.

В те дни завязались ожесточенные бои за Орел. Из района города Ливны гитлеровцы перебрасывали танковую колонну. Летчик Василий Челпанов только что вернулся с боевого задания: водил звено бомбардировщиков на бомбежку колонны. Встретив своего командира полка, он сказал:

— По данным дешифровки аэрофотоснимков, уничтожено лишь несколько танков и автомашин с пехотой. Для такой цели это всего лишь укус комара. — И попросил разрешения участвовать в повторном вылете.

Хотя Горбко и уважал этого смелого, тактически грамотного командира звена, но ведь надо же было ему дать и отдохнуть. Однако Челпанов настаивал.

— Ладно, готовьтесь, — сказал подполковник устало, — вылет через два часа.

Бомбардировщики повел сам командир полка. Вот и нужный район. Растянувшись, подходит к деревне вражеская колонна. Противник, заметив наши машины, открыл ураганный огонь. Между колонной и бомбардировщиками встала стена разрывов. Но летчики пробились сквозь этот черно-багровый ад.

Споткнувшись о барьер бомбового удара, гитлеровская колонна замерла у околицы. Движение на дороге застопорилось. Горели машины, взрывались бензоцистерны. Слабел зенитный огонь. Горбко принял решение повторить заход. И вновь нанес прицельный удар.

При выходе из пикирования в самолет Челпанова попал зенитный снаряд. Задымил левый мотор. Экипаж подбитого бомбардировщика мог бы взять курс к линии фронта. Мог воспользоваться парашютами... Но Челпанов решил пикировать. Последние слова, которые услышали летчики в шлемофонах, были:

— Иду на таран! Прощайте, друзья! Погибаем за Родину!

Горящей кометой «Петляков» врезался в центр скопления механизированной колонны гитлеровцев.

Это произошло 27 ноября 1941 года. А спустя два месяца, когда 24-й Краснознаменный авиаполк перебазировался в район Ливен, пожилой крестьянин рассказал командиру полка:

— Огромной силы взрыв потряс нашу деревню. И потом мы долго слышали взрывы, крики фашистов. Дымились многие танки.

В землянку полкового КП старик принес обгоревший планшет Челпанова. В нем были — полетная карта с нанесенным маршрутом и расчетом полета, ветрочет, навигационная линейка и небольшая фотокарточка.

Крестьянин долго и внимательно всматривался в лицо Василия, потом покачал головой:

— С виду обыкновенный, а сердце, видать, имел орлиное...

После смерти Челпанова и его экипажа однополчане, и прежде всего Герой Советского Союза подполковник Ю. Н. Горбко, повели «счет мести».

Горбко прибыл в 24-й авиационный полк незадолго до войны. На рассвете 22 июня 1941 года его полк подверг бомбардировке боевые порядки гитлеровцев. Стремительность и точность первого бомбового удара ошеломила противника. Даже его истребители не сумели помешать бомбардировщикам, которые вел Горбко. Наши пограничники получили несколько часов для передышки и перегруппировки сил...

27 мая 1942 года разведка донесла, что в районе Изюм—Барвенково замечено значительное скопление танков противника. По всем признакам, гитлеровское командование готовило «большой таран». План противника надо было сорвать.

...Враг огрызался зло, бешено. Изрешеченный снарядами и пулями, «Петляков» Горбко едва держался в горизонтальном полете. Но только после того, как задание было выполнено и от горящих фашистских танков потянулись черные шлейфы, он попытался перетянуть самолет через линию фронта.

Быстро падала высота, уменьшилась тяга моторов. Фашистские истребители «Ме-109» продолжали атаковать горящий бомбардировщик.

Отрываясь от них, Горбко бросил взгляд на полетную карту — до расположения наших войск было совсем близко. Но машина уже почти не слушалась. И тогда он направил самолет на торфяное болото... Плюхнувшись на фюзеляж, машина поползла по мокрой траве. И тут случилось неожиданное: самолет ударился о большой торчавший пень. Ноги пилота оказались намертво прижатыми к основанию сиденья педалями ножного управления. Стрелок-радист и штурман бросились на помощь командиру. Но освободить Горбко им не удалось.

Штурман и стрелок-радист в отчаянии метались у самолета. С секунды на секунду могли взорваться бензобаки. Горбко понял это. Он молча сорвал с груди Золотую Звезду Героя, вынул из кармана партийный билет, удостоверение личности и передал все это штурману:

— А теперь уходите! Немедленно!

Ни штурман, ни стрелок-радист не двинулись с места, все еще надеясь спасти командира.

— Если помирать, так вместе! — сказал штурман.

— Уходите! Вам еще бить фашистов. Слышите? Я приказываю!..— Горбко вынул из кобуры пистолет. — Уходите!

Не спуская глаз с командира, штурман и стрелок-радист медленно начали пятиться. Не успели они сделать и двух десятков шагов, как услышали сухой треск пистолетного выстрела. Вскоре взметнулся огромный столб пламени. Один за другим раздались два взрыва...

У матери Горбко — Анны Ивановны — до последнего дня ее жизни хранилось множество писем, полученных ею от сослуживцев Юрия Николаевича и ветеранов войны.

В богатейшей почте есть и письмо маршала авиации С. А. Красовского, командовавшего воздушной армией, в состав которой входил 24-й Краснознаменный Орловский ордена Суворова бомбардировочный авиаполк. Он писал: «У меня в памяти Юрий Николаевич Горбко навсегда остался обаятельным и красивым человеком. Его очень любили подчиненные, высоко ценило командование... Душевность и юмор у подполковника Горбко сочетались с решительностью и смелостью в воздушных боях. Для нашей 2-й воздушной армии гибель Юрия Николаевича была невосполнимой потерей».

Память о боевых подвигах таких людей, как Ю. Горбко, В. Челпанов и многих других, — неизгладима. Ибо они отдали жизнь за Родину, за наш нынешний светлый день. Жизнь их стала поистине легендой, которая будет передаваться от поколения к поколению, вызывая восхищение мужеством героев...

В минувшую войну немало наших летчиков прибегали к столь исключительному приему воздушного боя, как таран. Не предусмотренный ни одним воинским уставом, кроме «устава» безграничной любви и преданности Родине, таран с первых часов войны с гитлеровцами был зачислен советскими авиаторами в арсенал средств воздушной борьбы. **Уже в первый день войны — 22 июня 1941 года советские летчики шестнадцать раз применяли таран, а за годы всей войны было совершено более шестисот воздушных таранов, в них участвовали 558 летчиков-истребителей, девятнадцать экипажей штурмовиков и восемнадцать экипажей бомбардировщиков. Тридцать четыре летчика применили таран дважды, а Герой Советского Союза Алексей Хлобыстов — трижды.**

Известен подвиг капитана Николая Гастелло, который 26 июня 1941 года бросил свою горящую машину на вражеский эшелон. Всего же за время войны (по последним данным) совершено 503 тарана наземных целей.

Памятен мне таран на пикирующем бомбардировщике «Петляков-2», который совершил в 1944 году командир пятьдесят четвертого авиаполка подполковник М. А. Кривцов. Мы с ним воевали в одном — 3-м бомбардировочном авиакорпусе.

12 января 1944 года полк получил боевую задачу — уничтожить скопление железнодорожных эшелонов с техникой и живой силой на узловой станции Калинковичи.

«Петляковы» еще не успели подлететь к цели, как восемь истребителей противника набросились на них. Завязался воздушный бой. Истребители прикрытия отражали вражеский натиск.

Первый бомбовый удар был точно обрушен на скопление фашистских войск. Взорвались вагоны с боеприпасами. В груды исковерканного металла превратились десятки танков, пушек, автомашин...

И тут произошло непоправимое. Один из снарядов угодил в левый мотор ведущего самолета. «Петляков» вспыхнул. И тогда Кривцов направил горящую машину на вражеский эшелон. Конечно, можно было воспользоваться парашютом. Но подполковник Кривцов, штурман майор Сомов и стрелок-радист Павлов предпочли героическую смерть фашистскому плену.

14 января 1944 года войска Белорусского фронта освободили город Мозырь и железнодорожный узел Калинковичи. Группа авиаторов полка приехала на станцию. Они разыскали останки командира и членов его экипажа. Погибших героев привезли на аэродром Песочная Буда (южнее Гомеля), где базировался тогда 54-й полк, и похоронили со всеми воинскими почестями.

В небе Родины сражались не только мужчины, но и наши славные женщины. В сентябре 1941 года заместитель командира эскадрильи 135-го бомбардировочного авиаполка Екатерина Зеленко вступила в бой с семью фашистскими истребителями. Когда кончились боеприпасы, бесстрашная девушка пошла на таран...

Меня нередко спрашивают: а шли ли на таран гитлеровские летчики? Ведь у фашистов было немало летчиков-асов. Но ни один из них в ходе всей войны ни разу не решился на подобное. Объяснение, думается, тут одно: таран — оружие сильных духом, стойких, преданных своему народу бойцов. Они горят желанием победить. И это не фанатизм. Это осмысленный подвиг во имя Родины. Гитлеровские летчики не могли понять такого поведения наших пилотов и вели себя в подобных случаях неуверенно. Чувство страха перед тараном сковывало их действия и часто мешало использовать превосходство в технике. Сейчас находятся фальсификаторы, которые в беспримерном мужестве и отваге советских авиаторов видят проявление какой-то «темной» и «неосознанной» силы. Они умышленно искажают представление о морально-психологических качествах советских людей, пытаясь обесценить суть самого подвига. Но им это не удается!

Самоотверженно, бок о бок бились с врагом русский и казах, белорус и украинец, грузин и удмурт. Армейское братство, скрепленное кровью, — что может быть выше и святей!

Мне часто вспоминается образ боевого командира эскадрильи, татарина по национальности, Рафиджана Сулиманова. Встретился я с ним впервые в 1943 году. Когда прибыл в дивизию и стал знакомиться с летчиками, мне его представили как лучшего комэска 24-го авиаполка. Передо мной стоял подтянутый среднего роста человек атлетического телосложения. Черные, зачесанные назад волосы, живые карие глаза.

— Казанский? — спросил я, обрадовавшись, что встретил земляка...

Вскоре в армейской газете появилась статья про то, как экипаж Сулиманова прямым попаданием вывел из строя железнодорожный мост через реку Березину. Корреспондент справедливо назвал его экипаж интернациональным: штурманом был украинец Герой Советского Союза капитан П. Козленко, а стрелком-радистом — грузин, начальник связи эскадрильи старший лейтенант П. Рехвиашвили. Таких интернациональных экипажей было немало и в 128-м, и в 779-м авиационных полках дивизии, все они отличались исключительной слаженностью в работе, четкостью при выполнении боевых заданий.

Когда мы базировались на территории Германии, гражданское население с любопытством рассматривало нас — какие мы, русские? Что движет нашими поступками? Особенно их удивляла нелегкая судьба летчика 128-го полка Ильи Маликова. В одном из полетов на станцию Ржевск пилот потерял правую ногу. После госпиталя Илья не поехал домой, а вернулся в свою часть и упросил командующего 16-й воздушной армией — генерала С. И. Руденко оставить его для наземной службы. Спустя некоторое время его допустили к полетам на самолете «У-2». А потом, после многих сомнений, ему разрешили поднять в воздух пикировщик «Пе-2». Так Илья Маликов благодаря упорству вновь вернулся в боевой строй. С протезом он совершил еще более ста боевых вылетов. За мужество и самоотверженность летчику-бомбардировщику старшему лейтенанту Илье Антоновичу Маликову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

В послевоенные годы мне не раз доводилось встречаться с прославленным летчиком. И совсем недавно — в Москве, на встрече ветеранов 128-го полка со школьниками и преподавателями средней школы № 65 Кунцевского района столицы. Ребята долго не отпускали героя. Их крайне интересовало: как же он без ноги летал на бомбардировщике? Ведь в момент пикирования под крутым углом летчик испытывает большие нагрузки?

Ребята жадно слушали его рассказ, а я вспомнил, как мы метали бомбы по танковым колоннам гитлеровской дивизии «Мертвая голова», на которую, как известно, Гитлер возлагал большие надежды...

Гартмашевка... Она до сих пор стоит перед глазами. Этот пункт показал нам на карте 17 января 1943 года заместитель командира эскадрильи вверенного мне 39-го бомбардировочного авиаполка К. Смирнов, возвратившись из боевого вылета.

Девятка его самолетов «Пе-2», круто пикируя, вывалилась из облаков прямо над

целью. Редкая удача: бомбы легли по двум эшелонам, только что ставшим под разгрузку. На одном из снимков, сделанных штурманом Н. Прохоровым, вдоль четких железнодорожных линий сквозь пелену дыма были видны остовы сожженных вагонов.

Восемь дней спустя, благодаря стремительному продвижению войск Юго-Западного фронта, 39-й авиаполк оказался в Гартмашевке. Благополучно приземлили свои «пешки» на аэродром, недавно покинутый гитлеровцами. И первое, что особенно поразило нас в Гартмашевке, — это готовые хоть сейчас к вылету бомбардировщики «Ю-85» и «Хе-111». Их было более сорока. Противник не успел ими воспользоваться.

Бодро вышагивая по летному полю, мои летчики гурьбой двигались к краю аэродрома, на который как бы набегал из лощины лесок. Через минуту голоса там вдруг оборвались. Наступившая тишина чем-то обеспокоила. Я направился к летчикам и увидел их стоящими с обнаженными головами...

Недавно выкопанный капонир был едва припорошен снегом. Там виднелись трупы... Мужские, женские, детские... У некоторых руки заломлены назад и перекручены проволокой.

— Сколько же здесь замученных?! — Шепот лейтенанта С. Карманного показался мне криком.

— О том фашистского коменданта спросить надо, — жестко сказал недавно прибывший в полк замполит майор Н. Сысоев.

— Надо!.. — с надрывом выкрикнул капитан Смирнов.

Вдали показались люди. Оборванные, в жалких лохмотьях, они, как оказалось впоследствии, чудом спасшиеся, медленно приближались к нам.

Сысоев шагнул вперед, и под заунывный аккомпанемент степного ветра резко зазвучал его голос:

— Дорогие друзья, товарищи! Над этой могилой зверски замученных соотечественников поклянемся отомстить врагу полной мерой!

Так начался тот страшный, стихийно возникший митинг.

— Сто пятьдесят семь зверски замученных, — назвал кто-то цифру. — Сто девять брошено на дно капонира заживо....

— Тяжело, товарищи!.. — скорбно вздохнул молодой боец из батальона аэродромного обеспечения Иван Ткачев. — В Гартмашевке проживала моя семья: отец Петр Савельевич, мама Анастасия Семеновна, меньший брат Петя... Вчера я думал, пришел для меня радостный день. Сегодня... Страшное зрелище... Случайно уцелевшая соседка рассказывала: прятались мои в погребе. Фашисты выволокли их оттуда, затащили в дом и стали расстреливать из автомата. Раненых добивали прикладами. Умирающих топтали сапогами. Прикладами разбивали головы младенцев...

С того дня, возвращаясь с боевого задания, летчики перед посадкой покачивали крыльями, салютуя захороненным в капонире советским людям. А однажды летчик коммунист Алексей Чугунов, доложив о выполнении боевого задания, сказал:

— Не посчитайте за красивую фразу, товарищ командир. Смысл моей жизни теперь в том, чтобы бить и бить эту фашистскую погань! ...Оторвет мне завтра руку — пойду в пехоту, буду разить их одной рукой.

Теперь, спустя многие годы, когда вспоминаю эту небольшую железнодорожную станцию Гартмашевку, всегда думаю: сколько мути навели зарубежные политиканы и социологи вокруг «загадки» характера советского человека! А, в сущности, «загадки»-то никакой и нет: поступками людей руководила лютая ненависть к поработителям, желание мстить за горе и слезы матерей — за все страдания, которые принес фашизм нашему народу.

Подвиг, совершенный нашим народом более сорока лет назад, принадлежит не только тому времени. Он — всегда сегодняшний. И никакие враждебные силы, как бы ни злопыхательствовали, не могут принизить его значения.

Мы слишком хорошо познали, что такое война. Именно поэтому мы настойчиво и неустанно боремся за сохранение мира на земле, за светлое будущее всего человечества!



Анатолий КОНАНОВ

ТОГДА, В ДЕРЕВНЕ

РАССКАЗЫ

Сима

СЕРАФИМУ Игнатьевну Лисицыну назначили бригадиром. Получилось так: мужу принесли повестку вечером, а на другое утро надо быть в военкомате.

Деревушка Заозерье прилепилась на высоком берегу Синьозера, в пяти километрах от правления колхоза. Ни телефона, ни радио в Заозерье не было.

Перед самым уходом из дому Никита сказал: возьми ключи от склада да ведомость с трудоднями не забудь в правленье передать.

Проводила мужа до околицы — дальше не разрешил, — поплакала и пошла по деревне наряды на работу давать. Не удивились заозерцы — и раньше бегала Серафима за мужа, объявляла, кому что делать.

Днем приехал в Заозерье председатель колхоза, собрал бригаду и объявил: «Бригадиром будет Серафима Лисицына. Кто против?»

Против никого не оказалось. Не думала, не чаяла и к власти не рвалась, а вот, поди ты, бригадирит. И не худо, видимо, управляется с делами, если держат. Да и кому быть бригадиром? У каждой бабы ребят ворох, девку молодую поставить, дак что еще выйдет.... А она, Серафима, каждую полянку испробегала, всякую луговину прошагала с косой, какая трава на ней растет — знает. К тому же Никита, считай, пять годов на бригаде стоял, научилась кое-чему от него. Те же трудодни начислять. Скажет, бывало: «Ты, Сима, трудодни-то начисли, у меня вон в той тетрадке все записано, кто что делал...» И начисляла. Так и пообвыкла. Вторую уборочную заканчивает, зима впереди, а забот у бригадира не убавляется.

Раннее сентябрьское утро.

Поют третьи петухи.

Ветер с озера мягкими лапами постукивает в окна. С запада на восток быстро несутся плотные облака, затягивают серой поскониной светлую зарю, но свет пробивается сквозь толщу облаков и полоса зари поднимается все выше и выше.

Скоро взойдет солнце.

Серафима встала, сходила за дровами, затопила печь, поставила в нее чугунок свежей картошки, причесла воды из родника, по пути оглядела свою деревню, но огоньков в окнах не заметила, значит, спят еще люди, подмела в избе — все делала, стараясь не брякнуть ведром, не стукнуть поленом — пятилетняя Катюшка, любимица Никиты, спит.

Рассвет опаздывал.

Серафима беспокойно заглядывает в окно, ее тревожит неустойчивая погода. Всего на три дня дали тракторную молотилку, стоит она под открытым небом, и если, не дай бог, дождь — обмолотить рожь бригада не успеет.

Не дожидаясь полного рассвета, Серафима пошла давать наряды на работу.

— Дарья, к молотилке! — стучит в окно соседнего дома.

— Зайди, торопыга, — сквозь стекло кричит разлохмаченная Дарья.

— Некогда.

— Все тебе недосуг, — обижается Дарья. Надо зайти. Хоть на минуту.

У Дарьи не спят, четверо мал мала меньше уже за столом. Самый малый, двухлетний Андрюшка, канючит:

— Мамка, ись хочу!

Все четверо прижались друг к другу, ждут.

Худые, одни глаза на личиках, сидят тихо, смотрят на Серафиму.

— Молотить, подружка, — участливо говорит Серафима, достает из кармана кусок ржаного каравая, разламывает на четыре части, подает ребятам, со слезами в глазах смотрит, как Дарьины дети бережно отщипывают по крошке хлеб, долго жуют, хотя и жевать там нечего, боязливо поглядывают на мать.

Переминается с ноги на ногу, бежать бы надо, но неловко уйти, не поговорив.

Серафима мала ростом, свежа, курчава, тонка, словно девочка, улыбчива и кажется намного моложе непричесанной, в мятом сарафане и в лаптях Дарьи, хотя им обеим по тридцать два года.

Дарья мечется по избе, шурует кочергой в печи.

— Будь они прокляты, дрова, — не горят, дымят только! Сырые дрова-то, вчера из леса старик Пашко привез. Их бы распилить, да расколоть, да высушить, как ране, с мужиком-то. Но где мужик-от, второй год — ни вести ни павести. Не убит и не ранен, пропал, говорят, без вести. Наделал головастиков — корми, баба. Хорошо, старуха свекровь еще на своих ногах, дак присматривает. — И Дарья, вытащив большой чугун картошки и слив воду, ставит его на стол, зовет старуху: — Архиповна, погляди, чтобы не обожглись, да молочка подай крынку.

Глядит Серафима на подружку, и смешанное чувство заботит ее. Что она может сделать для Дарьи? Мужа разыскать? Хлеба ребятам выдать? От работы Дарью освободить хотя бы на один день? Ничего-то она не в силах совершить. И Серафима чувствует себя виноватой — у нее и муж, слава богу, пока жив, и хлеб есть...

«Ладно с Дарьей, безотказная баба, пошумит иной раз, а на работу не опоздает. И мужик у нее, быть может, жив, мало ли наших в плену... Война», — пытается успокоить себя Серафима и шагает дальше.

— Дедко, жив ты-то? — это уже в избе Павла Ивановича.

— Не помер, слава богу. Зерно сухо, Серафима, на зубах трещит.

— Повезем сегодня. Обоз государству собираю.

— С богом, — напутствует дед.

— По дрова-то поедешь али хватит на ночь?

— Поеду, не печалуй о дровах, это моя забота, — успокаивает дед.

— Да я к тому — хлеб везти, дак подвод не хватает.

— Дак бери, пожалуй, мою-то. Дрова возле риги есть. Ванюшка-то не прибежал? — интересуется Павел Иванович.

— Которые сутки уж не сказывается, где его нечистая сила носит, — в сердцах говорит Серафима.

— Не греши на парня, — одернул Павел Иванович. — Садись-ко со мной за стол, позавтракай, — предложил он. — Не ела, поди.

— Какая еда. Не всю деревню еще обежала. Спасибо, в другой раз.

Рада Серафима. Такой заботник в бригаде, на восьмой десяток, а все робит. Что бы и делать без него. Дрова солдаткам возит и за труд не считает. Вон хомут чинит, тоже никто ему не велел.

Как понять людей? Павел Иванович Корнев из колхоза вышел в первый же год коллективизации, уравниловки невзлюбил, единоличником жил, а война началась — заявление в колхоз подал, перед бедой, сказал, мы все едины. Один мужик на всю деревню, один, как перст, остался...

Серафима оглядела стариковское жилье, пожалела чисто по-женски Павла Ивановича: вымыть бы пол у него да исподнее постирать... «Измолотим хлеб — сделаю», — сказала себе и вышла из дома.

Вот тебе и легкая бригадирова доля: в избе у Павла Ивановича будто душу вывернули наизнанку. Скоро ли она успокоится. А бригадирша торопись, утро уже синью взялось, скоро вон там, за полями, солнце бок свой покажет, новый день объявит.

В делах да в хлопотах не заметила Серафима, как и утро прошло, день начался. Вся, считай, бригада сегодня молотилку обслуживает. Ребятня снопы с поля возит, солому убирает, бабы зерно затаривают в мешки, в ригу ссыпают, под крышу. Шум, гам, смех, ребячий крик. Идет работа.

...Серафима стояла на площадке молотилки, платок повязан так, что видны одни глаза, пыль облаком металась под крышей гумна, зверем ревел пустой барабан, вырывал из рук пряди необмолоченной ржи, давился, захлебывался, сыто урчал, мял, крошил солому, хлестал по железу колосьями, выбивая из них зерно, не давал разогнуть спину.

День заканчивался, все устали. Пришлось подменить Дарью, с ног валится баба. Подает в барабан Серафима. Ловко подвигает под самую правую руку распотрошенные снопы Агния Зверева. Ловко и споро. Бери в обе руки прядь, суй колосом в барабан, пусть его зубья оборвут, растреплют колосья, потом отпускай солому. Не зевай знай.

Ой, забыла ведь, забыла! На дежурство-то назначить. Чья сегодня очередь-то? Неужто Дарьина очередь подошла! Ой, как время-то бежит! Дарья боится одна-то, надо еще кого-нибудь. Вон Машенька Семенова, ленива девка, вишь, снопик-то не торопится на вилах поднять. Зацепит на завязку, да платок поправит, да подумает — не часто ли кидаю-то.

— Машка! — пытается перекричать грохот машины Серафима. — Ты что, заснула?

Есть еще одна забота у бригадира — дежурство по деревне. Недели две тому назад в их районе появились немецкие диверсанты-разведчики, и сельсовет приказал назначить парных дежурных на ночь. И за сына, тринадцатилетнего Ванюшку, тревожится Серафима, убежал с истребителями, да и не показывается домой.

Вечером молотилка встала. Все на сегодня.

— Дарья, Манька! — позвала Серафима. — Не пообидьтесь, девки, дежурить ночью. Очередь ваша.

— Кто завтра к барабану-то встанет? — спросила Дарья. — Ведь я не посплю, дак голову суну в барабан.

Маша Семенова молча заправляла волосы под платок, вытирала передником копоть с лица.

— Боюсь я, Серафима, — сказала Дарья. — Смертно боюсь ночью этих лесовиков-то.

— А вы к дедку поближе. Я скажу ему, чтобы ружье с собой взял. Ночь-то и скоротаете возле риги. Нас-то и леший не тронет, а вот хлеб да коней хранить надо. Дак вы от конюшни да к риге, от риги да к конюшне. А молотить завтра не будем, молотильщик сказал — ремóнтить машину надо. Днем и выспитесь

Дарья что-то еще хотела сказать, но повернулась и пошла домой. Маша Семенова молчала.

Солнце уже давно спряталось за лес, из-за озера наплывают сплошные тяжелые тучи, быстро темнеет. Ветер не унимается, тянет и тянет с одной стороны.

Долго не может заснуть Серафима. Закрывает двери на все запоры, укладывает Катюшку пораньше и сидит одна, письмо мужу на фронт пишет.

Застучали капли дождя по окнам, зашевелились легкие занавески, еще довоенные... и вспомнилось Серафиме, как хорошо они зажили перед войной, сколько хлеба выращивали, а как получат, бывало, деньги по окончательному расчету за год, дак праздник у баб-то, валом валят в лавку. Кто на себя шаль примеряет, кто ребятишкам обувку выбирает, кому шелк отмеривает продавец... Про белый хлеб, пряники и баранки говорить нечего — полными сумками в дома несли. Идут по льду озера из магазина, ветер, поземка, а им, бабам, хоть бы что, раскраснелись, веселы, смех, шутки и не заметили дороги, вот он дом и счастливые, ожидающие глаза детей. Было времечко!.. Дак неужто не вернется? Страшно подумать об этом. А думы разбегаются от поля колхозного, где еще хлеб не весь сжат, до Катюшки, что посапывает на кровати, бегут вслед за сыном — «где он пропадает, хоть бы прибежал на денек, в бане вымыться», — к мужу Никите: «жив ли?». И опять

в поле, в избы к бабам, на конюшню, на колхозную ригу, к тракторной молотилке.

И страшно бывает вечерами одной сидеть, и грустно, однако жить надо.

Серафима подвигает поближе лампу, продолжает писать.

«...А нас дак уж и снегом попугало. Да не взаболь это, посыпало крупкой на землю, как посолило хлеба ломоть, да к полудню и растаяло. Грязи много, дак опять же — весной с ведра воды капля грязи, а осенью — с капли воды ведро грязи. Оно-то бы терпимо, страду, считай, пережили, хлеб убрали, остался лен да три гектара картошки не копано...

Вторую осень без тебя, Никитушка, муженек мой золотой. В палисаднике уж с одной черемухи листья ветром унесло, голая стоит, а на рябине, помнишь, на той, что ты принес из лесу и посадил под окнами, дак на ней ягод — ветки в дугу, листочки ржавые, пятнышками, будто кровь проступила сквозь кожицу...

Матрене черновая пришла, дак всей деревней выли, ты ведь знаешь, какой у нее был Никола, уважительный да работящий. Слова поперек не скажет. Едва и отходили бабу, заревелась до смерти, головой о камень билась, все волосы на голове изорвала, а на что, говорит, и волосы, как мужика нет... Пятеро у нее-то, пятеро осталось мал мала меньше. Федьке, старшему-то, на покров семь будет, дак завоешь...

Пожалела я, не осуди, Никитушка, выдала три пуда ржи Матрене-то, дак мелют дома на жерновах да кашу варят. Выдала-то, не спросясь у председателя, дак не знаю, что и сделают со мной. Да ты не беспокойся об нас, я себя не дам в обиду. Бабы за меня, правильно, говорят, Серафима, пусть хоть ревет на сытый желудок Матрена-то... А дедко Пашко хлеб в овине сушит. Поседел в одночасье и к земле погнуло, да крепок, как кокора смолистая. Убили Гришку у него, дак Пашко-то с лица сменился, а ведь слова никому не молвил. Сын ему, Проня, написал, а он-то, старик-от, не показал своего горя на люди. В сельсовет бумага пришла, чтобы старика не забижали, у него-де сын-от герой. Тогда мы и узнали, что Гришки нет. В военкомат дедка-то вызывали, бумагу ему выдали, что он отец погибшего героя, дак выпрямился дедко-то, а в район по ту бумагу-то ездил, дак крест царский на пинжак повесил. Я ему: «Дедко, пощо людей-то смешишь, ведь крест-то от царя!» Дак он мне: «Ты, Серафима, нешто понимаешь!» От осины, бает, не родятся апельсины, а у труса отца не жди сына героя. Вот дедко-то!..

А мы живем хорошо. На Ванюшку не пообижусь, все лето почту носил и на колхозную работу успевал. С дедком у них дружба, дак ты не подумай чего плохого...»

Серафима хотела написать о том, что в их районе высадились диверсанты, что Ванюшка бегает где-то с военными по лесам, а у нее все сердце изболелось, но командир приходил к ней домой и сказал: Ванюшка у них в отряде посыльным, носит записки, продукты, а близко к этим супостатам его не подпускают, но подумала, что Никиту эта весть расстроит, да, наверное, и письмо такое не дойдет, и решила про диверсантов не писать.

«...А Катюшка дак кажинный денек спрашивает, скоро ли папка домой придет. А что я ей скажу? Никак не забывает тебя, а велика ли! Вчера и говорит: «Мама, а папка у нас не ранятый? Давай пошлем ему молочка топленого с пенкой...» Дак я едва слезы удержала...

Чуть не забыла похвастаться-то. Наша бригада с хлебом рассчиталась, да сверх задания вывезем порядочно. Рожь-то уродила, дак и старики не помнят такой. С голоду не умрем, лишь бы вы сыты были — на голодный-то желудок и через губу не переплюнешь, не то что ворога побороть...

Золотой ты наш папка, не забывай нас, пиши, да себя береги, под шальную-то пулю не суйся. А их, этих супостатов, не жалей. Целуем тебя и обнимаем. Твоя жена Сима, сын Ваня и доченька Катя».

В стекла окон бился ветер, кидал пригоршнями дождь, гнул молодую рябину в палисаднике, а она все старалась распрямиться и отчаянно махала ветками.

Серафима поднимала голову, вглядывалась в темень улицы, задумывалась, слюнила химический карандаш и вновь клонилась над письмом: все ли написала, не забыла ли чего.

Пятидневка

То, что его друг Васька объелся репы и заболел, Егорка знал. Еще вчера вечером, когда они забрались в огород к скупой старухе Евлампихе и навыдергивали по полной пазухе репы, Егорка предостерегал Ваську: не ешь всю репу сразу, оставь на утро, с утра всегда сильнее есть охота... Нет, жадина, не послушался, съел, теперь валяется на печи, отогревает брюхо...

С кем идти за мукой? На хуторе всего-то их двое, мальчишек, да таких же третьеклассниц три, девчонок сопливых. Разве с ними ходьба? Побежишь бегом — «ой, устали!», за реку перебраться — «где лодка?», стемнело — «ой, страшно!..»

Без муки жить? Прошлую пятидневку выдачи не было — не намололи, мельница сломалась, — да если и в эту не получить, мамка и сестры на работу не смогут выйти, а без трудодней — и вовсе черная голодуха.

Надо идти. Обязательно.

Муку выдавали на заработанные трудодни каждую пятидневку, потому муку и называли пятидневкой. Так и говорили: «Пошел пятидневку получать».

Сегодня ничто не могло остановить Егорку — ни болезнь Васьки, ни страх идти ночью по лесной дороге одному. Получать муку — это была его обязанность, его долг перед семьей, да и сам Егорка вот уже третий день не пробовал хлеба, ел жидкое картофельное пюре из свежей, не созревшей картошки, да грыз репу украдкой от матери. Что за еда?..

Егорка со всего маху ударял обухом топора по свайке, раскачивал ее и забивал глубже. Тяжелый отцовский топор глухо стучал по дереву, свайка с большим трудом лезла в сухую землю.

Утром мать сказала Егорке:

— Прясло упадет скоро, я кольев принесла, дак ты воткни-ко пары две, укрепи прясло-то. Мужик ведь...

Не велик Егорка мужик, десять годов в апреле стукнуло. Мал ростом, худ, остронос, белобрыс, глаза большие на маленьком личике, синие, взгляд всегда любознателен и доверчив.

«Хлеба бы досыта поесть, — думает Егорка, — эти колья скоро бы воткнул». Он вытащил свайку, смерил глубину, воткнул последний кол в яму, утрамбовал землю, попробовал раскачать — крепко. Все, задание выполнено!

Егорка оглядел свою работу, бросил топор под крыльцо, поглядел на солнце — пора! — зашел в избу, взял холщовую наволочку и пошел к Ваське.

В пестрядинной рубашке с узким поясом, в посконных крашеных штанишках, босиком и без кепки, он чувствовал себя легко и свободно.

Теплый день конца августа неспешно заканчивался. Красное большое солнце стояло над лесистым угором в той стороне, куда надо было идти Егорке.

От хутора до большой деревни, где был колхозный склад, всего четыре километра, ерунда бы для резвых ног Егорки, но вот беда — простоишь в очереди, стемнеет, идти домой страшно. С Васькой бы не так боязно, дак заболел, обжора.

Только бы на этот раз мука была, хоть целый пуд Егорка притащит, всю ночь будет топать, а принесет домой пятидневку, накормит мать и сестер, а то они совсем потемнели лицами, изработались в поле с утра до ночи.

«Черт с ней, — решил Егорка, входя в избу Васьки, — Анютка дак Анютка, только бы сопли не распускала!»

Идти край надо. Аромат теплого хлеба уже и во сне снился Егорке, а думать о нем он не переставал ни на минуту. Сегодня муку должны выдать обязательно, только бы не опоздать в очередь, да хромой кладовщик нашел бы в ведомости их фамилию, а мать не поспит ночь, но хлеб к утру испечет...

Хутор Залесье состоял всего из шести домов. Егорка тут родился, здесь прожил свои десять лет, отсюда бегал в школу, здесь он расстался с отцом, ушедшим на войну, на этом открытом солнцу взлобке знает он каждый пень, ему кланяется каждая береза, он по голосу может узнать, чья корова мычит, чья собака залаяла.

Что касается людей, то Егорке кажется — он видит их насквозь.

Взять ту же Анютку, сестру закадычного дружка Васьки. Всего на один год стар-

ше их с Васькой, а воображает из себя... Сама со спичку толщиной, дерни за косу — в рев, поставь подножку — готово, на земле, а спорить, а наряжаться...

Васька стонет на печи, бабка Дарья сидит на лавке, руки ее на подоконнике — греет на солнышке, Анютка одевается...

Егорка уселся на лавке, искоса поглядывает на Анютку, чертит босой ногой по свежевымытому полу. На полу остаются грязные поперечные полосы.

— Ты что, дурак! — Анютка пытается наступить новым скрипучим лапотком (бабка плетет) на ногу Егорке, но не успевает. — Расселся тут, — ворчит она. — Пошли давай, — будто Егорка виноват в том, что она долго собиралась.

Из дома они вышли степенно: Егорка впереди, Анютка сзади. Но только до околицы. Потом Егорка припустил во весь дух — не отставай, форсунья. Опаздывать было никак нельзя: может не хватить муки, а если даже и получишь, идти домой придется в самую полночь, в то самое время, когда все черти и лешаки начинают свои игры.

— Эй, форсунья, не отставай! — задорно кричит Егорка, обернувшись на бегу. — Опоздаем ведь.

До деревни добежали мигом. У склада толпилась очередь. Выдача муки еще не начиналась.

С поля потянуло прохладой.

На дороге показался кладовщик. Идет, будто ныряет. У него одна нога короче, а издали кажется, что дорога неровная, одной ногой кладовщик на ровное место ступает, другой — в яму. Когда началась война и грамотных мужиков взяли в армию, Степка-хромой оказался хозяином колхозного склада. Это был прижимистый, лукавый человек, до войны кормившийся сапожным и шорным делом, не брезгуя лоскутом кожи от чужого кроя, маслом, яйцами, мукой и рублем за кое-как сварганенные сапоги. Но в деревне другого сапожника не было, монополию на ремонт и пошив сапог для мужчин и полусапожек для женщин крепко держал Степка. Он и за склад ухватился: одному сто грамм недовесит, другому — двести, глядишь, в семье Степки ребята краснорожие, а дети фронтовиков, такие, как Егорка и Анютка, бледны и худосочны. Сам Степка пакостлив да боязлив, знает, что войне скоро конец (шел сорок четвертый год), но от старой привычки — украсть — отказаться не может, однако побаивается возврата фронтовиков, обвешивает тех, у кого доподлинно известно о гибели отца. Мать Егорки, перевешивая на безмене полученную со склада муку, не раз обнаруживала нехватку в полфунта и более, ругала злодея Степку, доставалось и Егорке за то, что не смотрит за весами, позволяет вору на глазах красть муку.

— Ись захотели, нероботь! — подойдя к складу, заворчал Степка. — Люди-то робят, все для фронта, все для победы отдают, а они тут весь день груши околачивают! А ну, выстройся в затылок! — прикрикнул хромой, сдвинул картуз набекрень, заложил карандаш за правое ухо, забрякал ключами.

Ребятишки и древние старухи зашевелились, вытянулись хвостиком от высокого крылечка склада до полевой дороги, водили глазами за кладовщиком.

На улице было уже холодно. Егорка замерз и нарочно толкался в очереди, чтобы согреться.

— Ну ты, Егорка, не егозись, ребят свалишь! — одернул мальчика кладовщик, отомкнул висячий замок и широко распахнул одну половинку двери. Потом долго устанавливал фонарь на дно перевернутой амбарной кадки, поправлял фитиль, протирал тряпкой стекло, затем подтащил поближе к двери мешок с мукой, развязал его, лукаво посмотрел на ребят — дождались! — и сказал все с той же ехидной улыбочкой:

— Ну, кто первый?

Вот тут-то и начиналось главное испытание. Не насчет первого — первым всегда оказывался Митька Охлупень, он жил рядом со складом и очередь занимал с утра; хватит не хватит муки — вот что всех волновало, а особенно таких, как Егорка с Анюткой. Им с земли не было видно, сколько мешков муки в складе, а на крылечко, чтобы заглянуть в склад, не пробьешься, жмись друг к другу, мучайся неизвестностью, жди.

Бывало и так: простоят они с Васькой до полуночи, а хромой поглядит на них эдак и вытряхнет пустой мешок: «Все, муки нет». Вот когда горько-то, пустыэ на-

волочки кажутся тяжелыми, ноги не идут домой. И до того ненавистен станет кладовщик, что, был бы автомат, расстрелял бы Егорка хромого, как фашиста. Егорка не знал, что не все может хромой кладовщик, что не от него зависит, сколько и кому выдать муки, он искренне верил, будто на складе всегда есть мука и только по злой воле хромого ее кому-то не достается.

— Нет тебе, Митрей, — сочувственно сказал хромой. — Забыли, видно, правленцы выписать, дак ты сбегай к счетоводу, отматюгай его как следовает быть...

Трется Анютка о худую спинку Егорки, вытягивает шею, пытается заглянуть в склад.

— Не егозись! — толкает ее острым локтем Егорка. — Надоела! — Ему и хорошо, тепло спине от Анютки, и неловко — девчонка так прижимается. Но ее тоже толкают сзади, хвост очереди на Анютке не закончился, каждому охота поскорее получить свой пай.

С поля тянет холодом, на траве появилась роса, ноги мокрые стынут.

Егорка поднимает одну ногу, выворачивает ступню, греет под штаниной. Затем другую.

Вот он и на крылечке, еще три человека, и можно заглянуть в склад...

— И тебе нет, Тимофей, — слышит Егорка безразличный голос кладовщика. — Следующий!

«А если мне так скажет?» — у Егорки дрожь по телу, сердце замерло.

— Что дрожишь-то, как осиновый лист? — Это его спрашивает хромой. Он водит пальцем по ведомости сверху вниз, снизу вверх, перелистывает, долго разглядывает красиво написанные слова и цифры. Егорка не может оторвать взгляда от его пальца.

— Унесешь, мужик? — хитро смотрит на маленького остроносого, голубоглазого мальчика.

Да ведь это его, Егорку, спрашивает! Значит, есть.

— Хоть пуд.

Хромой положил линейку на нужную строку в ведомости, взял наволочку у Егорки, осторожно, как стеклянную, опустил на площадку весов, тщательно расправил устье, ухватил правой рукой деревянный совок, мягко всунул его в мешок с мукой, пошевелил им зачем-то, медленно-медленно приподнял его, подставил снизу левую ладонь, чтобы не уронить на пол ни одной мучинки, поднял левой рукой один край наволочки, надел его на совок сверху и только тогда мягко отряхнул муку в тару. Приподнял ее, покрутил перед фонарем, удостоверился, что нет дыр, положил на прежнее место и еще неторопливее, чем первый, стал набирать и высыпать второй совок. Все, ровно десять килограммов и еще двести грамм.

— Распишись, — сунул ведомость Егорке, — да муку-то в реке не утопи, — напутствовал он. Чего было больше в его голосе — искреннего сочувствия или хитрой насмешки, Егорка не уловил, он был рад — сегодня кладовщик не обвесил, мать ругаться не будет. Егорка резво соскочил с крылечка, крепко завязал наволочку и стал дожидаться Анютку.

Он привыкал к темноте и к счастливой мысли: «целых десять килов муки»! Десять! Если печь с картошкой, они всю неделю будут есть хлеб, не будет урчать брюхо от репы, мамка станет добрее, в избе запахнет хлебом.

Егорка притопывал ногами, пытаясь их согреть, отвернулся от света керосинового фонаря, зажмурил глаза, чтобы скорее привыкнуть к темноте. И когда разможил веки и посмотрел в ту сторону, где спрятался за лесом их хутор, увидел, как линия горизонта начала вспухать, небо там налилось зеленоватым светом, а вскоре показался край луны.

— Пошли, — сказала Анютка, поправляя лямки заплечного мешка.

Егорка позавидовал Анютке, ему-то приходилось всю дорогу держать наволочку обеими руками, руки уставали, надо было часто снимать груз и отдыхать.

— Кто лямки-то пришил? — спросил Егорка. — Бабка?

— Сама умею, — не без гордости ответила Анютка.

Дорожная пыль уже остыла, ноги закоченели, и каждый камешек больно колол

подошву, а если пальцы запинались за каменную твердь дороги, боль тисками сжимала ногу, Егорка прыгал на одной ноге, наволочка с мукой тяжело хлопала по спине.

— Просыплешь муку-то, дурак! — ругалась Анютка, будто она и есть главная, и не Егорка взял ее с собой христа ради, а она ведет его среди ночи по лесной дороге.

Дорога поднималась в гору, по обе стороны ее чернел высокий ельник, черная тень от него закрывала разъезженные, глубокие тележные колеи, оголившиеся корни, и Егорка несколько раз очень больно зашиб пальцы ног, останавливался, будто для того, чтобы перекинуть наволочку с плеча на плечо, и зло думал об Анютке, одетой в лапти и с мешком на лямках.

Своя ноша не тянет... Не скажи, тянет, да еще как! И весь-то Егорка, может быть, килограмм тридцать веса, а за плечом — десять. Но это же мука, жизнь! И Егорка шагает в гору, оскальзывается, нечаянно ступает в жидкую, холодную грязь, ругается тихо, чтобы не услышала Анютка, спешит домой.

— Егорка, подожди, — просит Анютка. — Бежишь, как настеганный. — Она явно боится отстать в этом черном лесу, на этой узкой просеке. — Подожди-и, — пищит сзади.

— Плетешься, как корова стельная, — останавливается Егорка. — До полуночи с тобой брести.

— Тяжело ведь, — поправляет лямки заплечного мешка Анютка. — Двенадцать килов ведь.

— Ись дак не тяжело, нести дак устала, — ворчит Егорка, но терпеливо ждет Анютку..

В эту минуту в лесу раскатисто ухнуло, разбудив ночную тишину гулким, сердитым, словно из-под земли, звуком: «Ух-ух-ху-ху-у-у...» Лес ответил ему тем же, и пошло перекатываться из края в край: «Ху-х-ух-ух-у...»

— Ой, Егорша, кто это?

— Филин. Вот кто. Он мышей да зайчат хватает, а людей не тронет.

Но и самому Егорке стало жутковато — не медведь ли? Намедни они с Васькой на овсяное поле бегали, где медведь целый угол овса задницей вытер, а вечером тетка Дарья страшную бывальщину рассказала. Про то, как медведицу встретила в малиннике.

Егорка слушал тетку Дарью, верил и не верил ей, а когда она сказала, что медведица плюнула в нее, совсем вера пропала. Обманывает тетка, пугает их с Васькой, чтобы не ходили они на тот куст малины. «Нет уж, фига, мы все равно сходим», — думал он.

Не ходить в лес нельзя. Мать с сестрами вечно в поле да на сенокосе, а кто же их ягодами да грибами покормит? Опять же Егорка. В зиму запасти губины — его забота. Ведь он теперь один мужик в доме. На отца еще год тому назад, в сорок третьем, «черновая» пришла, дак мать поплакала, попричитала, погладила сына по русой голове да так и сказала: «Кормилец ты мой. Одна ты моя надежа. Девки что? Дочь вырастить — труд в окно выбросить. Выскочит замуж, только и видел их».

Ему ли бояться ночного леса, да еще при девчонке?..

Егорка хорошо знает дорогу, много раз ходил в деревню, приходилось и ночью возвращаться по ней...

Низко над горизонтом висит луна, ее не видно из-за леса, тени от ельника черны, а верхушки деревьев мертвенно-бледны, на дорогу падает сверху неживой, холодный свет, от этого дорога кажется незнакомой, впервые увиденной.

Этот участок дороги никогда не просыхает, даже в самую середину лета солнце не может высушить глубокие лужи в колеях, вода в них «цветет», покрывается зеленой плесенью и при неверном лунном свете будто подсвечивается изнутри, пугающе блестит зеленью.

Почти два километра дорога поднимается в гору и все лесом, с крутыми поворотами, за которыми ничего не видно.

Егорка идет по обочине, стараясь не ступать в холодную грязь, но то и дело

натыкается пальцами босых ног то на выпирающий из земли корень, то на камень, посеянный тут же во времена таяния ледников.

Он не мог определить, прошла полночь или еще не наступила, и это его не на шутку тревожило. Примерно на середине подъема Егорка запнулся за острый камень, разбил большой палец правой ноги до крови, застонал и сел на землю. Острая боль, голод, слабость так измучили его, что не хотелось вставать, пропало желание идти домой, лечь бы вот тут на дороге и умереть. До слез стало жалко себя, но тут он подумал, что мать, наверное, не спит, ждет его, а если он не придет до полуночи, обязательно пойдет навстречу и будет кричать и звать, поднимет весь хутор на ноги.

— Больно? — Анютка наклонилась к Егорке.

— Тебе бы так!

— Форсишь все, босиком, — укорила Анютка.

— Где я лапти-то возьму? — с обидой сказал Егорка. — Дай-ка тряпку какую палец завязать.

Тряпица нашлась, палец кое-как забинтовали, надо было подниматься и идти, а вставать не хотелось.

— Давай поедим муки, — предложил Егорка, пытаясь развязать наволочку.

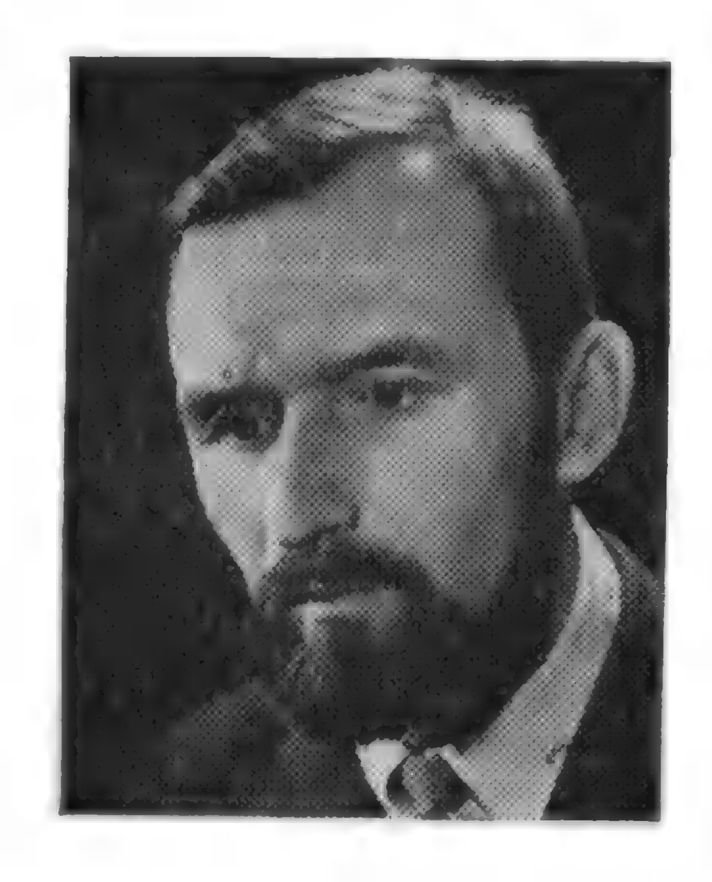
— Ты что?! — испугалась Анютка. — Мне бабка говорила — не смейте муку зобать, кишки склеятся, помрете.

— Знает твоя бабка! — не соглашался Егорка, но пальцы его замерли на завязке. И все же голод был так силен, что Егорка развязал наволочку, зачерпнул горсть муки, высыпал в рот. Он долго смачивал ее слюной, перекатывал языком тесто, с трудом глотал его. И вдруг подумал о том, что ест хлеб украдкой от матери и сестер и это нехорошо, подло, ведь он ворует в своей же семье. И, несмотря на то, что ему очень хотелось зачерпнуть еще одну горсточку муки, он крепко, узлом завязал наволочку, встал, взвалил груз на плечо и, прихрамывая, пошел в гору. Он устыдился своей слабости и был доволен, что Анютка не видит его лица, идет сзади, а то бы заметила, как он покраснел.

Теперь он оберегал разбитый палец, осторожно ставил ногу на землю, и хотя наволочка была так же тяжела, как и до отдыха, Егорка больше не останавливался до тех пор, пока они не вышли на свое поле и не увидели дома хутора.

Пыль на дороге показалась Егорке теплой, мягкой, и у него возникло ощущение, будто он с холодной улицы вступил в теплую избу.

Они остановились, радуясь близости дома, тому, что самое страшное позади, что тут, на поле, светло, дорога хорошо видна, за полем она пойдет под гору, идти будет легче, и скоро, совсем скоро — отдых и сон на теплой печи, а завтра — свежий, горячий хлеб...



Юрий ЛЕОНОВ

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА

РАССКАЗЫ

Колюня и Наполеон

МАМА проспала час, когда гнали стадо: глаза у нее виноватые, а голос просящ:

— Отгони скотину, сынок.

Я вскакиваю с кровати. Пробежаться за реку в ясное, пахнущее липовым цветом утро — одно удовольствие.

Скотины у нас — корова Майка, существо флегматичное и рассудительное, да шустряк Наполеон — белолобый бычок черной масти. Кличку ему придумал отец — другой такой наверняка во всем сибирском поселке Чулыме не услышать. Непривычно для сельского слуха, зато звучно. Как крикнешь во все горло: «Наполео-о-он!» — за квартал слышно. А кричать приходится часто. Чуть не уследишь — заберется, каналья, в самое чертоломное место и жует, что в рот попало: лопух так лопух, тряпку так тряпку. Тряпку даже с большим удовольствием, чем лопух. Но самое приятное лакомство для Наполеона — веревка, да подлинней, чтобы на дольше хватило.

Стоит где-нибудь под забором, жует и заглатывает ее потихоньку, причмокивая толстыми губами и жмурясь от наслаждения. Не уследишь — только веревку и видели. «Как у него кишки не завернутся от такой «вкуснятины»?» — поражался я. Это пристрастье и в самом деле плохо кончилось для Наполеона. Но сейчас не о том... Во всем остальном Наполеон был славным «парнем». Мы бегали с ним, лопоухим, взапуски по пустырю, бодались, расставив ноги пошире; любили хрумкать молодую, налитую сладким соком морковку.

— Эй, корявые, шевелись! — подражая пастуху, кричу я, размахивая березовым прутом. И «корявые» впритруску выбегают из ворот на пыльную дорогу.

— Майку-то сильно не гони, — строжится вдогонку мама.

Я согласно киваю, а сам душой уже там, за речкой Чулымкой, в которую упирается окраинная наша улочка. Перебрести мелководье, засучив штаны по колено и ощущая ступнями бархатистое илистое дно, — минутное дело. И вот за сизоватыми гривами полыни уже виднеется пестрый разброс стада.

Теленок взбрыкивает, рвется в сторону — не по нутру ему медлительная поступь мамаши. А я нарочно кричу так, чтоб долетело до середины пастбища:

— Куда, Наполеон!.. Ишь, потрох! Вот я тебя!.. — и мчусь наперерез, размахивая прутом, как саблей.

Пастухом в то лето наняли однорукого Николая, длинноногого чубатого парня лет двадцати, из приезжих. Инвалидность его объяс-

няли в поселке по-разному. Одни говорили, что потерял он руку на фронте, другие — будто попал под поезд. Сам он, в отличие от соседа нашего, нелюдима Пахомыча, отморозившего обе ступни в финскую кампанию, любил рассказывать о том, как ему воевалось. Занятно плел пастух солдатскую бывальщину, только всякий раз чуть-чуть по-другому, давая повод сторожким людям усомниться в истинности его слов. Потому, быть может, и звали его в поселке с этакой жалостливой снисходительностью Колюней.

Раз в месяц, по кругу, столовался Колюня у каждого из владельцев животины. Когда, пригнав стадо, он приходил к нам, начиналось нечто вроде маленького представления, неизменно нравящееся мне и столь же неизменно раздражающее маму. Едва усевшись за стол, Колюня расчесывал пятерней густые темно-русые волосы и деловито спрашивал у меня:

— Ну, ёксель-моксель, когда воевать-то пойдешь?

И всякий раз, отмахиваясь от Колюни, как от нечистой силы, мама предупреждала пастуха, что нечего мальчишке голову крутить. Они ведь нынче известно как настроены — стриганут из дому, только их и видели. И до фронта не доберутся, и ищи-свищи их, защитников...

— Этот доберется, — взъерошив мою шевелюру жесткими пальцами, ободряюще кивал Колюня, словно бы даже завидуя мне. — Этот шустрый.

— Типун тебе на язык! — серчала мама.

Колюня заговорщически подмигивал мне, довольный розыгрышем, и вовсе не обижался, когда мама обзывала его артистом:

— А я артист и есть, с погорелого театра. Меня и в школе так звали.

До призывного возраста мне оставалось шесть долгих лет. Сложенья я был отнюдь не богатырского, так что о фронте всерьез и не помышлял. Но разговоры эти приятно возбуждали мальчишеское самолюбие, и Колюню я уважал, как говорится, по всем статьям.

Характер у пастуха был легкий, общительный, а глаза ясные, синие, как летнее небо над степью. И кто это выдумал, что он не был на фронте? Ведь если б захотелось Колюне выставить себя храбрецом, сколько небылиц мог бы напридумывать — хоть сразу ему звание героя присваивай. И попробуй проверь, правду ли говорит. А он и не думал хвастаться отвагой да смекалкой. Наоборот, порой таким тюхой-матюхой себя представит, словно нарочно хочет, чтоб над ним потешались...

К стаду я подгоняю животину трусцой. Ожидаю, что, завидя меня, Колюня не упустит случая подковырнуть за опоздание. А он, тощий, перетянутый солдатским ремнем так, что вот-вот переломится пополам, обрадованно орет:

— А-а, Наполеончик пожаловал! Милости просим, ваше величество... Как мы вас, а ексель-моксель? В хвост и в гриву, только потрошочки летят. Из Прибалтики уже выжимаем. Слыхал? — обращается Колюня ко мне. — Вчера Нарву взяли.

Подойдя к пастуху, Наполеон доверчиво тыкается в локоть сперва влажным кожаным носом, потом курчавым лбом, где недавно прорезались две костистые шишки. Колюня запускает пальцы в короткую шерсть и, почесывая между рожками, продолжает свое излюбленное:

— Зудится, ваше сиятельство?.. Погоди, еще не так зазудится. Вот пройдем Прибалтику, да в гости пожалуем. Тогда что, а?.. Чего морду-то воротишь? Пожалуем, я тебе точно говорю. А то ишь, Наполео-он, владыка мира... В хвост и в гриву!

Голос Колюни груб и непримирим, а пальцы так обходительны, так ласковы, что Наполеон жмурится от удовольствия и требовательно поддает рожками в ладонь, прося не отвлекаться на разговоры.

Солнце поднялось еще не высоко, круглится в желтоватой призрачной хмари над близким отсюда озерцом. Сухо и пряно пахнет слег-

ка пожухшими травами. В другой стороне степь серебристо откатывается за горизонт, перечеркнутая темной лентой железки. По ней то и дело громыхают составы: теплушки и цистерны, платформы с зачехленной брезентом техникой...

Пора домой, где меня ждет завтрак, но возвращаться не хочется. Так хорошо полежать с Колюней на душистой подстилке трав, послушать цокающий говорок. Только странно рассказывает о фронтовой жизни Колюня — совсем не так, как по радио передают. Там сразу все ясно: энская часть вступила в бой с фашистскими захватчиками и мощным ударом выбила врага с занятых рубежей. При этом геройски погибли... У Колюни же — словно совсем другая война.

Проводив долгим взглядом состав, везущий сырье для домен — изуродованные «тигры» да «фердинанды», Колюня ревниво говорит, что, конечно, артиллерия — бог войны, но без пехоты и ей не прожить.

— Вот уж так перелопатит снарядами немца — думаешь, никого там не уцелело, а поднимешься в атаку — как тараканы выползают из щелей и полосуют по тебе, по тебе из всех видов оружия, будто только в тебя и целят... Упал, прилип к земле — оторваться нету мочи. Словно держит тебя, родная. Знаешь, надо вставать, броском вперед— а лежишь пластом, все визжит над головой, волосья ходят и земля толчками в живот отдает, каждым кишочком ее чувствуешь. В первый раз, когда в атаку ходили, меня земляк пинком под задницу поднял... И гнали немца, и стыдно потом было, а ты как думаешь... А вот руку потерял — совсем боязно не было, даже вроде б не больно. Бегу — будто по мне кто палкой ударил. Глядь — а руки-то нету.

— Совсем-совсем не больно было? — изумляюсь я.

— Сперва не больно. Еще вперед бежал без руки-то... Думаешь, занятно это, воевать? Не-ет, браток, совсем даже горько. Вот представь... Немец возле брошенной деревни тебя застал, в чистом поле, и порезвился над тобой с самолета, и бомбами проутюжил, и пулеметом... Другие лежат мертвые, а ты живой. Живой, а радости нету, одна одурь, и не слыхать ничегошеньки. Может, тихо, а может, оглох. И вдруг... — пригнув голову, Колюня понижает голос до едва внятного шепота, — ворохнулось сзади...

Я оборачиваюсь в ту сторону, куда вперился обострившимся взглядом Колюня, но не вижу ничего, кроме желтоватого марева.

— Лошадь за мной прыгает, каурая, и звездочка белая во лбу, как у телка твоего. На коленях, вприпрыжку. Задние ноги целы, передние перебиты. Не жилица уже на этом свете... Я от нее как от чумы, ексель-моксель. А она — за мной, вокруг разбитой хатенки. Глазищи как фонари, тоска в них смертная, аж душу переворачивает вот так вот, — крутанул Колюня кулаком вокруг груди, — мордой ко мне тянется — подлечи, мол. А как подлечишь? Я психом на кобылу — пошла прочь! И сам чуть не бегом от нее. Оглянулся — костыляет вдогонку вокруг дома, как привязанная... Ну, думаю, чем мучиться ей, лучше сразу. Винтовку поднял и...

— В лошадь? — содрогнувшись, переспрашиваю я.

— В лошадь! — рубит ладонью по воздуху Колюня. — Стреляю, а попасть не могу, как наваждение нашло. Руки дрожат. А она — вот уж, вот... Привалился к стене, спиной уперся и... Думаешь, легко так-то?

— Что ты! — вскидываюсь я, весь во власти пережитого Колюней.

Он вздыхает, расслабленно потирает шею и будничным голосом спрашивает, не принес ли я чего-нибудь пожевать.

— Нет, — пугаюсь я своей оплошности, но тут же вспоминаю, что нынче не наш черед кормить пастуха.

— Сойдет, нечего брюхо баловать, — строго внушает Колюня самому себе. — Сколько его ни набивай, никогда благодарно не будет. Натощак-то оно прытче. Вот помню...

И начинает Колюня вязать новый рассказ про то, как в обороне

долго сидели они на одних сухарях, пока не догадался сержант отправить их вдвоем с товарищем по грибы. Недалеко и идти-то было: обогнуть минное поле, перебрести болотину, и там, в редколесье, по всем приметам, должны были расти красноголовики. Только миновали они минное поле, товарищ и говорит: давай скинем брючата...

— И что дальше? — нетерпеливо спрашиваю я.

— Дальше?.. — рассеянно повторяет Колюня и вдруг, вскочив, с криком несется туда, где бархатистой полосой тянутся вдоль озерца камыши. Какая животина успела забраться в топь, и как разглядел пастух беглянку издалека?

Лишь подбегая к озеру вслед за Колюней, увидел я сквозь зелень грязно-черный, лоснящийся испариной бок, и догадка опахнула меня знобким холодком: Наполеон! Еще не веря в нее, раздвинул я редкую завесу камышей и встретился с бельмастыми, расширенными от испуга глазами телка. Загнанно дыша, он подергивался в илистой жиже, увязнув в нее выше колен. Зеленая чешуя ряски влажно поблескивала на брюхе.

Я сунулся было сразу к бычку, но Колюня прикрикнул на меня, заставив снять штаны и рубаху. Сам он, в одних трусах, уже примерялся, как лучше пройти к топкому месту. Застиранная гимнастерка и пестрые от латок штаны лежали горкой. Раздвоенная округлость культи притягивала взгляд молочно-розовой младенческой кожей.

— Вот же вражина! — возмущенно приговаривал Колюня, нащупывая ногами твердь. — Не зря тебя Наполеоном прозвали. Запёрся в Россию, да? А как обратно?

Бычок жалобно мекнул и присмирел, выжидающе скосив порозовевший глаз. В зарослях камышей сторожко крякнула утка. Наверняка там прятался выводок.

— Ишь, тряпицы ему захотелось, — со злостью кивнул Колюня на бледный лоскут, свисавший с метелки камыша. Вражина ты, вражина и есть. Интервенция чертова...

Едва вытаскивая ноги из вязкого ила, мы затоптались вокруг Наполеона. Попытались выгнать или выволочь бычка на сухое, но что могли сделать мы в три руки?.. Не помогли ни ласковые слова, ни крики, ни удары кнута. Наполеон лишь дергался, оседая еще ниже. По волглому крупу волною прокатывалась дрожь.

Совсем не трудно было представить себе, как тина, хлюпнув, заглотит бычка совсем. И виноват в том буду один я, отвлекший пастуха своими расспросами. Вина эта занозой сидела во мне... Представилось горестное лицо мамы, выслушивающей сбивчивые объяснения сына и еще не верящей в случившееся несчастье, услышался голос ее, такой растерянный и недоуменный, что я поторопился сказать:

— Коль, давай за подмогой сбегаю... А, Коль?..

Чертыхнувшись, Колюня достал из ножен финку с тяжелой литой ручкой — трофей, как похвалялся он, — и яростно, кривясь и багровея лицом, стал резать камыш. Лезвие жарко взблескивало, сухо и неподатливо поскрипывали упругие стебли, жестко шуршала листва...

Идея была простой. Связав камыш в толстую вязанку, мы подсунули ее бычку под брюхо. Опора была не самой надежной, но все же опора. Вторую вязанку бросили себе под ноги. Встав на ее шаткую середину, мы согнулись в три погибели и стали плечами подталкивать скользкий телячий бок.

Едва завалившись на вязанку и почувствовав, как полегчало ногам, телок прикрыл глаза, словно бы говоря: «Извините, на большее я не способен».

У меня тоже не осталось сил толкать Наполеона. Прижавшись к его липкому от грязи животу, я готов был лежать так хоть до вечера. Лишь стыд перед Колюней заставлял сучить ногами, приборматывая в волосатое ухо Наполеона жалкие просьбы.

Наконец перестал тужиться и сам Колюня. Сплюнул вязкой слю-

ной и не очень весело подмигнул мне: дескать, не дрейфь, все будет в порядке.

Какое уж там в порядке, подумалось мне, когда лежим все трое пластом. Пастуху легко подмигивать: у него полсгада молодняка. А у нас Наполеон один. Из соски поил я его тягучим молозивом, укутывал своей телогрейкой, когда дрожал он в сенцах от холода... Припомнился рассказ Колюни про лошадь, и вовсе муторно стало на душе. Если кобылу убил он запросто, то что ему какой-то несмышленыш-телок! Увидит, что не удастся спасти Наполеона, и пырнет его трофейной финкой, «чтоб не мучился». Как по стеблю камыша — чирк по горлу — и даже не дернется Наполеон, весь затянутый в прорву. Так картинно представилось мне все это, что жалость выжала слезы. Обняв горячую шею бычка, я хлюпнул носом и раз, и другой, загоняя слезы обратно, но они сочились, как из худой посудины.

— Ты что это шмыгаешь? — вскинулся на меня Колюня. — Поминки справляешь?! Я, говорит, солдат, в разведку пойду, а сам... Да мы твоего Наполеона, ексель-моксель, не вырвем, так выдерем из болотины. Гвардия не отступает. Так говорю?

И хоть я никогда не собирался в разведку, но кивнул: так. И, шмыгнув напоследок, ринулся помогать Колюне: как бы он и в самом деле не счел меня нюней и плаксой.

Рука пастуха выше локтя ушла в илистую жижу, нашаривая ногу бычка. Скользнув по ней пальцами, я тоже, натужась, потянул на себя вздрагивающую голень Наполеона. Совсем близко, то набухая синим холодным блеском, то опадая, блуждала по виску пастуха ветвистая вена. Щерился рот, обнажив розовую скобу десен. И никакого движения там, под нами. Темная, глубинная сила цепко держала бычка в своих объятиях.

— Осади, — прохрипел Колюня, пытаясь отодвинуться от моего острого локтя, упершегося ему под дых.

Я отпрянул. И Колюня тотчас обмяк всем телом.

— Больно?

— Ничего, б-бывает, — сказал он как можно спокойнее. А губы сжались страдальчески и глаза так влажно блестели, что все внутри у меня тоже сжалось в комок. — Эх, братишка, да разве это боль!.. Здесь вот она, настоящая, — сунул он культей в грудь. — Кабы я был как раньше... Эх, скотство!.. Не мужик стал, полмужика!

— Что ты, Колюня! Ты еще, знаешь...

— Полмужика! И не спорь... Но натура не половинчатая, не-ет. А главное что в мужике? Натура! Так и заруби на носу... Щас мы эту чертову интервенцию с корнем... Ну-ка, разом взялись, да покрепче... Ха!.. И ещ-ще раз!.. Ха!

Внизу что-то чмокнуло глухо. Наполеон рванулся, взбрыкнул, обдав нас вонючей жижей, попал коленями на вязанку. Мы закричали дурными голосами. Бычок испуганно дернулся еще, завалился боком и вот уже, выметываясь из болотины по ту сторону вязанки, попер на сухое.

Ощутив под ногами упругую травянистую дернину, Наполеон дал такую «свечу» в честь своего освобождения, что Колюня хрипанул на последнем дыханье:

— Ах ты ж, обормот!

А бычок, взлягивая, все кружил, как приплясывал перед нами. И липкая грязь шмотьями разлеталась от него во все стороны...

Потом мы купались с Колюней в медлительной дремотной Чулымке, смывая с себя заскорузлые, пахнущие болотиной илистые панцири и чувствуя, как возвращается в мышцы бодрящая свежесть.

Наполеон не отставал от нас ни на шаг, как я от Колюни. Лишь у реки, жадно напившись, бычок растянулся не возле самого берега, а поодаль — грязной кляксой на зеленой траве. За ним цветисто пестрело стадо.

— Отмоем его сиятельство, — взглянув на серые бока Наполеона, сказал Колюня. — Ты только матери не рассказывай.

Я ответил, что никому об этом ни слова — гроб и три креста, как божились мальчишки, хоть соблазн похвастаться приятелям о случившемся уже подкрался ко мне. Чувствуя это, Колюня приворожил меня долгим испытующим взглядом и вдруг сказал с диковатой решимостью:

— Ты не выдашь — тебе скажу!.. Не был я ни на каком фронте, не доехал. Только до Тугулыма, и — ша! Как соскочил на ходу с эшелона за кипяточком, да юрк меж колесами, чтоб быстрей всех, так и... Дурное дело нехитрое. Месяц только в госпитале и провалялся. Но навидался да наслыхался за тот месяц — век не забыть. А выписывать меня стали, я главврачу и говорю — мудрый мужик был главный — говорю, все равно подамся на фронт, хоть где да пригожусь, ексель-моксель. Другой бы меня обсмеял, а этот всерьез принял. Наклонился и тихо так говорит: ладно, представь, доберешься до передовой да в дело влезешь и к немцам угодишь, живым или мертвым. Какую ты им пропаганду дашь в руки! Скажут, русские уже инвалидов берут на фронт... Ну, тут уж я и пошел на попятный. Против России не попрешь... Это я только тебе, понял?

— Понял, — рассеянно кивнул я, соображая, кому же еще доверил пастух этот «секрет», о котором все знают. Огорошила меня эта перемена в близком мне человеке — не скрою. Был Колюня фронтовиком — стал просто парнем, артистом с погорелого театра, как иронизировал он сам о себе. Не каждый решился б на такое признание. Но странное дело, откровенно сказав о своем обмане, он вовсе не поблек в моих глазах. Глядя в опаленное загаром дерзкое лицо, я отчетливо представил себе, что, если б не роковой случай, быть бы Николаю гвардейцем, вершить бы подвиги с легким его характером, с его решительной хваткой...

Он поднялся с песка, выколупнул из пупка сыпучее крошево и, проводив взглядом громыхающий на запад состав, назидательно добавил:

— А про то, что рассказывал о фронте, не думай. Сниться станет, ни к чему тебе это. Но что было, то было, именно так, как сказал, можешь не сомневаться... Было, браток, только не со мной...

Ждал он ответных слов, не знаю каких, но ждал. А я, вскочив на ноги вслед за ним, так и обмер: за спиной пастуха, блаженно пуская слюну, Наполеон прожевывал рукав застиранной, пропахшей потом Колюниной гимнастерки.

Дымный привкус Победы

Все возвращается на круги своя. Вот и я вернулся в родной город, но годы спустя едва узнал его. И тихая, объятая майской зеленью улица, и стиснутый кирпичными двухэтажками двор, где мы поселились, — все ново. А люди кажутся такими приветливыми, словно каждый из соседей — родня. И нет в том ничего удивительного — роднит нас сам воздух, напоенный ожиданием необыкновенно близкой уже Победы.

В нашем пятом — контрольная за контрольной, а писать мне их не на чем. Нет тетрадей ни в магазинах, ни в школе, хоть на газетах решай задачи. Честно говоря, меня, сменившего за два года четыре школы и не блиставшего хорошими знаниями, отсутствие тетрадей нимало не огорчало, скорее даже радовало. Однако мама была настроена иначе. Она собралась ехать за тетрадями на толкучку, да соседка наша, сердобольная воспитанница местной гимназии Александра Ивановна, подсказала: у Зотовой есть тетради, и в клеточку, и в косую линейку. Если мальчик попросит, она продаст, детям она охотнее продает, чем взрослым. Александра Ивановна тут же готова была про-

водить меня куда надо, и стоило трудов отбиться от ее опеки: сам разыщу, не маленький.

Зажав в кулаке вчетверо сложенную пятерку, я отправился по адресу, слегка приволакивая ноги и очень надеясь, что благодетельницы не окажется дома. Зотова жила в глубине нашего двора, где кривой закуточек венчала массивная дубовая дверь. Напротив тянулись двухэтажные, выгоревшие на солнце сараи с длинным балконом, кудрявились бледными завязями обломанные кусты сирени, а еще дальше, за хлипким забором, высилось четырехэтажное здание бывшей школы, ныне — челюстно-лицевого госпиталя.

В ту пору все мы были привычны к виду искромсанных войною людей. Раненых прибывало много, и нас, мальчишек, не пугали скрученные из бинтов маски, за которыми угадывались обожженные, исковерканные железом лица. Но все же больно было встречаться с теми, у кого глаза уцелели. Они смотрели на нас, здоровых, как мне казалось, с немым и цепким укором.

Пересекая двор, я услышал крики, шлепки, словно били во что-то мягкое, и едва поверил своим ушам — приглушенный гам и возня доносились из-за забора:

— Корень, сам!.. Сзади!..

На площадке госпиталя, между кучей угля и железным бункером, в котором сжигали окровавленные бинты и вату, играли в футбол мальчишки, трое против двоих. Из них я знал только вездесущего Юрку с нашего двора по кличке Рыжий. На голове его факелом светились буйные, давно не стриженные волосы.

Мяч был тряпичный; о надувных, с резиновыми камерами, мы только мечтали. Зато болельщиков оказалось много. За стеклами окон то там, то здесь маячили обмотанные бинтами головы. Несколько створок были распахнуты, и над подоконниками в стерильной белизне провально темнели глазницы и рты.

Игра, под острыми взглядами сверху, шла азартная, страстная, истинная дворовая «заруба». И хотя двое крепышей защищались без вратаря, мяч не шел в их пустые ворота из кирпичей. Его перехватывали и гнали пинками туда, где спиной к бункеру приплясывал от нетерпенья и бросался в ноги нападающим Юрка.

Особенно цепко водился тот, кого окликали Корнем, — чернявый моторный парнишка лет пятнадцати. Измотав соперников финтами и ловко подбросив мяч носком ботинка, он-то и влепил с лету, мимо выбежавшего навстречу Юрки, такую «плюху», что железный бункер, изображавший ворота, гулко ухнул, а в окнах одобрительно гоготнули.

Прилипнув к пролому в заборе, я не решался перелезть на площадку до тех пор, пока чернявый не крикнул:

— Эй ты, чего глазеешь? Айда на подмогу!

Я сунул деньги в карман и, не раздумывая, отправился к пустовавшим воротам. Но оказалось, как уточнил Корень, помощь требовалась вовсе не крепышам, а другой команде. Трое возмущенно заспорили. Конечно, кому охота записывать себя в слабаки на виду у всего госпиталя.

Растерянно оглядываясь, я стоял посреди площадки в перекрестье взглядов и очень плохо думал о Корне, втравившем меня в «непонятную». Бравада его была не беспричинной. Он да Витек, как звали напарника, играли лучше и выглядели покрепче остальных. Но все же двое против четверых?..

— Ладно, — примирительно сказал Корень. — Будет счет в вашу пользу — расколемся по трое.

На том и разошлись по местам. Меня поставили вместо Юрки к железной стене бункера, от которой смрадно тянуло жженьем. Но не от этого запаха во рту у меня сделалось сухо, а плечи передернул озноб. В ту пору я только-только осваивал городскую игру — футбол.

Едва начали с центра, как, пробитый издалека, мяч ватно плюхнулся на той стороне поля, проковылял между кирпичами.

— Го-ол! — мстительно заорала наша команда, заоглядывалась на окна. В окнах молчали. Словно вовсе не в счет был этот мяч, закатившийся в пустые ворота.

Крепыши перемигнулись, насадили кепчонки поглубже и попылили на нас, пригнувшись, будто в драку пошли.

— Держи!.. Витька́ держи! — паниковал Юрка, а сам враскорячку присох посреди площадки. Двое суматошно кинулись наперерез Витьку, проталкивающему мяч по траве вдоль забора. Витек крутнулся на месте, вывел мяч из крапивы и сильно послал его через всю площадку под ноги набегавшего Корня.

Я успел дернуться в угол, но пестрый ком, мазнув локоть, гулко саданул по железу, и — ах как дружно отозвались в окнах на эту «штуку»! Загомонили, кто-то даже заулюлюкал. Над моей промашкой заулюлюкал. Я был не просто ошеломлен — раздавлен этими криками. Ну разве мы виноваты, что их только двое, а нас четверо! Кому неизвестно, как расхолаживает игроков такая фора и, наоборот — заставляет сжаться в пружину сознанье того, что ты в меньшинстве.

Вяло подняв тряпичный, стянутый дратвой ком, я оглядел свою команду, затеявшую мелкую свару из-за пропущенного мяча, и как-то враз понял, что не отыграться нам здесь во веки веков.

Спасительница наша явилась в обличье приземистой, желчной служительницы в калошах на босу ногу, с гремящей связкой ключей. Она с ходу посулила нам сто чертей и кое-что в придачу, как злостным нарушителям госпитального режима. Напористость ее можно было сравнить разве что со стремительным фланговым рейдом Корня, хотя спадающие калоши явно мешали женщине развернуться во всю мощь.

Я ожидал, что раненые вступятся за нас столь же сплоченно, как болели они за двоих, но недовольные голоса сверху поблекли перед пронзительным негодованием служивой. Потрясая связкой ключей, она готова была вот-вот обрушить их на наши беспутные головы.

— Атас! — сипло выдавил Корень.

И мы позорно бежали с поля...

Привычные ко всяким передрягам, запущенные кусты сирени светились робкими молочными завязями цветов. По-деревенски пахло клейкими, едва развернувшимися листьями, свежевскопанной землей. Только порой из-за забора цедился смрадный запах. Кусты скрывали нас, четверых, присевших на скамью, от любопытных глаз и материнской опеки. Болтали о пустяках, наслаждаясь уединением. Потом закурили. Трофейными сигаретами угостил Корень, с шиком щелкнув крышкой латунного портсигара. Витек не заставил себя ждать — он «зобал» уже взатяжку. А мы с Юркой, застигнутые врасплох щедрым жестом, помедлили, прежде чем взять по сигарете. Я набирал полный рот едкого, щекочущего ноздри дыма и с облегчением выпускал струю, стараясь скрыть свою неумелость. А между тем приглядывался к новым знакомым.

Вблизи Корень показался мне вовсе не таким крепышом, как во время игры. Пожалуй, он был даже узкоплеч и будто сдавлен с боков. На облепленной потной рубахой груди темнела ложбинка, заостренные скулы и нос отсвечивали блеклой болезненной желтизной. Лишь карие глаза сияли молодо и задорно из-под криво посаженной кепчонки, придававшей ему вид блатного парня.

Голубоглазый Витек был здоровее на вид, широковат в кости и немногословен. Держась в тени бойкого дружка, он поглядывал на него с обожанием и грустью рано повзрослевшего человека.

Я тоже был покорен моторным характером Корня, хотя и вел себя

с некоторой настороженностью, ожидая от него какой-либо подковырки. Такой на месте не усидит и другим дремать не даст.

Рассказав о том, как милиция взяла вчера под мостом какого-то рецидивиста, а он, отчаюга, до конца отстреливался из обреза, Корень предложил сыгрануть в жестку. Достал из кармана кругляш овчины, утяжеленный нашлепкой свинца, и первым начал чеканить — подбивать ногой жестку, не давая ей падать на землю.

Кругляшок порхал перед глазами, как бабочка над цветком. Я завороженно следил за ним, страстно желая, чтоб порхал он до самой темноты. Тогда наверняка не дойдет моя очередь приплясывать на одной ноге.

Досчитав до сотни, Корень ловко подхватил жестку и преподнес на грязной ладони не кому-нибудь — мне, словно для того игру и затеял, чтоб испытать новичка. Скрючив ноги под лавкой, я буркнул, что не умею играть.

— Во как! — Корень хохотнул и уставился на меня, как на дикаря. — А откуда ж ты такой взялся?

— Из Сибири, — глухо сказал я.

— Из Сиби-ири... Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье, — щегольнул Корень знанием классики и, широко зевнув, вдруг потерял ко мне всяческий интерес. — Поспать бы минуток шестьсот. А, Витек?

— Хорошо бы.

— Ничего, скоро отоспимся. Так храпанем!.. Ты вот сколько смог бы проспать, не вставая?

— С вечера до вечера, запросто.

— Слабак... Я б еще и ночь прихватил.

— А вот я однажды... — торопливо начал рассказывать Юрка.

Но Корень встал и довольно бесцеремонно заявил, что хватит трепаться, пора и «на дело». Последние слова произнесены были по-свойски, но не без щегольства. А у меня язык не повернулся спросить, куда ж они собрались идти с Витьком. Лишь подумалось: наверное, темное это дело, иначе откуда бы взялись трофейные сигареты...

Мы с Юркой проводили двоих до улицы. По-взрослому пожав нам руки, они пошагали вразвалку, явно подражая кому-то. Из зеленого коридора акаций, обрамлявших узенький тротуар, донесся хрипловатый голос Корня:

> В кейптаунском порту, с какао на борту
> «Жанетта» оправляла такелаж.
> Но прежде чем уйти в далекие пути,
> На берег был отпущен экипаж.
> Идут сутулятся, врываясь в улицы,
> И клеши новые ласкает бриз. Ха-ха!

Правее и чуть сзади Корня, словно подстраховывая дружка от неприятностей, пружинисто уходил, истаивал в пестро-зеленых бликах солнечного света Витек.

> Они идут туда, где можно без труда
> Достать будет и женщин, и вина...

— Во мужики! — восхищенно сказал Рыжий.

Со слов Юрки я узнал, что до прошлого года Корень жил в нашем дворе, оттого и заглядывает сюда по привычке. Здесь у него мать, но он поссорился с ней и ушел к Витьку, который живет вдвоем с дедом.

Мне странным показалось, как это: ушел от матери. Я переспросил Юрку и услышал в ответ:

— Куркулиха она, Зотова.

— Зотова его мать?

— Ну да, по отцу-то он Коренев.

— Вот дела... Слушай, — сказал я, вспомнив о поручении, — пойдем к Зотовой вместе.

— За тетрадками?.. не-е! — торопливо открестился от меня Юрка. — Домой пора.

— На минутку всего делов-то.

— Не, я домой! — решительно повторил Рыжий.

После такого разговора мне тоже очень захотелось пойти домой, и только надежда на то, что Зотовой не окажется дома, заставила снова потащиться через весь двор к массивной дубовой двери.

Нашарив в кармане пятерку, я зажал ее в кулаке и осторожно постучал в дверь костяшками пальцев: услышит хозяйка — хорошо, не услышит — еще лучше, можно будет уйти со спокойной совестью. Что-то громыхнуло в доме, зашаркали шаги, и низкий голос спросил:

— Кто там?

— Я это... за тетрадками.

Лязгнул засов, хрястнул замок в двери, и она приоткрылась на длину металлической цепочки, из-за которой проглянуло сухонькое личико женщины. Губы быстро дожевали что-то и отмякли в гостеприимной улыбке:

— Входи, входи, голубь, не робей... Чего-то не признаю тебя.

Пока я объяснял, кто таков и чьи мы соседи, Зотова проводила меня на кухню. В низкое окошко, заставленное кустиками герани, сочился жиденький свет, растекался среди многочисленных полочек, развешанных по стенам. Пахло жареной на постном масле картошкой и мышами.

— Тебе, сынок, каких тетрадей-то? — спросила Зотова, по-птичьи склонив гладко зачесанную голову. — Ага, в клеточку и в косую. Сейчас, голубь, в лучшем виде...

Приветливость хозяйки, даже некая угодливость, сквозившая в ее голосе, выветрили мою настороженность, а вместе с тем окрепло недоумение: неужели трудно было Корню ужиться с такой матерью? Конечно, забаррикадировалась она неспроста, вон сколько всего в дом натащила — полки ломятся. Может, и в самом деле куркулиха, как говорит Юрка, да ведь мать родная...

Между тем, обследовав один из шкафчиков и недовольно фыркнув, Зотова зашебуршила бумагой во втором. Изъяла из недр его стопу тетрадей, в сердцах плюхнула на кухонный стол и ворчливо стала перебирать их:

— Вот же зараза чертова, нигде от нее спасу нет. Ну ты подумай, даже сюда забрались. И мышеловки на них ставлю, и ядом травлю проклятых — живут...

Желтизна уже коснулась обложек, а корешки тетрадей хранили следы зубов. Кое-где бумагу словно проела бесцветная ржавчина. Мне, жителю коммуналок, хорошо было известно, от кого остаются такие следы. Стоило поднять голову, и из щелей за стояком парового отопления приветливо, как старому знакомому, зашевелили усами тараканы.

В расстройстве своем Зотова не была назойлива, пытаясь сбыть лежалый товар. Она легко согласилась, что такие тетради не годятся для контрольных работ, и, попросив меня обождать еще немного, шмыгнула в комнату.

Мелодично, совсем как в доме моей бабушки, пропел замок сундука, скрипнула крышка, и все притихло вокруг, будто вымерло... Нет, что-то ворохнулось в углу, зашуршало по стенам... Стоило представить, каково здесь жить в одиночестве, и такая тоска объяла душу...

Я вытянул шею на пороге комнаты. За дверью громыхнуло так, словно выстрелили в меня, любопытного, заставив шарахнуться назад.

Помянув всех чертей, едва не прихлопнувших ее крышкой сундука, хозяйка забормотала что-то невнятное и наконец позвала меня подержать окаянную крышку, хоть, судя по голосу, неохотно впускала в комнату постороннего.

В красном углу чистой, с накрахмаленными занавесками светелки стоял сундук. Пузатый, крест-накрест окованный медными планками, он доверху был набит пачками незаполненных счетов и накладных, стопами чистой бумаги, блокнотами разных размеров... Сказочное изобилие это столь поразило меня, что я, опешив, застрял посреди комнаты.

— Сюда, сюда, — недовольно попросила меня Зотова, быть может, уже раскаиваясь, что затеяла эти поиски. — Не хотела в сундук лезть, да вижу — хороший мальчик, как не войти в положение. Нынче всем помогать надо, такое время — война. Держи, держи крышку-то, не урони. А я никому и не отказываю, коли есть возможность. Думают, легко это на складе работать, а попробуй-ка потаскай вороха с места на место. Всем жить надо, такое время — война. Паразиты проклятые, сколько тетрадей попортили, подавиться бы им...

Зотова тараторила и тараторила без умолку, выкладывая на пол стопы блокнотов и бланков — тетради были на дне. А я стоял, подавленный зрелищем растущей у моих ног горы бумаги, не решаясь спросить, откуда взялась эта гора и зачем нужны хозяйке тысячи счетов. Не собирается же она заводить собственную контору! И когда успела столько нахапать? Не купить — именно нахапать без разбору, это и младенцу понятно...

Мысли стали четки и быстры. С хозяйкой все ясно. А кто же я? Стою «на стреме», послушный мальчик, и жду, когда меня облагодетельствуют ворованным? Сейчас достанет она тетради и скажет, склонив голову с остреньким носом: «Молодец, голубь, помог. В войну все должны помогать друг другу. Вот тебе...»

— Не надо! — вырвалось у меня.

— Чего не надо? — настороженно сверкнула глазами Зотова.

— Ничего не надо.

Зотова медленно разогнулась над грудой бумаг, поморщившись, схватилась за поясницу — больная, немощная женщина, к которой вломился олух со своей просьбой, доставив столько хлопот, а теперь шарахнулся на попятный.

Я ожидал, что хозяйка закричит на меня, затопает ногами или, того хуже, выгонит из дому лежащей у печи кочергой. Но все было иначе. Зотова сказала, что так ей и надо, старой дуре, мало ее учили. Уж сколько раз зарекалась идти навстречу людям, так нет, все за свое — суетишься, угождаешь, хочешь сделать как лучше. А они тебе же в рожу и плюнут.

— Ступай, — смиренно сказала Зотова. — Подрастешь, может, умнее станешь.

И я пошел вон с низко опущенной головой, словно побитый. Как ни странно, чувство вины за непостоянство своих поступков вполне ужилось во мне с другим, вроде бы несовместимым — ощущением обретенной свободы. Она была горькой и сладостной одновременно, пожалуй, более горькой, чем сладостной, но лишь до того мига, пока я не поднял головы. Опахнул лицо теплый весенний ветер, полыхнула над крышами яркая просинь неба, и я подумал, что, наверное, так же, переживая свою вину и радуясь вольному ветру, уходил из родного дома и Корень.

Она, единственная и неповторимая, ворвалась к нам через день, ранним утром, и всколыхнула весь город.

— Победа! — орали у подъезда ошалевшие от счастья мальчишки с нашего двора.

— Победа! — клокотали распахнутые настежь окна госпиталя, и кто-то палил в воздух из пистолета.

— Победа! — звенящим от торжества и волнения голосом вновь и вновь возвещал по радио Левитан.

Во дворе меня перехватил светловолосый, резкий в движениях парень с темной повязкой, туго перетянувшей половину лица. Он вынырнул из-под навеса сарая, изрядно напугав меня не столько тем, что одет был в полосатую пижаму, сколько самой неожиданностью такой встречи.

— Слышь, братишка, выручи, а? Хоть какие-нибудь брючата да рубаху. Вот так надо! — полоснул он ладонью поперек горла. — Сам понимаешь — Победа. А тут хоть... — Он оглянулся на забор, через который наверняка перескочил к нам из госпитального двора, и поторопил мою нерешительность: — Давай, давай, подсуетись, очень тебя прошу. С возвратом, конечно.

Вопреки моим опасениям, мама не стала задавать лишних вопросов. Только глянула в окно, пытаясь рассмотреть под сараями того нетерпеливого парня, и ворча завернула в газету старый парусиновый папин костюм, да сверх того носки и прохудившуюся на локтях рубаху.

Когда, укрывшись в сирени, парень торопливо натянул на себя все это, я чуть не расхохотался: так коротко да кургузо сидела на нем одежда.

— Что, коротковато малость? — спросил он, скептически оглядывая штанины пижамы, торчащие из-под брюк.

— Ага! — заухмылялся я вовсе в открытую.

— Ничего, сойдет! — решительно заключил он, подвернув излишки пижамы. — Спасибо, братуха, за выручку. Вечером занесу. Какая квартира-то?..

Он поправил сбившуюся повязку, под которой ало засветилась не успевшая зарубцеваться кожа, и, вскинув руки вверх, исчез со двора так же стремительно и бесшумно, как появился.

«Разведчиком был, не иначе», — решил я.

Куда было бежать в такой день? Конечно, на центральную площадь. Спозаранку на ее подкованном брусчаткой разлете царило ликованье, которого не помнили эти камни. Качали всех, кто носил военную форму, братались и пели, плясали до упаду под переливы трофейных аккордеонов. Какой-то усатый заводила, отбросив костыли, выкидывал коленца на одной ноге. Траурно-черные женские платки то там, то здесь спорили с пестроцветьем девичьих косынок... А люди все подходили и подходили, смеясь и плача, крича и перекликаясь друг с другом, пока на всем обширном пространстве площади не осталось места ни плясунам, ни отдельным компаниям.

К вечеру, когда должен был прогреметь победный салют из тридцати залпов, мы с Рыжим дрейфовали по площади, так стиснутые толпою, что самостоятельно не могли сделать в сторону и шага. На Юрке была белая рубаха, на ногах — начищенные ваксой сапоги.

Отец его, сапер, прислал последнее письмо из Венгрии, и Юрка уже считал, за сколько дней можно доехать поездом от Будапешта до нашего города. Юркиного отца и в самом деле демобилизуют очень скоро как старослужащего, и говорливая Юркина мать первой из солдаток нашего двора станет гордо носить большой живот с будущей дочкой Светланкой...

Все это ждало впереди. А пока водоворот толпы вынес нас к широким ступеням трибуны. Там, приподнявшись на гранитный уступ, мы попытались закрепиться. Сумерки уже обволакивали площадь. В их сереньком свете колышущийся людской разлив казался безбрежным. Я поискал взглядом знакомых. Может быть, здесь, в толпе, и тот парень с повязкой? А может...

Еще днем, когда на площади было посвободней, нам повстречался худющий, возвышающийся над всеми старик. Густой сивый чуб мо-

тался над переносицей. Распахнутая брезентовая куртка обнажала прикрытую тельняшкой грудь. Идти бы ему степенно, как подобает ветерану, а он длинно вышагивал в окружении подростков, то ль отродясь легкий на ногу, то ли помолодевший в такой день. Кому-то по-приятельски сдвинул фуражку на затылок, кого-то поприветствовал на ходу...

Трудно было отвести взгляд от старика. Лишь тогда, когда Юрка вскинул кверху ладонь, взгляд мой ткнулся в знакомых — Витька и Корня, старающихся попасть в ногу со стариком. Едва узнал их в замасленной рабочей одежде. Лишь кепчонки были те же, глубоко насаженные на лоб, да той же напористостью дышали чумазые лица.

Парни что-то прокричали нам с Юркой. Я дернулся было вслед, да вовремя понял, что им не до меня. Пахнуло гарью, словно мимо промчался паровоз. Истаял слабый запах мазута.

— Откуда они? — огорошенно спросил я у Юрки.

— Со смены, в депо слесарят... Во дедуля раскочегарился...

— К нему Корень ушел?

Юрка кивнул, и больше мы о парнях не говорили. Но вспоминал я о них в тот вечер не раз, обшаривая глазами площадь и удивляясь, как не пришло мне в голову сразу, что эти подростки уже трудяги. Правда, считал я их почти ровней, а все тринадцатилетние годки мои учились в школе...

Толпа смела нас с гранита, повлекла за собой, и в это время кто-то, не удержавшись, выстрелил ракетницей с крыши ближайшего здания. Возможно, то был сигнал к началу салюта, ибо с балконов и крыш домов, со всех сторон площади началась такая пальба из ракетниц, что залпы орудий почти потонули в ней. Небо вспыхнуло разноцветьем огней, и все, кто теснился рядом, выдохнули тысячеголосое раскатистое:

— Ура-а-а-а-а!!!

Мы с Юркой тоже орали от переполнявшего душу восторга и возбуждения. В азарте солдаты порой стреляли из ракетниц под низким углом, и огнённые шнуры, не успевая сгореть в воздухе, зависали над самыми головами. Люди шарахались, прикрывали волосы руками и еще громче взрывались криками:

— А-а-а-а-а!!!

Слоистый пороховой дым застилал площадь, как во время сражения.

Победа пахла жжеными бинтами, гарью угольных топок, терпким чадом самого долгого из салютов. Словно сгорела в огне войны вся нечисть, коростой облепившая землю, и в сполохах победного фейерверка явила нам лик свой новая жизнь, такая же восторженная и праздничная, как эта запруженная народом площадь, такая же единая и сплоченная в своих устремлениях, как все мы, плечами притертые друг к другу.

Впрочем, то был лишь привкус Победы. Истинного вкуса Победы мне, мальчишке, изведать было не дано. Но сколько доведется прожить, как нежную улыбку матери, никогда не запамятую небо того вечера, когда на площади 1905 года в Свердловске трудовой Урал встречал первый день мира.



Олег АЛЕКСЕЕВ

Отцовскими заботами живу

Новоржевские пасторали

1

Я стаду радуюсь, как чуду,
Хоть умиляться не велят.
Здесь колокольчики повсюду:
В траве, на шеях у телят.
Туманны травы и медовы,
И луг струится, будто плес.
Проходят пегие коровы
Средь пегих, как они, берез.
Кружа, течет река овечья.
Бараны бойки и резвы,
И ярки не торопят вечер
На щедром празднике травы.
А на холме, среди ромашек
Стоит нетвердо, что на льду,
Весь черный, будто ночь, барашек
С ромашкой белою на лбу.

2

Пастушьи дни порою нелегки.
То дождь, то ветер. Мучают потери
И промахи. В лугах не шашлыки,
Не валенки с отрезами материи —
Пасутся овцы, множество ягнят,
И ярки, и могучие бараны.
Они свое достоинство хранят,
Бывают то задумчивы, то странны.
Вот этот, словно бы заросший мхом,
Все смотрит с видом дерзким
и беспечным.
Себя считает, видно, пастухом,
А пастуха Егора подопечным.

3

Сказал товарищ с видом
огорченным:
— Теперь я не пастух, а гуртоправ.
У гуртоправа, видно, больше прав.
А может, делать нечего ученым?
...Не стало поля, есть «зеленый цех».
Читаю, рот открыв от удивления:
Перекрестили и доярок всех,
Все — «мастера машинного доения».
Язык казенный сух и нарочит,
А люди говорят издревле ярко.
И слово деревенское «доярка»
По-прежнему как музыка звучит!

4

...А гнус гудит, как провода,
Со стадом никакого слада.
Одно спасение — вода,
И в озеро уходит стадо.
Коровы и быки — в воде,
Телки — от мала до велика.
Пастух остался не у дел,
Дерет себе от горя лыко.

5

Так яростно и так сурово
Петух распелся на заре.
Проснулись куры и коровы,
Гогочут гуси на дворе.
— Теперь народ у нас богатый! —
Частенько повторяет брат.
...Ведет овец баран рогатый
В луга, на утренний парад.
Такая добрая картина.
А шерсть — как ивняковый пух!
И слово древнее «скотина»
Негаданно ласкает слух.

Предчувствие

Я по ошибке ястреба подбил...
Он, волоча крыло,
забился в травы,
И клюв все открывал,
Как будто пил —
Глотками — яд неведомой отравы.

Лежала пожня влажная вокруг,
И сено по полям везли возами.
И на меня отец мой глянул вдруг.
Подстреленного ястреба глазами.

Смотрел он без упрека,
только боль
Была во взгляде, смутная тревога.
Взял ястреба отец, унес с собой,
И птица пожила еще немного...

Давно все это было. Бездна лет
Ушла. Почти забылась та охота.
Погиб отец, и ружей наших нет,
И высохло то самое болото.

Отцовскими заботами живу.
И понял, понял боли той причину:
Отец тогда увидел наяву
Свою—уже недальнюю—кончину.

В партизанском крае

1

Средь полночной тишины
Вдруг почудился мне снова
Самый страшный звук войны —
Лязг железного засова.

Огонек в разливе тьмы —
Часового папироса.
И гремит затвор тюрьмы
Ожиданием допроса.

2

Нас вывели из дома под конвоем.
Каратели постройки подожгли.
И мы пошли весенним теплым
полем
По краешку обугленной земли.
Тропинка нависала над водою.
Я вел корову, мать несла узлы
С поклажей легкой,
с тяжкою бедою,
Угрюмая, лицо темней золы...
Мы — пленные, но это —
продолженье
Надежд, слепого страха и борьбы.
В воде качалось наше отраженье,
Как бы качался маятник судьбы.
Держась за мать,
Плелись сестренка с братом,
Испуганные насмерть малыши.
Молчали оба с видом виноватым,
И ветер гнул их, будто камыши.
Картавый ворон нам пророчил
беды.
Чужие горы стали вдруг видны.
До нашего спасенья, до Победы,
До Жизни оставалось — полвойны.
...Не узнаю озерные откосы.
Деревьев незнакомая толпа.
Другие травы и другие росы.
Лишь уцелела страшная тропа.

* * *

Мне три года.
Я в звании старшего сына.
Жизнь в деревне светла и легка.
Для меня карта Родины —
это картина,
На которой деревья, поля,
облака,
Я узнаю потом про поля
и про реки,
Я условности карты пойму
и приму.
Покажу даже путь
«из варягов в греки»,
Словно плыть приходилось
не раз по нему.

Рядом — лес, на опушке —
Коряги да камни,
Где живет, мне сказали,
большая змея.
Кружит ястреб под белыми
облаками.
Возле дома —
задумчивых елок семья.

Я гляжу на суровые темные ели,
Размышляю о матери и об отце.
А сестренка в плетеной
лежит колыбели,
Голубые глазенки цветут на лице.

И так близко луга —
за прудом карасиным.
Там трава высоченная,
высверки кос,
Серый трактор,
воняющий керосином,
И еще непонятное слово —
колхоз.

Забытая деревня

Открыты для дождей
и для метелей,
Стоят на скате старого холма
Над озером, среди стогов и елей —
С невидящими окнами дома.

Мерцают плесы тускло и сурово.
Проселки густо заросли травой.
По вечерам из сумрака лесного
Доносится щемящий волчий вой.

Пройдут дожди унылой полосою.
Ни голоса, один вороний крик.
В отавы с поржавевшею косою
Порой придет задумчивый старик.

Он и жена — вдвоем на всю округу,
Два сторожа — на дюжину домов.
Нет радости ночами слушать вьюгу
И ждать, как зайцы набегут
с холмов.

Моя деревня, подожди немного.
Смотри: растет соседнее село.
А рядом, видишь,
строится дорога.
И многое вернется, что ушло.



Виктор КОНОВ

ТЕЩИНА СТАНЦИЯ

ПОВЕСТЬ

У ПЕРЕУЛКА, где стоял дом Годунов, Павел обернулся к Кате:
— Зайдем?
«Все-таки интересно, чем кончился его разговор с матерью и Люсей...»
Катя в знак согласия молча наклонила голову.
Дом Годунов внешне был таким же, как большинство в Крутицах — из красного кирпича, с обозначенными белой краской «наличниками», под шифером. Только, пожалуй, выглядел поаккуратней да двор был поменьше, сохранился сад, виднелись в огороде и «сороконожки», которыми занималась Ольга. Но внутри все по-другому. У всех с крыльца или из сеней входишь на кухню, а из кухни — двери в большую залу, или переднюю, в которой перегородками и занавесками отделены закутки-спальни. У Годунов — прихожая, а уж из нее двери в кухню-столовую, ванную, комнату для гостей, большую залу, а из залы двери в спальню, детскую и кабинет Годуна...

Из кухни вышла Ольга в домашнем халате, полноватая, с лицом постаревшим, но неизменно ясным, щеки в ямочках.

— Как раз к обеду!

Павел давно уже отметил, что в доме, в бытовых вопросах Ольга твердо, подтрунивая, командовала Годуном, но о делах общественных она говорила уже нерешительно, часто взглядывая на мужа, который мог и оборвать ее или вообще не услышать. А вот они с Катей еще так и не определились в семейных отношениях, своих ролях.

На голоса и смех Димки и Гали вышел Михаил Архипович, в очках, с газетой, весь домашний, дедушка, по лицу которого Павел понял, что разговор его с матерью, как он и чувствовал, кончился ничем.

Катя сразу же спросила:

— Ну что, пап, подискутировал с Люсей?

Михаил Архипович ответил с уклончивой интонацией:

— Людмилы уже не было, уехала. Поговорили с Евдокией...

Катя взглянула на Павла:

— А чего это она так быстро уехала?

Павел пожал плечами. Все помолчали, представив, как все непросто в их семейных отношениях.

Годун вздохнул:

— Да, Евдокия, Евдокия...

После обеда Михаил Архипович жестом пригласил Павла в свой кабинет, которым втайне гордился, где обдумывал и вынашивал свои текущие и дальние планы, свою политику, стратегию. Аккуратные стел-

---

Окончание. Начало в № 4 за 1986 год.

лажи от пола до потолка, забитые книгами и журналами, здесь же многолетние подшивки «Правды», областной и районной газет, папки со всевозможными выступлениями, докладами, справками, заметками в газетах, диван, стулья, два кресла, стол у окна, выходившего в сад. Годун знал, что кабинет этот производил впечатление на Павла и на гостей, настраивал на уважительное отношение к хозяину, задавал серьезный тон разговору.

— Прошу, — Годун указал Павлу на кресло и сел к столу, где лежала газета с очками.

Павел устроился на диване.

Годун прямо посмотрел на Павла, в глазах мелькнула улыбка.

— Ну что, Павел Васильевич, говорил с тобой Андрей?

Павел кивнул.

— Да, ухожу, — Годун грустно опустил голову. — Устал... Вы молодые, — он посмотрел на Павла с директорской строгостью, — вот и продолжайте дело отцов. Это ваша земля, на ваших плечах теперь ответственность за нее. Время тревожное, нельзя в кустах отсиживаться... Отделение тебе достается хорошее, сильное, по территории — это мой прежний колхоз, до объединения. И люди есть, и техника, фермы, земля неплохая, в общем, сам знаешь — все есть. А я, помню, начинал — на пустом месте! Голод, разруха, в кассе пусто...

Павел хмуро смотрел в окно на заснеженный сад. Годун даже дома редко бывал прост и откровенен, легко впадал в назидательно-правильный тон, словно начитался газет, и говорил свысока, будто знал что-то важное, что неведомо и не следует знать собеседнику. Павла обижало и раздражало, что тесть не принимал его всерьез, относился к нему, как к школьнику.

— Люди есть... И техника, и земля. Но почему, Михаил Архипович, все так запущено?

— Что запущено? — насторожился Годун.

— Да хоть скотники Зотова! Это же как другое государство — не тронь их! Всегда полупьяные, а там и молодые ребята есть. Химичат со сдачей бычков, с кормами — все знают. Прибрали себе конюшню с лошадьми, весной всем огороды пашут на них, а деньги пропивают. Водовозка им для чего? Да они свои огурцы поливают!.. Доярки подоят кое-как — и домой, тетя Нюра с этим смирилась. И вообще в селе как-то неопределенно, невесело. Уткнулись все в свои плантации, в сороконожки... Денег много у всех, радости не очень.

Годун слушал Павла, и на лице его держалась снисходительная усмешка.

— Ты хочешь молодежного энтузиазма!.. Слава богу, что скотники так жадно работают, что худо-бедно работают и доярки, ведь условия у них трудные. Есть экономические законы, есть возможности техники, производственных помещений. А энтузиазм — вещь ненадежная, для сегодняшней деревни и вовсе смешная.

Павел вскочил с дивана. Тесть умел перевернуть в споре смысл слов собеседника или подчеркнуть случайную слабость в доводах и высмеять ее.

— Не об энтузиазме речь! О жизни. Какая-то она у нас кособокая: речи говорим правильные, а в жизни — все по-другому. Жизнь получается двойная. Надо говорить прямо о том, что есть, называть все своими именами. Экономические законы без людей ничто.

Павел видел, что Годун слушал его с той же снисходительной усмешкой, и злился все больше.

— Так его, Павел Васильевич! Правильно. К ответу его!

В дверях кабинета стоял улыбающийся Андрей Кириллович в пиджаке, джинсах и домашних тапочках. Годун встал ему навстречу.

— Я на минутку. Прошу прощения, что прервал ваш разговор. — Андрей Кириллович обратился к Павлу: — Зашел к тебе на кварти-

ру — нету, у матери дом закрыт, никто не откликается. Кукуня подсказала: «Павел с Катей к Годунам пошли». Глазастая бабка... — Андрей Кириллович сел в кресло, расслабился. — Пришел ко мне Кирьяныч: «Не буду больше никого замещать. Устал». Видно, решил, что нужно обидеться, раз уж не назначил его управляющим, — пояснил Андрей Кириллович Годуну. — Дня три-четыре он еще продержится, а там — готовься, Павел Васильевич. Недельки тебе не выходит.

Павел ничего не ответил.

Воспользовавшись небольшой паузой, Годун сказал:

— Вот, Андрей, молодые преемники наседают: запустили мы с тобой дело, людей...

Андрей Кириллович спокойно ответил, не поддержав искусственного воспитательного тона разговора:

— Ну, конечно, запустили, Михаил Архипович. О чем тут спорить? Это теперь и ежу понятно. Надо думать, как исправить.

Годун настороженно замер и внимательно посмотрел на Андрея Кирилловича: слова прозвучали с очевидным намеком и на его, Годуна, вину.

Андрей Кириллович твердо и недвусмысленно отмежевывался от фальшивого разговора, хотел и Павлу показать суть дела, поддержать его, и сам избавлялся от неопределенности суждений, осторожности. Прав Павел, хватит болтовни вокруг да около, надо действительно называть вещи своими именами, ложь, фальшь, полуправда и так достаточно запутали здесь всех, а расхлебывать приходится пока только одному ему, директору. Его ошибка, его неудача до разговора в райкоме состояла в том, что он слишком мягко и осторожно стал претворять свой замысел в жизнь. А нужна была прямота и решительность, тогда и люди пойдут. Истина, выход из положения были достойны, чтоб не вилять, не осторожничать, а действовать.

Ведь что происходило в Крутицах и других селах?

Во всякой экономической реальности, размышлял Андрей Кириллович, есть ее история, сегодняшнее состояние и перспективы на будущее. История проста — наголодавшаяся, настрадавшаяся за долгие послевоенные годы деревня получила неожиданную возможность не просто хорошо, а отменно зарабатывать, и она торопится этим воспользоваться, справедливо подозревая, что такие большие деньги не будут ей идти в руки все время... Сегодняшнее состояние, конечно, временно. Эта изматывающая всех каждое лето огуречная лихорадка ненормальна, и долго так продолжаться не может, люди в конце концов выдохнутся, насытятся деньгами, да и медленно, но надежно разворачиваемое общественное поле собьет цену с огурцов, сами они ее собьют, затоварив рынок. Так где же выход, каковы перспективы, куда грести? Попросту ждать, положившись на естественный ход дел, что исповедует Годун? А когда сработают эти естественные экономические законы? И какими выйдут люди после лихорадки?

Уступая жене и теще, рожденным в Крутицах, Андрей Кириллович сам посадил огурцы во весь огород, хоть это и было рискованно в его директорском положении. Но по местной морали простительно: не сажает огурцы только лодырь. Хотелось лично ощутить все искусы, их силу, ощутить все, что чувствуют другие люди, — и вкус больших денег, и состояние души, и тяготы. И оттуда, с той стороны, посмотреть, есть ли выходы.

Искус оказался не всесильным. Выходы нашлись, Андрей Кириллович почувствовал их своими руками, всем существом.

Если теща, баба старой закалки, издавна приученная к тяжелому и скучному труду, терпеливо копалась в огороде, смело ехала с мешками на рынок в Рязань и в Москву, то жену-учительницу и самого Андрея Кирилловича эта одиночная, нервная, тяжелая работа выматывала и физически, и морально, нагоняла скуку. Теперь он понимал,

что совсем не шутят бабы, когда говорят: «Господи, хоть бы кто-нибудь нас остановил! Каторга! Жизни не видим!..» Тяжело выращивать огурцы, еще трудней — довезти до подходящего рынка и продать. Дорожные мытарства и рынок со всем его колоритом, с его невидимыми для посторонних торгашескими законами, жуликами, вымогателями, перекупщиками, спекулянтами выдерживали только житейски опытные, стойкие бабы и расторопные, хитрые мужички...

Ближе к осени, когда огуречная лихорадка стихала, люди начинали работать в совхозе с виноватой старательностью, на это чувство и уповал Годун. Он и став управляющим полагался на естественный ход дел, и в отделении не пытался слишком уж регламентировать работу людей. Да, совесть у людей оставалась, наглые рыночные пройдохи отбивали торговые аппетиты, вселяли в деревенских людей беспокойство за общие дела. Срабатывало чувство самосохранения, ведь государство держится порядком, справедливостью. После летней лихорадки люди тянулись в клуб, друг к другу, хотелось общего праздника. Висела в воздухе тоска по атмосфере прежнего села с ее песнями, дружными сенокосами, с верой в лучшие времена. Да и тревога в мире каждый день напоминала, что все эти деньги однажды могут оказаться ненужными. Нет, убедился Андрей Кириллович, свой огород, свое подсобное хозяйство во всех смыслах оставалось подсобным: оно не решало и не могло решить основных вопросов жизни села, жизни человека.

И еще Андрей Кириллович понял, что значительную долю интереса и сил люди, особенно молодые, без труда, даже с облегчением готовы были оторвать от своих огородов на общие дела. Но это — если им предложить что-то более стоящее, чем их большие деньги и чем сегодняшняя жизнь в селе. Надо выйти к людям с конкретной, заманчивой программой будущей жизни, а не с осуждением их жадности и голым призывом: «Не пить! Честно работать в совхозе!» Что реально можно предложить, чем увлечь? Нащупывал Андрей Кириллович вот что.

В Крутицах это часто повторяли, и в шутку, и со злой досадой: «Жизни не видим! Воткнулись в грядки...» Выявилась весомая ценность, способная противостоять большим деньгам и всему, что с ними связано, — качество жизни. Надо было дать возможность увидеть, почувствовать достойную жизнь, сделать ее своею. Ведь вода начинает цвести и тухнуть, когда нет движения, быстрого течения. Какой работы можно ждать от людей, когда жизнь скучна, неинтересна. Можно и нужно было отвлечь и увлечь людей масштабной общей работой, захватывающим общим делом с хорошей оплатой, увлечь техникой, культурой работы, веселым свободным временем, ярким праздником в клубе или на стадионе, где бы можно было надеть то, что куплено на зашевелившиеся большие деньги. Люди не хотели сидеть дома, в четырех стенах, даже если они и увешаны коврами! Нужны привлекательные и реальные цели. Нет, выход был. Правда, как-то пока еще в общих чертах. На собрании это его и подвело. Но Андрей Кириллович его чувствовал.

Жить теперь надо было начинать смелей, на широкую ногу, открыто, с ярко зажженными огнями. Жить и пошевеливаться. Ставка на естественный ход дел, исповедуемая ранее, внедренная Годуном, естественно изжила себя здесь. Надо круто менять стратегию, опираться на других людей, расшевелить обленившихся, от кого-то освободиться, даже и от Годуна, он матерый, его накрепко сбило, скрутило таким время, его не переделать. Надо не бояться помочь людям облегчить работу в своем огороде и особенно продажу. Рыночные заботы большинство отдаст с удовольствием, даже и немало теряя в прибыли...

— Да... — Годун неторопливо сел к столу, вполоборота к гостям. Иронически улыбаясь и глядя куда-то в пространство, устало загово-

рил: — Мне, бывало, тоже всыпят в райкоме, приеду я, сяду вот здесь и думаю: «А ведь и правда, надо по-другому жить, с энтузиазмом», — насмешливо подчеркнул он последнее слово. — Начнешь прикидывать, как это по-другому. Понятное дело — давать больше хлеба, молока, мяса, у людей настроение поднять. Но что, кроме горячих слов, мог я людям предложить? О прежних годах, когда трудодни да палочки, и говорить нечего. Но даже и сейчас!.. Механизаторы тебе скажут, нужны новые мастерские, новая техника, доярки и скотники пожалуются на фермы: они с виду ничего, а начинка — сам знаешь; нужны дороги, нужен новый клуб, нужно, нужно... А мастерские тебе обещают включить в план строительства лишь в следующей пятилетке, о клубе и не заикайся, этот пока хорош, про дороги говорить нечего, строят по пятьсот метров в год, быстрее — ни денег, ни сил у дорожников нет. Начинать пробивать, доставать — значит попросту перехватывать у соседних хозяйств, а чем они хуже, у них такое же положение. И опять все встает в свою колею. Оно хоть по ней и не шибко разбежишься, зато уж надежно.

Андрей Кириллович внимательно, серьезно слушал Годуна, зеленые глаза его похолодели, но заговорил он спокойно:

— Это все верно, Михаил Архипович. В общих чертах. Но речь ведь о том, что мы плохо используем то, что имеем. И дело, конечно, в людях. Раньше говорили: «Давай, давай!», а платили мало, теперь наоборот: платят много, а работать можно спустя рукава. Это, по-моему, ничуть не лучше...

— И все-таки люди работают! — перебил Годун. — Вот что главное. Работают и будут работать, иной год получше, иной — похуже. Я их сорок лет знаю! И не скрою, у нас всегда было с ними негласное соглашение: они закрывают глаза на трудные условия, в которых приходится работать, я как директор закрываю глаза, что работают они не по правилам, не во всю силу, и это устраивало обе стороны. Другого выхода нет. Не все и не всегда, правда, это соглашение понимали... — Годун, вспомнив Евдокию, посмотрел на Павла. — Но, худо-бедно, дело шло, и шло лучше и лучше. Так оно и будет идти!

Андрей Кириллович встал. Спор опять начинался принципиальный, в котором ему хотелось почувствовать силу и аргументы противника и найти толковый ответ. Павел впервые слышал такой резкий спор и сидел, удивленно переводя глаза с одного на другого.

— Сейчас нельзя не ставить больших целей и не стремиться к ним! — голос Андрея Кирилловича стал тверже, злей. — Это ваше соглашение было еще как-то простительно для трудных времен. Но сейчас-то! Люди живут богато. Набили дома под завязку: одежда, машины, ковры, золотые вещи. Без толкового употребления это же бациллы разложения! У нас нет культуры владения большими деньгами. Мы все дикие в этом плане. Что там начнется и началось уже в семьях — можно догадаться. Большие деньги так сразу — это опасно, совхозный рубль перестает работать! Люди могут послать нас к черту со всеми нашими с вами расчетами и планами, соглашениями, вот что может быть!

Годун усмехнулся, сказал спокойней и с достоинством:

— Ну, ты преувеличиваешь по молодости. Я знаю людей и верю им. Большинство — зрелые люди, живут заботами государства. Тут все не так-то просто, с рублем. Не только ради него хочется человеку работать.

Андрей Кириллович язвительно дополнил:

— Да! Набиваем свои мошны и не против иногда даже с трибуны поговорить о государстве очень правильными словами.

— Люди живут в селе, работают! Дают народу и государству нужную продукцию. Не воруют же они эти деньги! Пить в селе стали меньше: уж если огурцы выращиваешь, тут не до вина.

— Но в совхозе-то урожаи ползут вниз, молоко — тоже, у вас же в отделении. А государство, о котором мы любим поговорить, оно не огурцами кормится!..

— Урожаи... Всегда так было. Год на год не приходится. Выговор тебя испугал. Да у меня этих выговоров!..

Оба помолчали, понимая, что суть их несогласия в том, что каждого сделало, воспитало свое время... Андрей Кириллович трогал корешки книг на полках, Годун склонился на стуле, рассеянно двигая очками по газете. Павел сидел, не решаясь смотреть ни на тестя, ни на директора, и глядел в сад, на падавший снежок.

Андрей Кириллович похлопал ладонью по книгам:

— С давних пор Россия выбирает: покой или движение, со времен Петра, а то и раньше. Покой — это застой, гниение, разложение, вот он чем оборачивался, а движение — жизнь, уверенность, успех. Тем более сейчас! Мы так устроены, время такое пришло, ситуация такая — надо двигаться, мчаться, как велосипедист, иначе упадем, завихляемся. Я вижу, чувствую, что мы здесь, в Крутицах, завихлялись. Люди в конце концов с нас же и спросят, что это вы, мол, дали нам увязнуть. Уже говорят: «Жизни не видим!..» Молодые не очень-то остаются в Крутицах: ребята есть, невест нет. Все-таки не в деньгах счастье. Верно, Павел Васильевич? — Андрей Кириллович подмигнул Павлу. — Кстати, нам с тобой кое-куда съездить надо.

— Движение, — проворчал Годун. — Движение всякое бывает. Бывает и бесполезное. — Он повернулся к Андрею Кирилловичу. — Ну хорошо, Андрей. А с чем конкретно ты выйдешь к людям? Конкретно! Что делать? Ведь все, что ты говоришь, может, и верно, но это — так, сотрясение воздуха! — Годун начал злиться и резко отодвинул очки и газету. — Все это было, я уже пробовал. И цветы сажал около ферм, и огурцы начинал в совхозе выращивать, чтоб цены сбить, задавить, так сказать, частника. Цветы мои коровы быстро затоптали, над этим до сих пор смеются, а огурцы совхозные не пошли. И не могли пойти у нас. Нужны специализированные хозяйства, теплицы, оборудование, фонды... Возни сколько! Вот и сажаем только капусту — с ней проще, а план на овощи дается в тоннах, что ни сдай. И в клубе что-то пытался делать, самодеятельность там всякую. Нет, не поется что-то людям! Настроение не то. Сейчас надо дать людям переболеть большими деньгами, насытиться и понять, что действительно — счастье-то не в них.

Андрей Кириллович вдруг засмеялся:

— В общем, Михаил Архипович, получается так: мы оба все понимаем одинаково. Но вы за то, что ничего предпринимать не надо, а я — надо начинать.

— Нет! — рассердился Годун и даже встал. — Я о другом говорю! Надо исходить из реальных условий. Это они диктуют: работать, жить и терпеть. Это же деревня, сельское хозяйство, не спорт, тут не поскачешь галопом. У тебя нет фондов, материалов, сил, нужных людей, чтоб начать все круто менять. Покрутишься, попрыгаешь и придешь к тому же!

— Есть, есть кое-что, Михаил Архипович. Не будем прибедняться, — Андрей Кириллович насмешливо смотрел на сердитого Годуна. — Есть что предложить, есть с кого потребовать. Главное, есть убеждение, что смотреть на то, как мы сейчас живем, работаем, и ничего не делать — нельзя. Вот мы с Павлом Васильевичем...

Какие-то встревоженные голоса стали доноситься в кабинет, перекрывая голос Андрея Кирилловича, кто-то вдруг вскрикнул, раздался голос Кати:

— Паша!

Павел вышел в прихожую. Кукуня!

— Пашка, беда! Мать помирает! Беги быстрей домой!..

Пока Павел, а за ним и Катя торопливо одевались, Кукуня, тяжело дыша, лихорадочно рассказывала, глядя на вышедших в прихожую Годуна и Андрея Кирилловича:

— Я смотрю, чего-то собака у ней воет и воет. Крыльцо заперто. Я огородом прошла, а она на дворе лежит. Мы ее кой-как с бабами домой затащили...

Годун тоже схватился было за пиджак на вешалке, но, помедлив, повесил его обратно.

Евдокия смутно, будто во сне, помнила, что вокруг нее суетились встревоженные люди, затем ее подняли и понесли. Несли неловко, волоча по снегу ногами, цепляя за косяки дверей, и ей хотелось подняться, идти самой, но опять память куда-то пропадала.

Очнулась Евдокия на кухне: лежала на диване, на котором две недели назад неуклюже привалился на бок и больше не встал Василий Васильевич.

Над ней склонилась Катя, держа в руке комочек ваты, от которого резко пахло нашатырным спиртом. Рядом с Катей стоял Павел, дрожащими пальцами трогал пушистые усы, оглядывался по сторонам, словно искал что-то, опять глядел на нее и явно не знал, что делать. У ног присела на диван Кукуня и, вытянув шею и подняв коротенькие бровки, вглядывалась ей в лицо. Стояли бабы-соседки и еще какие-то люди.

Евдокия зашевелилась, ощупывая себя, и попыталась встать.

— Лежите, лежите, — остановила ее Катя. — Я сейчас за Игорем Михеевичем схожу.

Павел встрепенулся:

— Я сбегаю! Ты тут... С ней. Он в больнице?

Евдокия, подняв голову от подсунутой подушки, оглядела себя: на ней была засаленная телогрейка, на ногах — валенки. Ведь сейчас врач придет. А посреди кухни — ведра, стиральная машина, белье в тазу.

— Ну что, очухалась?.. Меня-то угадала? — спросила Кукуня с насмешливой улыбкой. — Ты хоть чего помнишь? Как упала-то, помнишь?.. Лежит, кругом куры ходят, ведро посередь двора...

— Там порог высокий, — слабым, но ровным голосом заговорила Евдокия. — Спотыкнулась я... Таня, ты помоги... Белье прибрать надо... Переодеться. А то врач...

Кукуня бесцеремонно выпроводила из дома всех посторонних. Вместе с Катей они сняли с Евдокии телогрейку и валенки. Евдокия смогла встать на дрожащие ноги, даже пойти, и ее уложили на кровать в зале.

Стиральную машину и таз с бельем на кухне Кукуня с Катей отодвинули к стенке, протерли пол.

— Какая гордячка, — вполголоса, заговорщицки-весело поглядывая на Катю, ворчала Кукуня. — Окрысилась на всех, вот ее бог-то и наказывает...

В разгар суеты вошла женщина в коричневой дубленке с белой опушкой и меховой шапке. Она поставила к столу большую сумку, оглядела Кукуню и Катю. Серые цепкие глаза и твердо сжатые губы придавали ее красивому лицу озабоченное, сухое выражение деловой женщины.

— Ну что? Как она? — не здороваясь, спросила женщина.

— Тамара, это ты, что ль? — удивилась Кукуня. — Какая барыня — не узнаешь!

Сквозь тревогу на лице Тамары мелькнула улыбка.

— Иду по деревне с электрички, радуюсь погоде, родной дерев-

не, а мне бабы кричат: «С матерью плохо. Беги быстрей!» Что случилось? Где она?

Тамара разделась, но, прежде чем пройти в переднюю к матери, подождала, пока Кукуня не объяснила происшедшего и не сказала о состоянии Евдокии. Слушая бойкий, сбивчивый рассказ Кукуни, Тамара сдержанными уверенными жестами поправляла короткую прическу, оправляла светлую юбку из плотной материи, пушистую, нежно-синего оттенка кофту и зорко поглядывала на Катю, возившуюся с ведрами у печки.

Увидев старшую дочь, Евдокия жалобно скривила лицо, заплакала: теперь есть на кого положиться, с кем посоветоваться, есть кому пожаловаться на обиду Годуна.

Заплакала и Тамара, вытирая глаза надушенным платочком и говоря сквозь слезы:

— Ну как же ты?.. Ты бы береглась. Папы уже нет, и ты хочешь...

— Да я... я... — Евдокия больше ничего не смогла выговорить, слезы мешали ей.

— Что же тебе никто не помогает?.. Надо, мама, уезжать отсюда. Одна пропадешь. Умрешь — никто и знать не будет...

Тамара обернулась к Кукуне, вместе с Катей стоявшей за спиной Тамары:

— А где Люся? Не приезжала?.. Она мне звонила, сказала, приедет сегодня.

— Была, была она утром, — Кукуня вышла из-за спины Тамары. — И Катя вот приходила, помогала, и Люся приезжала. Всех она, — Кукуня указала рукой на Евдокию, — распогоняла, а сама, видишь, никуда и не годна.

— Ты выгнала Люсю? — Тамара удивленно подняла брови, глядя на мать. — Да что же у вас тут случилось?

Евдокия вяло махнула рукой, утирая слезы.

В окна было видно, как к крыльцу подъехал зеленый «рафик» с красным крестом на боку, из него вышли высокий мужчина в белом халате и Павел.

На кухне затопали, раздались голоса, и все оглянулись на дверь в передней. Игорь Михеевич, высокий, худой, с пузатым портфелем, еще от двери заговорил деловитым басом:

— Так, где она тут? Попрошу всех выйти. Вы, Катя, останьтесь, поможете... Ну что, Евдокия Степановна, скисла? На тебя это не похоже...

В зале запахло аптекой.

Кукуня и Тамара отправились на кухню. Тамара рассеянно поздоровалась с братом. Павел усмехнулся в усы: сестры словно сговорились в последнее время не замечать его.

— За что же она выгнала Люсю? — неприязненно спросила Тамара у Кукуни, будто та тоже была к этому причастна.

— А кто ее знает, — ответила Кукуня. — Я ведь тут не была... Такая гордая стала, эта ей не нравится, другая не устраивает. Вот и кидается на людей...

Тамара в недоумении пожала плечами, посмотрела на Павла, пытаясь что-то понять.

— Она и Катю выгнала? — переспросила Тамара у Кукуни.

— Я дома была, — пояснила Кукуня. — А они одна за одной с крыльца вылетают!.. Как уж тут она с ними разговаривала — не могу сказать, врать не буду.

Павел стоял, поглаживая усы и глядя в пол. Кукуня присела на краешек табуретки, хитро поглядывая на обоих.

Тамара, думая о чем-то своем, села на диван. Все трое замолчали, прислушиваясь к доносившемуся из-за двери басу Игоря Михеевича.

Наконец Игорь Михеевич вышел на кухню. За ним выскользнула Катя, плотно прикрыв за собой дверь. Все встали, вопросительно глядя на врача.

— Ну что, как она? — вышла вперед Тамара.

Как и всякий врач, Игорь Михеевич смотрел на собравшихся отстраненно и деловито. Ни к кому конкретно не обращаясь, сказал:

— Ничего особенного. Был обморок. Сердце у нее здоровое... Слабость, усталость, нервное истощение... Она плохо питалась в последнее время. Переживала из-за Василия Васильевича... Надо бы ей отдохнуть от всего. Лекарства я выписал. Кое-что у нас есть. В Рязани можно купить...

Катя показала листочки рецептов. Тамара, твердо протянув руку, забрала их.

— Да, да, я куплю в Рязани. — Улыбнувшись, предложила: — Чаю хотите?

— Нет, спасибо. — Игорь Михеевич заговорил как бы про себя: — Удивительное дело! Уж сколько работаю здесь, лет двадцать, кажется. Знаю, кто чем может заболеть и отчего. Но вот в последние годы начались болезни — я только руками разводил: ноги не ходят, руки не поднимаются, сердце «останавливается», в глазах темнеет, радикулиты... И в основном все у женщин, где-то с осени до начала весны. В марте — как отрезает, опять никто не жалуется. Наконец сообразил — все от огурцов! Намаются с ними за лето в огородах, по рынкам, электричкам, по автобусам, перенервничают, а уж когда развяжутся — тут и начинается. И руки болят, и сердце, и глаза не видят. Я уж и пугаю их, и стыжу — ничего не помогает...

— Да, да, — вежливо закивала Тамара. — Помешались женщины на огурцах. Ну, молодые-то ладно — им деньги нужны, а старые-то чего спохватились? На что они им?

Игорь Михеевич, уже держась за ручку двери и приготовившись пригнуться, кивнул на дверь передней:

— Вот и у нее переутомление. А тут еще Василий Васильевич... Это ее и доконало. Ей бы сейчас уехать куда-нибудь, в дом отдыха, что ли, подальше от всех забот. Питание получше. Недельки три-четыре — и все пройдет... Я еще зайду. Будьте здоровы.

Кукуня сунулась было в переднюю, но тут же на цыпочках, приседая, вышла обратно и замахала на всех руками:

— Спит! Спит! Тише!.. Ладно, я пойду. Теперь, слава богу, все хорошо.

Когда Кукуня ушла, оставшимся стало почему-то неловко. Тамара, холодно посмотрев на Катю и Павла, радушно-успокаивающим тоном сказала:

— Ну, ладно. Вы тоже идите. Я теперь справлюсь. Уберусь, достираю.

Катя вопросительно посмотрела на Павла, но тот первый потянулся к полушубку на вешалке.

Машина Андрея Кирилловича у дома Годунов уже не стояла. Годун, в темном пальто и негнущихся валенках, встретил Павла и Катю в палисаднике, вглядываясь в их лица. Когда дочь с зятем и Кукуня убежали к Евдокии, Годун несколько раз хватался за пиджак, порывался тоже пойти, но что-то останавливало его.

— Ну что там с ней? — Годун переводил взгляд с Павла на дочь.

Выслушав, он вздохнул, глядя куда-то в пространство слезившимися глазами:

— Да, Евдокия, Евдокия... Уж очень серьезно она живет, истово. Ну что ж, заходите. Продолжим наш разговор, Павел Васильевич.

Но говорить с Годуном Павлу больше не хотелось, и без того уже

много переговорили. Годун понятен, понятно было и все, что он может сказать.

«Пойду-ка я к ребятам в мастерские!..»

Катя заворчала ему вслед, чтоб он не задерживался, Годун молча проводил глазами плечистую рослую фигуру зятя в полушубке и валенках.

Вечерело. Сквозь редкие облака проглядывало солнце, клонившееся к закату, снег искрился, протянулись синие тени.

А ведь зима! Но отпуска, кажется, не выйдет. И на зайцев не сходишь, и с удочкой на льду Оки не посидишь. Может, все-таки отойти в сторону и держаться прежнего, где все более-менее установилось, упорядочилось: квартира, семья, работа со звеном?.. Но что-то в его душе уже поворачивалось. Павел незаметно для себя примеривался уже к новой работе, и просто остаться в прежнем состоянии теперь нельзя, надо шагнуть назад, и положение такое было Павлу досадно, а шагать назад — стыдно, позорно.

Хотелось побыть одному. Чего он, собственно, идет в мастерские? Посоветоваться? С кем? Не с Зотовым же! И не с Кирьянычем. Не с Любой. С Юркой-Кукушонком? Он, конечно же, будет «за» двумя руками: друг станет начальником.

Матери сейчас не до него, не до его сомнений. Жаль. Рядом с матерью, при ее житейской твердости, и ему бы легче было определиться. Сестры? Они словно бы исключили его из своего круга. И отец вряд ли смог бы чем-то помочь, будь он жив. Нет, ничьи советы слушать теперь нечего.

Речь ведь не о выгодах, не о новых резонах, которые ему кто-то мог еще открыть, не о том, что он не понимает, какое сейчас время. Нужна твердость в душе, силы, уверенность. Есть ли они? Хватит ли их? Не опозоришься ли, не насмешишь людей? Разговор Андрея Кирилловича и Годуна, весь его смысл и тон показали Павлу неспокойную высоту их дел, мыслей, состояний души, на которой отныне придется жить и ему. И не просто жить, а управлять, определять, действовать. Способен ли он на это? Вот что надо в себе почувствовать, а кроме самого себя кто это знает?..

Павел с озабоченным видом шел по краю широкой дороги среди села, расчищенной бульдозером от снега. Без деловой озабоченности на лице нельзя, иначе кто-нибудь может насмешливо спросить: «Что, Паша, гуляешь? А чего же без жены?». Не будешь же объяснять каждому, что, мол, думаю вот, быть мне управляющим или отказаться.

— Я прошу прощения, — услышал вдруг Павел.

Подняв голову, увидел: с другой стороны дороги к нему шел агроном Костя в своей синей куртке с полосками. Павел еще плохо знал его, даже фамилию не помнил. Жил Костя где-то в их трехэтажных домах. Лицо у него продолговатое, правильное, весь он собранный, сдержанный, независимый, трудно приживался в стихии Крутиц.

— Я знаю, вам Андрей Кириллович предложил быть управляющим, — Костя волновался, часто моргал глазами, но говорил четко, правильными предложениями. — Он и мне сегодня утром предлагал, но я решительно отказался. Я здесь человек новый, приезжий, плохо еще знаю местные условия, это во-первых, а во-вторых, у меня нет практики. А вам надо соглашаться. Это вам вполне по силам, у вас крепкий характер. Иначе — кто? Кирьяныч? Значит, опять болтовня и вообще... — Костя скривился и махнул рукой. — Вы меня извините, что я вам все это говорю. Я спрашивал Андрея Кирилловича, он сказал, что вы колеблетесь. Соглашайтесь! Веселей будет... Попробуем что-то сделать. Извините, что вмешиваюсь. Хотелось вам это сказать.

Костя как-то смешно поклонился и пошел по улице собранной четкой походкой. Павел долго смотрел ему вслед.

«Значит, Андрей Кириллович не одному мне предлагал... Ну в об-

щем-то что же. Свет клином на мне сошелся, что ли... А этот парень сидит, помалкивает, но, оказывается, все видит».

Павел свернул в переулок и с таким же озабоченным видом вышел на крутой берег Оки, где у самого обрыва рядом с кустом акации стояла покрытая свежим снегом скамеечка. Он счистил снег, сел и стал смотреть на белую, освещенную заходящим солнцем бескрайнюю пойму в темных пятнах кустарника, на лиловую Оку под берегом.

Крутые повороты и события происходили в его жизни за последние годы: женился на Кате, родился Димка, ушел с Катей из родного дома, выбрали звеньевым, умер отец... Теперь вот открывался новый поворот. Не успеешь привыкнуть к одному, как тут же — другие события, и никуда от них не денешься, не спрячешься, надо с ними разбираться, решать справедливо, укладывать в душе.

Евдокия не спала, просто лежала с закрытыми глазами. Болело ушибленное плечо, про которое она не сказала Игорю Михеевичу, потому что рука двигалась, а пространно жаловаться на болезни Евдокия не любила.

На кухне звучали голоса, затем все стихло.

Вскоре осторожно открылась дверь передней. Тамара, стараясь не стучать каблуками сапожек, подошла к кровати и спросила шепотом:

— Мам, ты спишь?

Евдокия открыла глаза, улыбнулась, задвигалась:

— Нет, нет. Сядь, посиди...

— Ты хоть ела чего-нибудь сегодня?.. Там щи стоят свежие — налить?.. Не хочешь? Тогда сейчас чаю попьем.

Подняв подушку повыше и усадив Евдокию в кровати, Тамара поила ее чаем, угощала колбасой, сыром.

Все дети, уже и повзрослев, побаивались Евдокии, ее всегда серьезных глаз, строгого голоса. Но сейчас Тамара утверждала иной тон в их отношениях, словно бы мать стала отныне беспомощной, глуповатой старухой.

— Все, мама, теперь уж ты отбегалась, отработалась. Хватит. Поживи-ка в покое, понянчи внуков. Как уж ты решишь, я не знаю, а жить тебе одной невозможно. Паша с Катькой тебя бросили, жить тебе с ними нельзя. И одной — тоже нельзя, за тобой смотреть надо. Так что давай-ка переезжай отсюда. Люся мне говорила, она тебя позовет к себе. Квартира у нее большая, трехкомнатная — места хватит...

— А дом как же? Пестраня? — спросила Евдокия, не поднимая на Тамару глаз от чашки с чаем.

— Пестраню, конечно, надо продать. Ну а поросенок, утки, куры какой тут разговор? На мясо. Сиротку в совхоз надо сдать, чтоб разговоров не было, а не возьмут — цыганам можно продать или татарам в Касимове. Дом тоже можно продать, а можно и оставить. Летом будем приезжать как на дачу...

Тамара говорила уверенно, видно, что все это хорошо продумала.

— А сюда не переедете?.. Ты или Люся? Сейчас в деревне чего не жить...

Тамара даже засмеялась:

— Ну ты, мама, совсем чудная!.. А работать где? На ферме дояркой?.. Да у меня коровий рев в печенках сидит! Сколько я их передоила за тебя, когда подружки на речке купались. Или зимой солому вязанками таскала, коровы голодные, орут, тянутся. Сырость, холод, навоз по колено, матерщина... Нет уж.

Евдокия долго молчала. Тамара ждала, понимая, что сейчас все должно решиться.

Как бы про себя, в раздумье, Евдокия сказала:

— С Люськой мы как-то не ладим. Какая-то она... Ну ее.

Тамара поняла, смутилась:

— Мама, я бы тебя сразу к себе позвала... Но вы же с Романом разругались... И тесновато у нас, ты же сама говорила, — Тамара отводила глаза, но усилием воли взяла себя в руки и прямо посмотрела на мать. — Но в общем-то — разве я против? Поживешь у Люси и к нам приедешь. Помиритесь с Романом, он сгоряча наговорил тебе... А так — он человек простой, ты же его знаешь. Где понравится, там и будешь жить.

— Это что же, совсем к вам переехать? — словно сейчас только уяснив предложение Тамары, переспросила Евдокия.

— Можно совсем, а можно только на зиму. Летом опять приедешь, будешь потихоньку в огороде возиться. Сейчас много старух... много деревенских женщин так живут, — ответила Тамара.

«Все у них решено, все обдумано...»

— Ладно. Поживем — увидим, — вдруг твердым голосом, которого Тамара и до сих пор побаивалась, сказала Евдокия.

Она отдала Тамаре чашку, улеглась на подушку и, отвернувшись, закрыла глаза.

— Поспи, поспи, — Тамара, стараясь не стучать каблуками, вышла из передней.

Евдокия вспомнила: надо бы сказать, чтоб сыпнула курам зерна и выпустила из стойла во двор Сиротку, да и уткам, кажется, ничего не дала, не успела, хлопнулась о землю. Но дверь уже закрылась, а звать дочь Евдокия не стала. Ладно. Тамара догадается — она баба толковая. Это Люся росла нелюдимой, рохлей из-за своей кривой руки.

На кухне загудела стиральная машина, заплескалась вода.

Затем все стихло. Тамара закрыла крыльцо на задвижку и двором куда-то ушла.

И опять Евдокия осталась одна в доме.

Какой-то тяжелый ком, черный и жгучий, лежал в груди, давил и отнимал силы. Сон не шел.

Евдокия оглядела просторную залу. Стол, кровати, диван, у стен рядком стулья, нарядные ковры на оклеенных обоями стенах, телевизор, холодно отблескивал крашеный пол, который они с Катей не успели снова застелить домоткаными половиками. На окнах яркие, плотные японские шторы, которые Евдокия теперь боялась задергивать на ночь, а пользовалась короткими занавесками, чтоб проходил свет уличной лампы и виделись дома соседей.

Давно, может, с тех пор, как мать рассказала, что хотела избавиться от нее, мечтала Дуня о своем доме, большом, светлом, где можно было бы чувствовать себя защищенной от всех страхов, где можно распрямиться, наконец, во весь рост. Чуть не всю жизнь упорно шла она к этой своей мечте, сколько унижений, сколько труда, потерь вынесла! И вот — в доме некому жить.

Положить на все это столько сил, нервов, времени и вдруг кому-то продать. По этому полу будут ходить чужие люди, в этих стенах потечет чья-то чужая жизнь.

Со стен, оклеенных светлыми обоями, поверх многочисленных фотографий в рамках, смотрели на нее с увеличенных, овальных на белом фоне, картонных портретов Коля и Паша. Коля, Коля... «Я ли виновата, что ты смотришь сейчас только с портрета, или уж судьба твоя такая?..» А Павел здесь, ходит по улице, — мимо дома, как чужой стал. Да и Тамара с Люсей — разве не такие же?

Вот и они с Василием на увеличенной фотографии, молодые, еще немного стеснявшиеся друг друга. Василий в своей гимнастерке, а она в однотонном, кажется, зеленом платье, с наброшенным на плечи платком, который Василий обменял для нее тогда на бутылку. Снимал их бродячий фотограф около церкви, на фоне ее белой стены. Посадил на раздобытую где-то скамейку, заставил склонить головы друг к

другу. Вокруг стояло много баб, ребятишек, которые тоже хотели сфотографироваться, фотограф брал не только деньги, но и куриные яйца, яблоки, табак-самосад.

Было это вскоре после свадьбы, которую сыграли в родительском доме. Избушка на берегу для свадьбы была тесна.

Съездить к Василию на родину Дуня предложила сама. Некоторое время после свадьбы Василий еще держался взятой на себя в первую встречу там, на станции, роли боевого, уверенного в себе парня, который сам нашел свою судьбу, счастье и смог так решительно повернуть свою жизнь. Но вскоре натура взяла свое: он стал обычным, тихим, спокойным мужичком и во всех житейских делах положился на нее. Особой откровенностью Василий никогда ее не баловал. Вот и поди угадай, что с ним: о чем он думает, о чем тоскует, чего он хочет?.. Иногда Дуня опасалась: вот сядет он тайком на поезд — и поминай как звали, опозорит на все село.

Дуня думала, что Василий заскучал после письма, полученного из деревни, в котором мать писала ему, что на свадьбу не может приехать, очень уж далеко, таких денег на дорогу у нее нет. Жалела, что сын не приехал домой, сдержанно порадовалась его женитьбе. Сообщала, что вещи его товарищ принес. В конце письма не очень настойчиво звала их в гости.

Ездили ранней осенью, когда убрали картошку. Дуня все смотрела из вагона, надеясь увидеть благодатные края, другую, веселую жизнь. Но за окном плыли печальные деревеньки, хмурые, озабоченные города — тянулась истощенная войной Россия.

Дорога в душном вагоне показалась немыслимо долгой. А потом на попутной машине и на подводе заехали в такую лесную глушь, что одна лишь сырая разбитая дорога напугала Дуню и нагнала тоску о Крутицах. Там бойко стучат поезда, на Оке, под окнами их избушки, гудят пароходы — жизнь кипит по сравнению с этой глухоманью, есть где развернуться. А тут?

Село оказалось немаленьким, но располагавшийся в нем леспромхоз недавно перевели в другое место, и село стало пустеть. С какой завистью смотрела Дуня на брошенные просторные дома из могучих бревен. Такой бы дом да в Крутицы — ничего бы больше не надо. Просторной была и изба Василия. Одна из сестер вышла замуж, вторая собиралась ехать на работу в город, а брат поступил в ФЗУ. Мать оставалась одна, но она и не пыталась звать их с Василием к себе — работать в селе было негде. Улучив минуту, она вполголоса сказала Дуне: «Он у меня парень смирный, ты его, девка, не обижай...»

Хоть и проездили деньги, назанимали, все же Дуня успокоилась — к себе Василий от нее не убежит.

Зато какой темной, убогой показалась своя избушка после просторных лесных домов. Одно лишь хорошо — глянешь в окошко, а там плывут по Оке белые пароходы, баржи и далеко-далеко раскинулась широкая пойма со стадами коров и табунами лошадей летом и бесконечными снегами зимой.

После этой поездки Василий тосковать перестал, будто что-то окончательно решил про себя. Больше стал заниматься своим хозяйством, однако не настолько, чтоб задумать новый дом или предложить смелые планы переустройства их жизни...

Председатель сразу предложил Василию бригадирскую должность, но он и года в ней не пробыл. Выяснилось, что глубоко вникать в запущенные за войну колхозные дела, организовывать баб, заставлять их работать, хитрить и орать, как это требовалось от колхозного бригадира, Василий не мог. Он охотно тянул лямку сам и готов был делать все, что скажут. В таком качестве он и прижился. Любил лошадей и первое время состоял конюхом. Но в колхозе редко кто работал тогда на одной должности, может, только один бухгалтер. А

остальные... Хоть бы и сама Евдокия. Она сразу и доярка, и скотник, и телятница, и грузчик, и возчик, и косец... А уж мужики-то тем более. Так и Вася Корешков. Смотришь, он с другими мужиками-плотниками строит новый двор, косит, возит на лошади сено, навоз или удобрения со станции, работает скотником, молотит хлеб на току, пасет коров, да чего только не делал!..

Одежду Василий любил темную, немаркую, самую дешевую. Наденет зимой темно-серую телогрейку, такого же цвета ватные штаны, валенки, взгляд из-под шапки спокойный, усталый — мужик мужиком, а ведь и тридцати-то еще не было... Выпив, Василий немного ершился, даже и по столу стучал кулаком: «Кто в доме хозяин?». Допоздна все пытался петь песни, по строчке, по куплету. Кажется, только в таком состоянии он замечал, ласкал детей, а обычно был к ним хоть и добр, но равнодушен, ну есть они и есть. Василий и сам как ребенок. Вдруг ночью закричит что-то, задыхаясь, испуганный, что-то отталкивает руками и жмется, забивается ей под мышку, и Евдокия успокаивала его, как маленького. Она уже не удивлялась этому, после того как увидела у Василия на боку зажившую рану — страшный шрам, будто проложена глубокая кривая борозда. Чуть работа потяжелей — и лицо у него сразу побледнеет, щеки западут.

Родилась Тамара, а за ней Люся, там и Коля. Тут и началась жизнь, в которой Евдокия закрутилась белкой в колесе. И в колхозе надо работать, и в своем огороде, и на станцию сбегать, продать. Вот и за Люсей недосмотрела, жизнь ей испортила.

Домà в Крутицах продавались: кто уезжал, кто умирал. Но на какие шиши их покупать? Колхоз бедный, с трудом приходил в себя после военных бед. Выручала лишь «тещина станция». И Дуня стала потихоньку копить. На станцию можно было нести все: картошку, огурцы, лук; можно было и блинов испечь, и рыбы нажарить, потихоньку наловленной в Оке сетью,— всё шло, всё покупали, а взамен клали в ладонь Евдокии гривенники, а то и рубли... И еще одной волной эшелонов окатило «тещину станцию», взбудоражило Крутицы, поманило за собой: опять из распахнутых дверей теплушек смотрели молодые, веселые лица, а над ними полыхали красные лозунги: «Даешь целину!» Потянуло было и Дуню туда, с этой молодой силой, но уже держали дети, да и после поездки в Сибирь она лучше представляла, что за жизнь, что за люди и города в той стороне, хоть и не рассталась с чувством, что есть где-то более благословенные края, чем их Крутицы.

Годун, ставший директором школы, предлагал Василию пойти физруком — зарплата, живые деньги... Нет, Василий не пошел, отказался. Учитель должен быть человек открытый, язык у него — хорошо подвешен, а Василий — молчаливый, замкнутый. Не орел... А вот когда Евдокия сама попросилась в школу уборщицей, там как раз место освободилось, Годун ее не взял, сказал, что уже пообещал другой. Запомнил, как она вслух, при всех упрекала его за «бабий язык».

Евдокия вдруг невольно улыбнулась: что ж все горести да горести. Ведь было, и вправду говорила Кукуня, — пели. И она, Дуня, пела: а ей-то что не запеть, у нее муж есть, что бы там ни говорили про нее, своя семья, ведь многих баб судьба тогда этим обделила.

Все же купили они дом. Уже и Коля родился и подрос, и Паша. В избушке было совсем тесно. Дети учились в школе, понемногу помогали — и по дому, и на станцию ходили. А тут, слава богу, налоги сняли и перестали изматывать займами.

Дом купили у брата, свой же родной дом, в котором Евдокия родилась и выросла, где ее, крохотную, выносила мать во двор на мороз... Мать к этому времени умерла, младшие брат и сестра уехали в Рязань, а расторопный брат, оставшийся владельцем дома, переезжал во Владимир, где устроился на завод.

Сам дом оказался уже стар, нижние венцы подгнили, но учас-

ток — хорош. Перед домом, сбоку и сразу за двором росли яблони, вишни, сливы, вдоль тына — крыжовник, малина. Земля черная, мягкая, хорошо удобренная. Рядом с домом, в переулке, начиналась глубокая ложбина, широким оврагом выходившая к Оке. Ложбину они позже вместе с соседями перегородили земляной насыпью, и рядом с домом оказался пруд: и стирать, и огород поливать. Сараи, хлева, амбары стояли сплошь, почти под одной крышей, образуя прямоугольник просторного двора. Нет, с домом ей повезло, хотя брат не постеснялся, взял цену как с чужих. Точнее — не с домом, а с участком. Сколько яблок, картошки, малины, вишни перетаскала Евдокия на станцию!.. Зато и деньги стали водиться.

Когда Тамара захотела поступить в техникум в Рязани, Евдокия решила, а Василий согласился — пусть учится, девка головастая, ну а они ей кое-какими деньжонками помогут. Чего ей тут под коровами сидеть!

А там и в колхозе стали зарплату платить, и у них, доярок, пожалуй, побольше всех выходило. Вся страна тогда оживала, ждала отрадных перемен. В космос стартовал Юрий Гагарин...

С домом что-то надо было делать. Хоть он и попросторней избушки на берегу и почище, но отслужил свое: покосился, зимой в доме стоял холод, никак не натопишь, мерзла в подполе картошка, текла крыша. Подстегнул Евдокию и Годун: расстроил дружбу своего Максима с Тамарой, сказал так, чтоб это и до нее донеслось: «Нищета!..» Сам-то он построил уже кирпичный дом, читал там умные книжки.

Евдокия и разозлилась, решила в долги влезть, из последних сил напрячься, а построить тоже просторный кирпичный дом, еще и побольше, чем у Годуна. Старый, деревянный оставить как кухню, а к нему пристроить сбоку вот эту просторную «залу». Кое-кто в селе уже строил кирпичные дома, и они выглядели сытыми, чистенькими, богатыми.

Как-то поехала Евдокия в Рязань навестить Тамару, отвезти ей гостинцы. Зашла на рынок. Такие же самые соленые огурцы, варенье, картошка, моченые яблоки и капуста стоили здесь не в пример дороже, чем у них на станции. А чего тут ехать-то — полтора часа, поезда останавливаются часто... Уложила продукты в двуручную корзину — и в дорогу. Получилось очень хорошо: продала и быстро, и «сердито». С той поры Евдокия и набила тропу на рязанский рынок: вовсю занялась огурцами. Позже и в Москву смело ехала, не боялась — дело того стоило, деньги шли добрые.

А раз зашевелились хорошие деньги, уже легче было доставать и кирпич, и лес, и шифер. И опять все сама: найди, купи, договорись о перевозке. На Василия можно было рассчитывать лишь как на рабочего.

Но — думы-то были за горами, а беда за плечами.

Точно Евдокия не знала, но с давних пор считала, что вон та потолочная балка у двери, всегда казавшаяся ей тяжелой и мрачной, вытесана из бревна, от которого погиб Коля.

Сначала все шло неплохо. Выложили стены. Удалось выписать лес. Стояла весна, начал таять снег, и Евдокия заторопилась перевезти лес из Мещеры, пока не разлилась Ока да не началась посевная, кое-как выпросила у Годуна гусеничный трактор, договорилась с трактористом. Поехали втроем: Василий, сама Евдокия и Коля, нанимать грузчиков Евдокия поскупилась. Казалось, что там трудного — закатить бревна на низкие тракторные сани, сваренные из толстого железного листа. Тракторист обещал помочь.

Коля и раньше помогал: и кирпич разгружал, и раствор каменщикам подносил, все, что скажешь, делал без отговорок, даже коров доить ходил за нее. Коля в отца. Вот Паша — это ее сынок, он и расплачется бывало, и обнимет ее, и пожалуется, и рассмешит всех. А Коля — сам по себе. Мальчик добрый, старательный, а о чем дума-

ет, что на душе, не скажет — замкнутый, глаза грустные. Учился хорошо, учителя на него не жаловались. Даже стихи писал, после нашли у него целую тетрадку.

Вглядываясь в него, так и оставшегося навсегда пятнадцатилетним, Евдокия думала, что, наверное, Коля уже тогда сердцем чувствовал, какая судьба его ждет.

Бревна оказались сырые, тяжелые, лежавшие штабелем в глубоком, затвердевшем, ноздреватом снегу среди леса. А злополучное толстое бревно, одно из трех, назначенных на потолочные балки, вмерзло в оледенелый снег внизу штабеля, его пришлось вырубать ломом и закатывать на верх нагруженных саней... Это бревно и доконало Колю. По дороге оно, огромное, неуклюжее, свинцово-тяжелое, несколько раз сползало с саней, мощно качавшихся на выбоинах лесной дороги. Пока кричали трактористу и тот останавливался, бревно оказывалось далеко позади. И ничего не оставалось, как, обвязав веревкой, подтаскивать его волоком и снова взгромождать на сани. И Василий, и тракторист ругались, предлагали бросить бревно к чертовой матери, но Евдокия с криком набрасывалась на всех, даже на ни в чем не повинного, измученного, молчаливого Колю и заставляла из последних сил, надрываясь, задыхаясь, со стоном взгромождать проклятое бревно на сани. Ей бы опомниться, оглянуться, каково мальчику вздымать эту сырую свинцовую тяжесть?..

Ночью Коля плакал, весь горел, кричал что-то бессмысленное, грубое, его рвало. А к утру, когда Евдокия немного задремала, Коля умер. Все произошло так скоро и просто, что она никак не могла этому поверить. Вот уже и похороны, и поминки, а Евдокия ходила с каменным, сухим лицом... Через неделю Евдокия, перебирая как-то вечером одежду в шкафу, наткнулась на старенькую рубашку Коли, рукава которой заскорузли от сосновой смолы. Ноги ее вдруг подкосились, она упала на колени и, уткнув лицо в рубашку, зарыдала, закричала дико, страшно. Перепугавшийся Паша бросил учебник и кинулся за отцом, который что-то строгал во дворе. Василий Васильевич прикрикнул было на Евдокию, но, поняв, что она его даже не слышит, стал почему-то отнимать рубашку, которую она упрямо держала мертвой хваткой, затем послал Пашу за Кукуней. Набежали бабы, стали Евдокию чем-то отпаивать... А на другой день — то же самое. Тогда Василий Васильевич тайком собрал немудреные Колины вещички, связал в узелок и спрятал на чердаке.

Дом стоял недостроенный — одни стены. Но жизнь продолжалась. Одна за другой вышли замуж Тамара в Рязани и Люся в райцентре. Приехали зятья, расшевелили и общими силами пристройку закончили. Вот она какая, «зала», — только свадьбы играть.

Кухню перестраивали на кирпичную и делали водяное отопление, когда Павел отслужил и вернулся из армии, а Евдокия вышла на пенсию и вовсю занялась только своим хозяйством, огурцами. Раньше думала, выйдешь на пенсию, и все, жизнь уже и прошла. Оказалось, нет, пошло самое интересное.

Тамара шла по селу с деловым, озабоченным видом, кокетливо помахивая на отлете кулачком в перчатке и здороваясь с редкими прохожими. Она знала, что из окон домов ее провожают взглядами и гадают, кто бы это мог быть.

— Да чья же это баба?

— Приезжая какая-нибудь.

— Нет, это к Евдокии Корешковой дочь с Рязани приехала, Тамарка.

— Какая барыня стала!..

Ну и еще что-нибудь скажут покрепче в ее адрес и по поводу ее приезда к матери. Да, в деревне ни от кого не спрячешься.

Проходя мимо почты, Тамара подумала было: «А может, отсюда?..» Нет, не стоит. Начальник почты, она же и кассир сберкассы, приходилась матери троюродной сестрой, и, конечно, все сразу поймет, раззвонит по всей деревне.

Магазин «Продтовары» стоял недалеко от старой церкви, купол которой светился дырами, а на стенах вверху торчали кустики. Сбоку магазина высилась скучная гора пустых ящиков, припорошенная снегом. Дверь подалась с трудом; зазвенела, натягиваясь, пружина.

У прилавка стояли и судачили три женщины, на прилавок склонилась продавщица в теплой шали и белом халате поверх телогрейки — подруга Тамары, с которой они когда-то вместе учились в школе. Пахло хлебом и дымом от топившейся печки.

После шумной встречи и расспросов о жизни, о матери, подруга кивнула на дверь за прилавком.

— Проходи, проходи. Звони.

Когда дверь за Тамарой закрылась, продавщица вполголоса задумчиво сказала, не глядя на баб:

— На уроках, помню, всегда руку тянула. Вытянулась... Это мы, дуры, тут застряли, — последние слова она, впрочем, произнесла без досады, с некоторым даже самодовольством.

В тесной комнате, заставленной ящиками, мешками, коробками, пахло селедкой и подсолнечным маслом. На небольшом столе, рядом с чайником и стаканами приткнулся телефон.

Оглянувшись на тонкую дверь, Тамара подумала, что в магазине, пожалуй, будет слышно.

В трубке послышался унылый голос Люси:

— Я слушаю.

Тамара сказала фразу подлиннее со значительным нажимом, чтобы Люся узнала ее по голосу и смекнула, что к чему.

— Привет. Я звоню тебе из Крутиц, из магазина, мне тут долго нельзя с тобой разговаривать.

— Ой, Тома! — обрадовалась Люся. — Ты откуда звонишь?

«Ну, чучело! Рохля!» — ругнулась про себя Тамара и еще раз медленно повторила:

— Из Крутиц звоню, из магазина. Ты чего же дома сидишь? Мы с тобой как договаривались?

— Тамара, она меня выгнала, — заплакала Люся. — Ни с того ни с сего. Я приехала, целую сумку продуктов ей привезла: и селедки достала, и колбасу полтавскую по три шестьдесят, конфеты дорогие купила...

— И что она тебе сказала? — перебила Тамара, слыша, как за дверью прекратился разнобой бабьих голосов.

— Уезжай, говорит, немедленно. Ни с того ни с сего. Она, Тома, по-моему, уже не в своем уме. Может, к ней врача вызвать. Ведь если она стала ненормальная...

— Ты не пори ерунды! — разозлилась Тамара, но спохватилась, заговорила тише: — Слушай. Тут сейчас такое дело. Она заболела, упала и лежит в постели. Врач приходил. За ней теперь надо кому-то ухаживать. Одной ей нельзя. Поняла? — со значительным нажимом втолковывала Тамара.

— Ой, а она не умрет?

«Дура! Ничего не понимает...»

— Я говорила с ней о том же, о чем мы с тобой договаривались. Она в принципе не против. Конечно, немного сомневается. Но по-другому больше никак нельзя. Поняла?

— Ну, мы с Борисом тоже не против. Мы из той комнаты шкаф вынесем, а кровать...

— Давай прямо завтра, — перебила ее Тамара. — Возьми машину, двух-трех мужчин...

— И перевезем к нам? С вещами? — обрадовалась Люся. — А дом

как же? Корова, поросенок? Этим отдать?.. Да лучше продать!.. А лошадь куда?..

— Там видно будет. Распихаем. В крайнем случае, я возьму неделю за свой счет и все сделаю.

— Ой, Тома, — захныкала Люся. — Как же так сразу, у меня тут ничего не готово... А к каким часам?

— Ну, утром, утром. Часов в десять. Ты все поняла?

— Подожди, Тамара! А она меня опять не прогонит? Какая-то она... Я ее боюсь.

— Она сейчас другая. Ей больше деваться некуда.

— Как же так! И Бориса еще дома нет. Тебе бы с ним поговорить.

— Мне больше некогда разговаривать, тут люди ждут. До завтра.

Когда Тамара вышла из подсобки, по лицам женщин поняла, что они вслушивались в ее разговор и сейчас пытались понять его смысл.

К кровати подошел Барсик и замяукал.

«Куда же Тамарка ушла? Дала ли она чего курам?.. И поросенок чего-то визжит...»

Евдокия села на кровати. Голова закружилась, но она встала, постояла и, подволакивая ноги, двинулась на кухню выпустить кота. Здесь чисто прибрано, стиральная машина стояла на своем месте около вешалки. Белье, выстиранное и отжатое, лежало в тазу. «Надо бы развесить...»

Евдокия оделась и вышла во двор. Поросенок молчал — значит, ей показалось.

Смеркалось. Снег перестал, припорошив расчищенные ею дорожки, и мороз усиливался. Под ногами резко захрустело. Сквозь поредевшие, размытые облака голубело небо. Низко над крышей двора засветилась яркая, лучистая вечерняя звезда.

Куры в сарае дружно бросились к ней, а те немногие, что сидели уже на насесте, с шумом слетели вниз. Закрякали под сараем утки. Евдокия сыпнула курам в корытце зерна, и они дружно застучали клювами. Уткам раскрошила буханку хлеба.

«Не догадалась Тамарка... Куда же она умчалась?..»

Евдокия выпустила из стойла Сиротку. Конь, почуяв запах хлеба, мягко ткнулся ей в руки, но, ничего не обнаружив, резко вскинул голову и потопал к крыльцу. Став передними копытами на нижнюю ступеньку, Сиротка фыркал и тянулся к двери.

«Нет, не дождешься ты деда с хлебушком...»

Щелкнула выключателем и зашла в хлев, осторожно, высоко поднимая ногу над порожком. Крыса поскакала к стене, юркнула в нору. Поросенок вопросительно хрюкнул и завизжал, заныл в закутке, стуча ногами, взгромождаясь на загородку и поднимая над ней морду. Пестраня, мирно посапывая, лежала на соломе. Сверху, с сушила, свешивались сквозь жерди пряди сена. Все как обычно, как всегда. Вот только какая-то тишина на душе, ожидание чего-то...

Евдокия прошла в огород, весь покрытый снегом. Снег, казалось, порозовел от алой вечерней зари, широко раскинувшейся над Леском. На бело-розовом фоне, радуя глаз четкой частотой, темнели тычины и жерди изгороди. Замерли на снегу сороконожки, погрузив множество тонких и длинных железных ног в пушистую розовую белизну. Когда-то здесь стояло много яблонь, слив, вишен. Все «сожрали сороконожки», все пришлось вырубить, лишь по углам и кое-где у тына робко жались кусты смородины и неистребимой малины. Когда-то все Крутицы, все серые избы тонули весной в белой кипени цветущих садов. Сейчас открыто и голо стоят дома-особняки: деревья свели — мешают.

Прижалась к тыну баня, а рядом — построенная прошлой осенью тепличка: небольшой домик, сплошь покрытый блестящей полиэтиленовой пленкой, сквозь которую просвечивали желтые бревна и жерди

каркаса. Высокую керамическую трубу теплички дед закрыл в начале осени старым ведром, чтоб не лил туда дождь, а зимой не забило ее снегом. Тепличка оказалась удобной, а то всю весну ящики с огуречной рассадой стояли дома: на полу, по подоконникам. В доме от них сразу заводилась грязь, сырость, устанавливался тяжелый запах. Когда были дети, Димка и Галя, жить становилось невмоготу: и детей жалко, и рассаду, которую они бесцеремонно рвали, а то и опрокидывали ящики. Этой весной ящики с рассадой располагались в тепличке, и в доме весной впервые за долгие годы было сухо и чисто... За хлевом стоял огромный, с добрую цистерну, ржавый чан, сваренный из листов железа, летом в нем держали запас воды для полива.

Всю землю Евдокия с дедом хорошенько очистили от сорняков и мусора, зарядили навозом, вспахали с помощью Сиротки, убрав, а затем снова поставив сороконожки. Пленку сняли, вымыли и сложили в сарае. Лежат в кладовке мешочки с белыми зернышками-семенами, к каждому мешочку привязана бирочка, где написано, какой это сорт, когда заготовлено. Огород полностью готов к новой летней лихорадке. Теперь бы они с дедом отдохнули за зиму, а как закапала бы с крыши мартовская капель, дед снял бы с трубы теплички ведро и затопил печь, а она принялась бы хлопотать с семенами, закаливала бы их, замачивала. И пошла бы опять до осени круговерть, не до сна и покоя, за всем надо зорко смотреть, все предвидеть, все держать в памяти. Мелочей нет, из-за пустяка, вроде задымившей печки в теплице, майского утренника с инеем и ледком на лужах, жары или какой-нибудь вовремя не замеченной тли, все может пойти коту под хвост. За всем нужен глаз да глаз, на деда надежды не было: все держать в голове дед не мог. Куда ему без Евдокии! И в селе не у всякого получалось. Да, дед, дед... Вдруг вот так, когда за долгие годы все найдено, отлажено, когда пошла такая жизнь...

Огород. Кусочек земли-кормилицы. И силы вытянул, и душу извел заботами о себе. Но и выручал, когда жить становилось трудно, почти невмоготу. Уж как прижимало иногда, до нищеты доходило, а все же давала силы надежда: есть огород-кормилец, не должны пропасть. А сейчас вон на какую жизнь вывел!..

Да, подумала со вздохом Евдокия, теперь-то все это огуречное дело не так уж вроде бы и сложно. Когда еще лежит на огороде чуть потемневший мартовский снег, в натопленной тепличке Евдокия с дедом готовят и расставляют в неглубоких ящиках кубики, с кулак, земли-перегноя, в которые и высаживают проклюнувшиеся крошечными белыми росточками зерна. Тут в ровном тепле печки, за которой день и ночь следит дед, и подрастает рассада, а как сойдет снег и немного оттает земля, Евдокия высадит кубики с крепенькими зелеными ростками на грядки, под высокие дуги-ноги сороконожек. Вдвоем с дедом укроют их пленкой. Теперь поливай, выпалывай сорняки, не прозевай черемуховые холода — укрой второй пленкой в ночные заморозки, не свари в жару — вовремя приоткрой краешек. Май — время ненадежное, то и дело слушает Евдокия погоду по радио, к небу присматривается, к ветру, к ломоте в руках и ногах: не прозевать бы морозы. В начале июня, а иногда и в конце мая Евдокия собирает первый не мешок, а так — узел килограммов на двадцать-тридцать пахнущих зеленой свежестью хрустких сочных огурцов и везет на пустоватый в это время года рынок в Рязань. Изголодавшиеся по витаминам горожане берут их нарасхват, а ведь цена этим первым огурчикам устанавливается на рынке нешуточная. Массовый огурец пойдет в июле. А вот этот июнь и есть золотой месяц: и берут хорошо, и цена высокая. Ради того, чтоб вырастить огурцы на месяц раньше, и стоило годами ломать голову, не спать ночами.

Раньше, когда она еще девчонкой ходила по вагонам с кастрюлькой картошки и ведром огурцов, другим был этот огород: лохматый, весь в деревьях, заросший вдоль тына малиной, диковатый. Вместо

теплички стоял на четырех толстых пнях огромный замшелый ящик с черной землей, где, укрытая стеклом, досками, ветошью, подрастала рассада капусты, огурцов, помидоров. В начале мая сажали картошку, а где-то в середине, когда солнышко грело ровней и меньше грозили утренники, когда вовсю щелкали в Леске соловьи, мать с помощью любившей хозяйствовать Дуни и других дочерей готовила грядки и высаживала рассаду. Много чего надо было посадить в огороде: капусту, свеклу, помидоры, огурцы, морковь, бобы, редьку, горох, лук, чеснок, укроп, тыкву, не забыть и подсолнушков с десяток. А ведь уже росли яблони, смородина, малина, вишни, сливы. Но главное, о чем болела душа тогда, — это картошка и капуста. Будет в подполе картошка, а в бочках наквашена капуста — все, с голоду не помрешь.

И хоть к огурцам мать и Дуня относились с уважением, все-таки много места выделить им на огороде не получалось. Но ведь чем хороши огурцы? Да тем, что они родятся и родятся. Только поливай да обрывай. Так что хватало их раньше и для себя и для продажи на станции, там мешками-то не продавали, а так, ведерко-другое.

Почему раньше не развернулись они с огурцами, как теперь, подумала Евдокия, почему такой долгий оказался путь от того буйно зеленевшего огорода вот к этим прибыльным парникам? Другое было время, вязкое, ненадежное, косо смотрели на торгашей. Все таились, робели, нерасторопные были, неразворотистые, правильно говорит Кукуня, тележного скрипа боялись. Чтоб вместо картошки и прочего во весь огород посадить огурцы и продавать их на рынке — даже в голову никому не приходило. А если б и пришло. Это сейчас — электричество, насосы, шланги, пленка, совхозная зарплата или пенсия, хлеба в магазине вволю, нет страха за завтрашний день, есть время. А тогда...

Но и тогда неплохо выручали эти огурцы. По гривенничку, по рублику у поездов на станции собрала Евдокия столько, что смогла купить свой родной дом у брата с этим огородом. Уже с этого огорода отвезла она как-то два мешка огурцов на рынок в Рязань, быстро их продала и подержала в руках пачечку денег. Это было время, когда деньги поменялись, цены вдруг везде запрыгали, заскакали, да все вверх, особенно на рынке. Перевела Евдокия сумму на старые деньги — получалось очень хорошо, важно.

Та пачечка денег и заставила Евдокию серьезней задуматься об огороде, огурцах и рынке. В отличие от их станции цена огурцов на рынке была не в пример выше, но долго не держалась, шла вниз. Раньше, раньше надо привозить, тогда продашь и быстрее, и за хорошую цену. Вот и принялись Евдокия и те бабы, что тоже торговали на рынке, таясь и прячась даже друг от дружки, принялись ломать голову, как сдвинуть сроки, как вырастить побыстрей.

Пробовала Евдокия пораньше высаживать семена в тот замшелый рассадник — нет, ночные морозы добирались до ростков, губили их. Да и что там высадишь, в рассаднике — считанные кустики, а тут нужен большой запас. В рыбацкой избушке ничего бы не вышло, но в своем-то прежнем доме оказалось уже можно: Евдокия заставила деда наделать ящиков, засыпала их землей и расставила весной по всему дому. Рассада росла в тепле, ее теперь было много. Но вот с грядками на огороде Евдокия еще много лет мучилась. Ведь огурец — овощ нежный, южный, его надо растить чуть не на руках, как ребенка, не сводя с него глаз: холодно — укрой, жарко — немножко охлади, вовремя напои, накорми, прищипку сделай, опыление. Ребенок хоть плачет, если что не по нем, а огурец просто гибнет.

Год на год не приходился: случалась весна ранняя, дружная, и все шло как по маслу, но чаще, как Евдокия ни укрывала грядки тряпьем и соломой, как ни окуривала всю ночь навозным дымом, все же нежданные утренние морозы, черемуховые холода обжигали нежные ростки, и они вяли, чернели. Гибли иногда оттого, что поливали

слишком холодной водой, а где набрать прорву теплой воды, которую приходится выливать на огурцы. Евдокия подсаживала новые из стоящих в доме ящиков. Бывало, вся долгая возня, весь труд из-за одного майского мороза шел насмарку. Конечно, и в июле удавалось продать неплохо, но с золотым месяцем не сравнишь.

Помыкалась Евдокия и перестала стесняться, настойчиво выпытывала и у своих баб, и на рынке все тонкости и хитрости, ведь и ей было чем поделиться. Узнала — у иных грядки под застекленными рамами. Оборудовали они с дедом одну грядку: не просто было наделать рам, застеклить, установить, приноровиться. Зато как быстро и надежно пошли под рамами весной огурцы!.. Не раз и здесь обжигалась Евдокия. Ведь невозможно торчать в огороде все время и нянчить их, надо бежать на дойку к Оке, где паслись колхозные коровы, разгребать прорву дел по дому. Открыла рамы в жару, а пришла — листья поникли, завяли, они привыкли там к своему парному теплу. В другой раз не открыла — они сварились в душном пекле под стеклом, тоже завяли. Так и доходила умом, привыкала действовать бережно: приоткрыть, добавить водички, опылить, работать чуть не в белых перчатках... Подросли однажды огурцы, первые, ранние, драгоценные, а их Коля с Пашей и соседскими ребятами оборвали и съели. Им ведь тоже хотелось, росли, считай, на одной картошке, постоянно паслись в огороде. Было — кто-то ночью стекла в рамах побил, от зависти, что ли. Всякое было... Но чем раньше везла Евдокия огурцы на рынок, тем больше выручала. Вот и ломала голову: как, что, где, когда, земля, навоз, вода, рамы, стекло, семена. Деда шевелила. И так год за годом, год за годом.

Пробовала Евдокия и всякие семена, разные сорта. Длинные, с пупырышками: хороши, вкусны, шли на засолку и родилось их много, но в мешках, пока везешь на поезде, на такси, пупырышки терлись, огурцы делались склизкими, сочились, и покупали их плохо. Кургузенькие крепки, но не очень вкусны, быстро желтели. Большие, толстые — деревянисты на вкус, идут на рынке хуже, хоть и хороши по общему весу. А на рынке покупатели привередливы, и возразить ты им не имеешь права, быстро ставили тебя на место: «А чего ты хочешь, женщина? Это же рынок!» И выбирали, копались, пробовали, торговались, очень неохотно расставаясь с деньгами... Но все же шли и шли денежки к совхозным заработкам, так что решилась однажды Евдокия, назло Годуну, построить кирпичный дом. Не нищета уже она была, как думал Годун.

Рынок, рынок... Даже сейчас у Евдокии заболело сердце при этом слове. Нервные дорожные мытарства с тяжелыми, как кабаны, мешками, неопределенные, скользкие рыночные порядки, гул голосов, людское мельтешенье, звяканье весов, непрерывное «женщина, почем ваши огурцы?», глупость и привередливость иных раздражительных покупателей, контролеры. Одно дело — отнести ведро-другое на станцию, постоять у поездов или даже пройтись по вагонам. И совсем другое — довезти четыре-пять мешков до рынка, а там их продать. Пообтиралась Евдокия по тамбурам поездов и электричек, поворочала мешки. Дед на рынок ни ногой, и не заикайся. Поможет довезти мешки до поезда, перекидать их в тамбур, а дальше уж сама. Коля — молодец, коров за нее доил, но недолгой оказалась та помощь... Паша, позже, то поедет, то заупрямится: девок стеснялся — жених. Не раз мешок-другой у Евдокии воровали на вокзале, пока бегала искать такси, или на рынке, пока место приискивала и получала весы. Приходилось объединяться с бабами, с той же Кукуней.

На рынке не зевай, не размякай, смотри в оба. Рынок... Слухи, что запретят частную торговлю, что установят цены, выше которых продавать нельзя, что будут требовать справки от директоров и председателей колхозов. Терлись около баб тихие, с липкими взглядами личности, назойливо предлагая купить сразу все мешки, за полцены.

Ходили женщины с повязками на руках и с блокнотами, собирали какие-то взносы, квитанций не давали. Или брали у каждой из баб по десятку огурцов «на экспертизу». Хозяйки в Рязани, а позже и в Москве, крутились около первых ранних огурцов, как кошки около горячего молока: огурцы хороши, но цена не нравилась, и иногда две-три из них, поддерживая друг дружку, принимались стыдить из всех чаще всего опять-таки почему-то Евдокию. Крупный рост и не очень ласковое в отличие от той же Кукуни лицо Евдокии вызывали у покупательниц желание начать именно с ней воспитательный базарный разговор: «Мешочники! Спекулянты!..» Кукуня тонким, ехидным голоском испытанным способом охлаждала их напор на Евдокию: «Приезжайте к нам, бабы! Доярки нам нужны. И будете огурцы растить, деньги зашибать...»

Срывалась иногда и Евдокия. Закипала у нее обида, на глазах блестела влага злости: «Двадцать лет я за палочки работала, молоком вас поила!.. Вы молчали! А теперь не нравится, когда я деньги беру за свою работу? Может, опять даром отдать?..» Страшна, неприятна и убедительна была Евдокия в своем гневе, крике, в неуклюжей своей, корявой, никому не нужной здесь правде... В дорожных и рыночных мытарствах черствело сердце Евдокии, и она понемногу научилась равнодушно отворачиваться или говорить то же, что и все: «Не хочешь — не бери», когда какая-нибудь возмущенная высокой ценой рязанская или московская бабенка, покраснев, кричала ей в лицо оскорбления.

А в общем, Евдокия не скаредничала: чуть замедлялась продажа, решительно сбавляла цену, и к ней выстраивалась очередь. Торчать на рынке из-за нескольких лишних рублей не хотелось: дома ждала работа, огород, коровы. Другие ворчали, недовольные тем, что она сбивает цену, но — это дело личное.

С руганью, со слезами, с неудачами, несмотря на угрозы и штрафы Годуна, на его стыдящие торгашей статьи в районной газете, дело шло. К совхозной зарплате добавлялись каждое лето весомые денежки, рос кирпичный дом... Отлаживалось, упрощалось, становилось надежней огородное дело, помогая самому себе выручкой, впитывая в себя все, что можно, из улучшающейся, не стоящей на месте жизни. Легче стало в совхозе — построили новую ферму, появились доильные аппараты, и Евдокия меньше уставала там. В Рязань пустили электричку, и не надо было унижаться всякий раз, совать проводницам деньги за мешки в тамбуре. Провели в Крутицах водопровод, легче стало с поливом.

Помнит Евдокия, как показали ей бабы на рынке прозрачный обрывок, похожий на растянутый бычий пузырь, и рассказали, какое это чудо — пленка. Первые куски пленки тихие личности с липкими взглядами продавали им, бабам, из-под полы по немыслимой цене в сравнении с теперешней в хозяйственном магазине, — но с пленкой дела пошли легче, проще. С каждым годом все смелей требовалось вести огородное дело, не жалеть на него трудов и расходов, тогда и будешь с прибылью. Евдокия уже не тряслась над каждой копейкой, покупала насосы, шланги, пленку, удобрения на подкормку... В новом кирпичном доме можно было теперь выращивать рассаду с большим запасом на всякий случай, а пленка над грядками, да еще в два ряда, надежно защищала растения от весенних коварных морозов. Но нужен был все же глаз да глаз...

Евдокия настояла, и Василий Васильевич перешел из разнорабочих в ночные сторожа на мехдвор. То был он там на подхвате, на все руки мастер, неторопливо, но надежно делал все, что скажут, чем Годун и пользовался, а теперь целый день после ночного дежурства копался в огороде. Конечно, Годуну это и не нравилось, он и сейчас ее упрекает: «Пахала на нем!..»

И решилась однажды Евдокия рискнуть. Все рассчитала, запаслась пленкой, семенами разных сортов, вырубила яблони, вишни, сли-

вы. Картошки и капусты посадила поменьше: «купим». И почти во весь огород посадила весной огурцы. Ведь постоянно ходили слухи, что запретят, что введут налоги, что будут скупать в совхоз за бесценок, и прочие страхи и опасения, поэтому хотелось ухватить, пока еще можно... Неуклюжий был год, страшно вспомнить. Растянутую на деревянных колышках пленку срывал ветер — до проволочных дужек тогда еще не додумались. Не успеешь полить последнюю грядку, как надо поливать первую, а тут сгорел электронасос, чем-то его забило в пруду, пришлось поливать вручную, пока Евдокия достала новый. На грядках, с которых ветер срывал пленку, гибли ростки. Попер сорняк, густо пошла тля. Как ни металась Евдокия между фермой, огородом и домом, как ни гоняла деда и Пашу-школьника, все-таки половина ростков на грядках пропала — замерзли, спеклись, завяли, сожрала тля. Но со второй половины потихоньку-потихоньку, а затем волной пошли огурцы: через день шесть-восемь мешков. Вот и закрутилась Евдокия. Хорошо еще Паша не капризничал, все понимал и ездил с ней на рынок. Но что было, то было: сбегàла Евдокия с мешками, набитыми только что оборванными, вымытыми огурцами, на станцию, чтобы успеть к ночной электричке, и утром коровы оставались недоеными. Раньше Евдокия всегда договаривалась с кем-нибудь подменить ее или подоить и ее коров, а тут у всех пошли огурцы, и договориться удавалось не всегда.

Болела душа: группа была хорошая, каждую корову она знала как свою собственную, страдала там, на рынке, что мучаются коровы, орут. Послала как-то с бабами за Оку деда, ведь он свою корову доил, но бабы его засмеяли, да и не получилось у него, хоть и дело простое — подцепить доильный аппарат, слить молоко во фляги. Штрафовал Годун, стыдил, ловил у электрички, но что ему делать — не одна Евдокия сбегàла, а другие бабы в доярки не шли. Намучилась тогда Евдокия с теми мешками, натерпелась стыда, позора, но шли такие деньги, что со всем примиряли. Ведь казалось — это последний год, а там запретят... Хоть и кошмарный вышел год, но выручка получилась такой, что даже деду она не сразу назвала всю сумму. После этого дед стал слушаться ее беспрекословно, а все же не вникал в дело, посмеивался.

Позже они, бабы, разобрались сами, стали ездить не все сразу, по очереди, худо-бедно, доили всех коров и в горячий, золотой месяц, а Годун делал вид, что ничего не замечает. Ну а там Евдокия вышла на пенсию, потом появилось государственное постановление, чтоб личным хозяйствам не только не препятствовали, а и помогали. Евдокия и другие разворотистые бабы добрались до московских рынков, и невиданное дело — можно стало заказать машину в Москве, и она приезжала в Крутицы, забирала баб с мешками, привозила на богатый Черемушкинский рынок или Дорогомиловский. В Москве огурцы расходились в два счета, сколько ни привези.

Было — тряслась Евдокия над каждой копейкой, над каждым рублем, задолго рассчитывая, на что пойдут собранные деньги, что купить прежде всего. Но огородное дело, рынок и прибыли приучали жить смелей, шире, предприимчивей, Евдокия легче тратила деньги на нужные по хозяйству вещи. С того лета, когда удалось впервые ухватить невиданный кусок, появились уже как бы и лишние деньги. Конечно, надо было еще и строиться: перестроить кухню, сделать водяное отопление, подремонтировать хлева, сараи, подкупить пленку, шланги, запасные насосы, всякую хозяйственную мелочь, кое-что и в дом — новый холодильник, телевизор и прочее, но все равно оставался запас. Сначала Евдокия держала деньги дома, в шкафу, но на другой год, когда их стало еще больше, посоветовалась с дедом и положила на книжку. И словно бы какое-то приятное равновесие обозначилось и стало укрепляться в душе Евдокии после долгих лет страхов и неуверенности.

Совхозная зарплата текла и текла надежным ручьем, Евдокия дорожила этим постоянством, оно давало спокойствие и уверенность в жизни. Но неудержимо притягивало и вот это летнее денежное половодье. Хоть и растапливался тот давний страх Евдокии, как снег весной, но еще таился. Так бывает: под жарким солнцем вроде бы и снега не осталось, парит оттаявшая земля, зеленеет трава, но где-нибудь в густой тени под забором лежит еще, сочится ноздреватый грязный снег, или обнаружатся вдруг под разбросанной старой соломой налитые глыбы льда, или вдруг с ужасным гулом и скрежетом всплывет на полном воды пруду пористая, но еще крепкая льдина. Лишь стойкое тепло растопит все это без остатка... Оттого, мучаясь, стыдясь, яростно ругаясь с Годуном, с покупателями на рынке, цепко держалась Евдокия за огурцы: кто знает, как будет впереди, вдруг запретят, вдруг опять придут трудные времена. Ну а когда вышла на пенсию и появилось государственное постановление — тут уж, как говорится, и сам бог велел. Росла сумма на книжке, росла и уверенность Евдокии, таял и таял тот ее страх, росла гордость: заработала сама, своим трудом, ведь не у всех торгующих на рынке, даже и у мужчин, такие тяжелые, загрубелые руки, как у нее; заработала умом, находчивостью, распорядительностью, умением жить, понимать эту жизнь и все, что в ней происходит. Рохля таких денег не добудет.

Чаще закрутились около Евдокии дочери с мужьями, на которых Евдокия посматривала с чувством превосходства: хоть и молодые они, образованные, городские, а куда им до нее. Их повышенное, назойливое внимание к ним с дедом раздражало Евдокию, и не денег было жалко, деньги не застилали ей глаза, хотелось, чтоб дочери, зятья не в чужой карман заглядывали, а перенимали ее трудолюбие, разворотистость, были такими же удачливыми в деле. Когда пришел из армии Паша, Евдокия рассчитывала, что он будет хорошим помощником, женится и станет жить рядом, слушаться ее, делать, что она скажет. И еще как заживут они. Ну а слишком далеко вперед Евдокия не заглядывала: там видно будет.

Росла сумма на книжке, тверже и снисходительней поглядывала теперь Евдокия на людей: и здесь, в селе, и там, в Рязани, в Москве. Теперь уж смешным казалось смущение перед Василием Васильевичем за ту нищую жизнь в избушке, где и электричество-то появилось не сразу. Конечно, когда ушли жить на квартиру Павел с Катей, стало заметно тяжелей, хоть сначала Евдокия и подумала: «Баба с возу — кобыле легче...» Может, и нужно было бы поберечь деда, сажать поменьше. Но ведь дед не жаловался на здоровье. Три года назад он тоже вышел на пенсию. И сама Евдокия чувствовала себя неплохо. Казалось, еще можно потрудиться, все равно делать теперь нечего, а без дела еще хуже, от тоски заболеешь. Годун теперь не мог преследовать. Ну и что греха таить — аппетит приходит во время еды: притягивали невиданные раньше деньги, которые теперь, при налаженном деле, стали каждый год уверенно получать с огорода. Думалось, когда сил не будет, тогда уж...

«Миллиона» Евдокия еще не скопила, но заманчиво было. Не так много до него и оставалось: четыре-пять годков, четыре-пять золотых месяцев. Видели бы ее отец с матерью! От таких денег, какие собрала не любимая ими дочь, у них бы глаза на лоб полезли. Миллион в старых деньгах завораживал Евдокию, ей казалось, что она достигнет какой-то немыслимой вершины, когда можно и приостановиться, когда от жизни ничего уже и не надо будет, сполна рассчитается она тогда с леденящим страхом, так долго и мощно державшим ее всю жизнь, растопит его, посмеется над ним. Посмеется над Годуном. И вдруг вот так подвел ее дед... «Господи, неужли это все-таки из-за меня?..»

Вроде бы это последнее лето ничем особенным не выделялось. Год был как год, лето как лето, работа как работа... Трудным был

май, почти весь месяц стояла сушь, не выпало и капли дождя. Тут они с дедом понервничали. Грядки требовали воды, а в кране водопровода едва сочилось, пруд же быстро иссяк, вода оставалась мутная, загаженная гусями и утками, густая, как кисель, грязь быстро забивала насос. Поливали ночью, в темноте, когда напор в водопроводе немного усиливался. Почему-то ночами крепчал ветер, в темноте резко шуршал белой пленкой, пугал, все казалось, будто кто-то невидимый и недобрый жутко носился по огороду. Скользила под ногами грязь, черные шланги змеями уходили в темноту. Евдокия с дедом вымазывались в жирной, хорошо унавоженной земле и уставали смертельно, до дрожи ног и рук...

И все-таки огурцы росли плохо. Дни шли за днями, сколько воды вылили они ночами на длинные грядки, добавляли минеральной подкормки, а ростки сидели и сидели, почти такие же, как были в тепличке. Чего им еще не хватало, какого рожна?.. Зато густо перли сорняки: зеленой шубой расстилалась по земле мокрица, опутывала ростки длинная пронырливая повитель, цепко держался за землю густыми корнями оржанец. Пошли жрать листья клещ, тля, внутрь сороконожек залетали воробьи, клевали завязи. Ночь Евдокия с дедом поливали, опрыскивали грядки чесночным раствором, а на рассвете, оба осунувшиеся, с серыми от бессонницы лицами, принимались полоть, а то за день на грядках бурьян вырастет, ведь днем открывать пленку надо было осторожно — сохла земля, вяли листья, привыкшие к парному дневному теплу.

Оба выматывались. Евдокии все казалось, что дед неповоротлив, медлителен, совсем плохо соображает, и она сердито кричала на него. Переживала, что слишком много грядок не дадут огурцов... На субботу и воскресенье приезжала помочь Тамара. Люся бывала с Борисом и сыном Славкой. Борис в работе был вял, зато в который раз нудно и бесцеремонно выспрашивал, сколько огурцов они собирают, да почем продают, да сколько денег получают за один раз, сколько со всего огорода, и Евдокия отказывалась от их помощи, поскорее спроваживала их домой.

В начале июня жара наконец спала, пошли дожди. Пошли и огурцы. Приехал Роман, приехал Славка-пастушок, приезжал разок-другой Владик. Закрутилось обычное, более-менее налаженное летнее колесо. Вечером втроем огурцы обрывали, мыли, грузили тугие, скрипучие мешки на телегу, и Сиротка вез их на станцию. Подходила электричка. Евдокия, дед и Роман быстро, нервничая и суетясь, перебрасывали мешки с перрона в тамбур, и Евдокия с Романом ехали в Рязань. В Рязани грузили мешки на такси, в одну машину не убиралось, брали две и везли на рынок. Роман ехал к себе на квартиру спать, Евдокия же, подремав ночь у мешков вместе с Кукуней, которую ее Юрка доставлял с мешками прямо на рынок на своей машине, утром начинала торговлю.

А душа болела: как там дед, ведь и корова, и телок, и поросята, и утки с курами, и поливать надо, и открыть, закрыть пленку. Роман частенько просыпал на первую электричку и приезжал лишь после обеда. Дед колготился один, сам доил корову, но чего-то сделать не успевал или без ее глаза делал не так. Помогал ему Славка, но что взять с мальчишки. Евдокия, хоть и приезжала под вечер с пустыми мешками и оттопырившимся карманом, застегнутым для страховки несколькими булавками, в котором тугим лохматым комком лежали мятые деньги, все-таки зло отчитывала деда за неразворотливость, за очевидные упущения, а дед досадливо моргал глазами и что-то бормотал в свое оправдание... Через день — опять с мешками на электричку.

Когда рязанский рынок выдохся, торговля пошла вяло, а огурцы на огороде все шли и шли, Евдокия, сговорившись с Кукуней и другими бабами, заказала машину в Москве и стала ездить в ночь с ба-

бами на Черемушкинский рынок. Возвращалась уже не в обед, а попозже. Где уж и силы брались...

Было и этим летом разок-другой: приезжала Евдокия, а в доме Роман, откинувшись на диване, лихо бренчал на гитаре, дед плясал, его бурое, отчаянно-радостное лицо с белым от неизменной кепки лбом и редковолосое светлое темя поблескивали от пота, на столе вино, дела стояли. Твердой рукой Евдокия вывела такое.

Тамара, в сгущающихся сумерках увидев мать во дворе с лопатой в руках опять расчищающей дорожки к хлеву и сараям, опешила, даже остановилась в испуге. Но затем сердито отняла лопату:

— Ты чего это вскочила? Тебе что Игорь Михеевич сказал? Надо теперь отдыхать! А она опять за лопату. Да что я, снег, что ли, не отгребу?.. Накормим сейчас и скотину! И белье развешу. Ну-ка давай ложись в кровать, а то опять упадешь!..

Тамара увела ее в дом, но, как ни настаивала, лечь опять в постель Евдокия отказалась, а упрямо принялась хлопотать у печки, готовить на вечер и на завтра картошку скотине.

Притихший, погруженный в себя, Павел пришел домой, когда уже стемнело. Катя вышла из комнаты в прихожую и подозрительно вгляделась в него, но, увидев вместо ожидаемой виновато-блаженной ухмылки грустные глаза, тихо спросила:

— Где ходил-то?

— Так... Прогулялся.

Выскочил из комнаты Димка, затормошил было отца, но Павел лишь потрепал его по голове и сказал:

— Иди, иди. Смотри мультфильмы.

Катя почувствовала особое, упрямо-сосредоточенное состояние Павла. Поняла: его лучше не трогать. Помочь ему разобраться с собой она не могла. Приученная с детства к тому, что в семье занимались только ею, младшенькой, любимицей, что отец о своих делах дома не распространялся и ничьих советов не слушал, все решал сам, да и с Павлом у них как-то само собой разумелось, что у нее сложное душевное состояние, и опять — все внимание ей, Катя не ухватывала его душевной смуты, не пыталась вникать в нее, ожидая от него только действий, надежных и уверенных. Не могла она дать ему и конкретный совет сейчас, потому что сама не знала, что лучше для них обоих, чтоб он соглашался работать на месте отца или оставил все, как есть. Там и там видела она для себя достоинства и резоны, видела и нежелательное.

Павел прошел мимо Кати на кухню, поставил на газ чайник.

«У него уж и походка изменилась... Прямо начальник», — подумала Катя, но подшучивать не решилась.

В дверь позвонили. Открыв, Катя обрадовалась — Юрка-Кукушонок в своем коротеньком пальто и замысловатой шапке с длинным козырьком.

Юрка еще со школьных лет вносил в среду ровесников веселое оживление, ощущение относительности всех проблем, легко уменьшал трудности шуткой. Маленький, круглолицый, жилистый, весь в мать, всех рассмешит, сам над собой посмеивается, а глаза хитрые, его не проведешь.

— Здорово, принцесса. Где начальство-то? Дома? А то я забегал в обед — вас не было.

— Дома, дома. Раздевайся. Ну и шапка у тебя, как у француза!

— Ресторанская! — засмеялся Юрка. — Прошлой зимой, да где зимой, в марте уж, ездили в Рязань с Райкой, в магазин. Ну, купили что надо. Зайдем, говорю, пообедаем на вокзале в ресторане. Пообедали, все, как надо. Даю номерок в гардеробе, а мне баба приносит вот эту шапку вместо моей. А у меня так себе, кролик, по ней гусе-

ничный трактор проезжал. Говорю: «Шапка не моя». А баба вредная такая: «Ничего не знаю! На твоем номере висела, рядом никаких шапок нету. Ты меня не сбивай». А Райка толкает: «Бери, бери, дурачок. Эта лучше!..»

Павел вышел в прихожую.

— А-а, вот он! — Юрка хлопнул его по плечу. — Не зазнался еще? Ты куда пропал? Там у нас такое началось, как узнали. Ребята наши обрадовались. А Зотов с Кирьянычем пошептался, побежал к директору. Тот послал его подальше. Ну, кино!

На веселый Юркин голос выскочили из комнаты Димка с Галей.

С Юркой сразу повеселело, легче задышалось.

Собрали маленькое застолье. Юрка с потешными деталями под общий смех рассказывал о сегодняшнем дне в отделении, и странно, улетучились все трудности, которые тяжеловесно перебирал в уме Павел, само собой теперь разумелось, что он будет работать управляющим.

Встала Евдокия рано. Осторожно, чтобы не разбудить Тамару, спавшую на раздвинутом диване, вышла во двор.

Ударил нешуточный мороз. Горло перехватывало стужей, изо рта шел пар, под ногами щелкали доски настывшего крыльца. Небо звездное, густо-синее. Развешанное на веревке белье задубело, гремело под руками.

Включив свет и закрыв за собой дверь хлева, Евдокия выпустила поросенка и принялась чистить железной совковой лопатой сырой его закуток. Двигалась осторожно, расчетливо, чтоб, не дай бог, опять не упасть.

Когда на кухне появилась смущенная, заспанная Тамара, Евдокия уже растопила печь и готовила корм скотине. Обмениваясь короткими репликами, принялись вдвоем хлопотать по хозяйству.

Тамара нервничала, злилась на себя и на мать. Вчера ей не удалось поговорить с Евдокией о переезде к Люсе, мать была хмурой и молчаливой. Тамара рассчитывала, что утром мать не встанет, она сама сделает всю работу, и это даст ей право и уверенность заговорить с беспомощной Евдокией о переезде как о деле решенном... Но мать привычно, хоть и тяжеловато, суетилась у печки... Как тут заговоришь?

И за завтраком лицо у Евдокии было чужое, отсутствующее, так что Тамара не решилась начать разговор, а, положившись на волю случая, стала ждать приезда Люси.

Когда взошло солнце, на улице все засверкало, заискрилось. Повеселело и в доме.

Пришли Павел и Катя. Вот этого Тамара почему-то совсем не ожидала, хотя ничего неестественного в их приходе не было, о чем Павел все утро твердил Кате. Катя идти хотела и не хотела. Павел говорил, что нельзя не ходить, раз мать лежит больная. Решили так: пойти к тестю, оставить там Димку с Галей, и к Евдокии зайти как бы на минутку.

Увидев, что мать, как обычно, возится у печки, Павел воскликнул, обернувшись к Кате:

— Вот это да! Она уже выздоровела. Ну, молодец!

Тамара с приходом гостей растерялась, даже забыла поздороваться.

Катя, заметив, что снятые ею вчера половики так и не застелены, потащила Павла на дворовое крыльцо трясти их.

Застелили половики и присели на диван на кухне.

Павел чувствовал, что после случившегося вчера с матерью неизбежен серьезный разговор, раз приехала старшая сестра. По лицу Тамары он видел, что пока ничего не решено и что Тамара чего-то ждет, то и дело нервно выглядывая в окна. Кого ждет? Своего Романа?.. Или

Люсю? Начать разговор или спросить сестру, кого она дожидается, Павел не решался.

Какое-то чувство подсказывало Павлу, что мать очень хочет, чтоб они с Катей вернулись к ней, да и попросту нет у нее другого выхода, но для этого она должна кое-чем поступиться, смириться, а она, все понимая, упрямо не делает этого. Что за этим упрямством: твердая решимость или вспышка обиды? Павел любил свой дом, привык к нему, здесь, рядом с матерью, с помирившимися родственниками, душа была бы на месте и никакая работа бы не страшила. Тылы были бы надежны.

Загудел мотор, мимо окон медленно поплыла большая тень и остановилась. Прямо к крыльцу подъехал голубой автобус. Лязгнули, открываясь, створки дверей, и стали выходить люди.

Павел и Катя подошли к замерзшим окнам в передней.

— Кто это к нам? Аж на автобусе, — спросил Павел у матери, тоже пытавшейся через окна разглядеть людей.

Тамара за их спинами, воровато улыбнувшись, потрясла головой: «Ох, что же сейчас будет?..»

— Вроде бы Люся с Борисом, — вполголоса сказала она, чтобы приезд на автобусе сестры с мужем не был совсем уж неожиданным.

Все вышли на кухню и выжидающе уставились на дверь, слыша, как топают ногами на крыльце.

Наконец дверь открылась. Первой вошла Люся, с неизменной улыбкой, за ней высокий, худой, чернявый Борис, глядевший с внимательной настороженностью, и двое незнакомых молодых мужчин.

— Здравствуйте...

— Здрасс...

Люся и выглядывавший из-за нее Борис заметно растерялись, увидев стоявшую как ни в чем не бывало Евдокию и Павла с Катей. Люся с большим недоумением взглянула на Тамару, которая поспешила ей на выручку:

— А-а, заходите, заходите. Очень кстати. Поговорим, посоветуемся.

Люся схватилась за подсказку:

— А чего тут советоваться? Все, мама, собирайся, поедем к нам. Тебе тут нельзя одной. Свалишься — никто и знать не будет. Господи! Чтоб я родную маму да бросила!.. Ты у нас будешь, как цветочек аленький. Все, собирайся! Мы за тобой приехали. На автобусе, — улыбалась Люся. — Доедешь, как барыня!

Евдокия в недоумении слушала и смотрела на Люсю. Не глядя нащупав диван, она опустилась на него.

— А что, мама, — бодро поддержала сестру Тамара, — поезжай, конечно! Отдохнуть тебе надо, подлечиться. Об этом и Игорь Михеевич говорил.

— Да как же?.. Вот так сразу... — забормотала Евдокия и оглянулась вокруг, ища поддержки. Встретившись глазами с сыном, потянулась к нему: — Паш, ты-то как думаешь?

Павел, начиная что-то понимать, сердитым голосом спросил:

— Я не пойму, ты совсем, что ли, хочешь переехать? Или погостить?

Катя спокойно пояснила ему:

— Да совсем они ее увозят. Не понимаешь, что ли? — и обратилась к Евдокии: — Куда вы поедете? Вам еще лежать надо!

Люся быстро встала:

— Кого ты слушаешь, мама? — сказала Люся, злобно глядя на Катю. — Они тебя бросили одну и не поморщились. Нужна ты им! Ребята, — обратилась она к Борису и приехавшим с ними мужчинам. — Давайте проходите. Забирайте постель, одежду.

Борис и двое мужчин посмотрели на ноги, не решаясь в обуви идти в залу, но Люся подтолкнула их, поторопила:

— Давайте, давайте быстрее. А то нам автобус дали ненадолго.

Мужчины скатали обе постели, ее и дедову, и, забрав в охапки, потащили на улицу.

— Господи, да постели-то зачем? — встрепенулась Евдокия.

— А спать-то на чем же будешь? — искренне удивилась Люся. — У нас лишней нету. Одежда твоя в гардеробе? — она прошла в переднюю и, раскрыв дверцы шкафа, выдвинув ящики, стала выкладывать оттуда платья, юбки, кофты, белье на расстеленную по полу простыню.

Евдокия растерялась под Люсиным натиском. Она то порывалась встать, то опускала голову и терла лоб, бормоча:

— Одной-то, да... А куда деваться?..

Тамара села рядом, обняла ее и стала успокаивать:

— Отдохнешь, подлечишься, а там видно будет.

— Господи, а Пестраня как же? — спохватилась Евдокия. — Как со скотиной-то быть?

Люся из передней бойко заговорила, не видя, что Тамара делает ей страшные глаза и машет рукой, мол, помолчи:

— Корову мы продадим, подумаешь — проблема. Лошадь надо в совхоз сдать. А поросенка, уток с курами, вот ребята приедут и зарежут. Мясо будет на зиму.

Евдокия встала:

— Нет, Пестраню не дам продавать. Зачем! Корова — ведерница! Она через два месяца отелится... Молоко учителя берут, врач, у них ко мне очередь.

— Ну как же? — Люся подошла поближе. — У нас ее держать все равно негде: сарай маленький, и смысла нет... — Наконец она заметила сердитое лицо и знаки Тамары, спохватилась. — Я не знаю, конечно... Подумаем...

Катя сердитым шепотом, округляя желтые, ястребиные от злости глаза, говорила Павлу:

— Ну что же ты стоишь и молчишь: они же сговорились!.. Ты ведь сын, а стоишь как чужой!..

Павел посмотрел на обеих сестер и буднично сказал:

— Что-то вы не то задумали. Не то. Это все нечестно.

Возбужденная Люся, на щеках которой алели пятна, чувствуя, что все идет как надо, обрезала его:

— А вы бы помалкивали! Уж не вам об этом говорить. Бросили стариков одних. Вильнули хвостами. А теперь спохватились: «Нечестно!..»

Катя не выдержала:

— Да тебе не мать нужна! Тебе деньги ее нужны! У тебя это на лице написано. Маму она пожалела...

Люся подскочила к ней и, улыбаясь, замахала руками перед ее лицом:

— А вы чего пришли? Теперь локти кусаете? Поздно! Прозевали! Ни гроша вам не дадим!..

Катя с трудом удерживала себя от желания вцепиться ногтями в это белое, с алыми пятнами, улыбавшееся лицо.

Тамара одернула сестру:

— Люся, замолчи! Собирай вещи!

Мужчины, пошептавшись с Люсей, принялись снимать со стен ковры.

Перед крыльцом у голубого автобуса собралась толпа любопытных баб, ребятишек на лыжах и салазках. Бегали разношерстные собаки. Засыпанная снегом улица ослепительно белела под солнцем. По голубому небу протягивалась белая полоска самолетного следа, доносился далекий гул.

Кукуня настойчиво приставала к Борису, впихивавшему толстый узел в узкие двери автобуса:

— Это что же, вы ее насовсем увозите?.. Ну чего ты молчишь? Насовсем, что ли? Зачем это она вам понадобилась?

Бабы из толпы язвительно отвечали за Бориса:

— У тещи денег много, домина вон какой! Как же ее не взять?

— На тещины деньги можно будет поразгуляться!

— С деньгами-то мы нужны! Это потом уж — под зад коленкой, когда деньги выманят.

Борис краснел от злости, втаскивая непослушный узел, отмалчивался, но вскоре не выдержал:

— Ну чего вы собрались? Кино вам, что ли, здесь показывают?.. Она давно хотела уехать...

Бабы наперебой закричали в ответ:

— Вы бы сами сюда переезжали!

— Попробовали бы своей спиной, как большие деньги зарабатывать!

Кукуня оглянулась на толпу, подтянула рукава телогрейки, будто собираясь драться:

— Пойду-ка зайду. Узнаю, чего там деется.

Бабы подбодрили ее, и Кукуня зашла на кухню, где Евдокия, сидя на краешке дивана, морщилась как от зубной боли, потирала лоб ладонью и иногда в недоумении оглядывала всех, словно отыскивая кого-то глазами, а Тамара смотрела под ноги Павлу и говорила буднично и просто как о деле неприятном, но решенном:

— Ну что теперь об этом говорить? Что было, то было. Вы ушли, дверью хлопнули, сказали, что ноги вашей здесь больше не будет... Надо думать, как матери дальше жить. Одну ее здесь не оставишь...

Тамара враждебно подняла глаза на Кукуню.

— Тебе чего, тетя Таня?

Кукуня, не обращая внимания на Тамару, подошла к Евдокии и насмешливо заговорила:

— Это что же ты надумала — из родного дома убегаешь? Кукла ты моргучая! Уж совсем из ума выжила. Куда ты едешь-то? Кому ты там нужна-а?..

Евдокия обрадованно подняла голову и слушала Кукуню. Она както потеряла опору под ногами, и ей было совсем непонятно, как быть, что делать. Она стала оправдываться перед Кукуней:

— Да я поживу немного, подлечусь. А потом приеду... Ну что делать? Ноги совсем не ходят. Мне теперь одной не совладать.

— А на кого же ты это все оставляешь? Кто за скотиной-то будет ходить? Она тебя дожидаться не будет!..

— Вот Паша пока походит. Он в отпуске... Паша, — обратилась Евдокия к сыну, — ты уж тут поухаживай.

Павел в досаде хлопнул себя ладонью по колену. Он удивлялся и недоумевал, что мать, обычно столь твердая в своих словах и поступках, сидела на диване, жалко озираясь по сторонам и не зная, на что решиться.

Павел подсел к ней:

— Мам, ты все-таки скажи — совсем отсюда уезжаешь? Бросаешь все это? А дом куда же?

— Это не ваше дело! — выскочила из передней и зачастила Люся. — Может быть, мы его продадим, может, под дачу оставим: и мы приедем, и Тамара приедет. Все-таки это наша родина, мы здесь родились и выросли!..

Кукуня развела руками:

— Во как! Все у них решено, все спланировано. Проснись, кукла, чего ты сонная такая, как не в себе. Тебя совсем хотят увезть, а дом продать. Вон уж и ковры со стен снимают.

Павел вскочил:

— Если ты хочешь совсем уехать, я ни минуты здесь не останусь,

и ни за какой скотиной ходить мы не будем! Ты что же это — от нас с Катей убегаешь, что ли? Да?

Катя порывалась что-то сказать Евдокии, но с усилием брала себя в руки. Она еще с детства боялась Тамары, и теперь лишь смотрела на Евдокию широко раскрытыми глазами.

Кукуня, как маленькой, втолковывала Евдокии, тряся у нее перед носом ладонями:

— Куда тебе еха-ать? Ты позови к себе жить сына-а. Дом какой отгрохала, сколько здоровья положила — и все собаке под хвост. Земля какая хорошая на участке, пусть ребята работают. И сама с ними будешь жить-поживать, ребятишек нянчить. А в чужом дому ты с тоски загнешься! И схоронят тебя бознать где, в неродимой земле!

Люся подскочила к Кукуне и закричала на нее, подталкивая к двери:

— Ты чего лезешь не в свое дело, блоха блажная! Ты кто такая? Чего тебе здесь надо? Проваливай отсюда!

Кукуня, словно этого и ждала, яростно накинулась на нее, так что ее тонкий пронзительный голос услышали и бабы на улице:

— Ты рукам воли не давай! Не хозяйничай здесь! Я не к тебе пришла, и дом этот не твой. Ишь какая, растопырила руки на чужое добро! Ты его не заработала. Вон задницу какую отрастила. Мать ей понадобилась!.. Свою нужду чужим горем не покроешь!

Люся махала руками перед лицом Кукуни:

— А ты здесь посторонняя! Это не твое собачье дело!.. Тебя Катька подкупила — вот ты и ходишь тут, сбиваешь с толку! Тыщонку небось пообещала!..

Кукуня звонко затараторила от двери:

— Мели, Емеля! Бесстыжая! На что мне тыщи! Я сама поболе вас всех зарабатываю.

Евдокия вполголоса спросила:

— Тамара, может, мне лучше к тебе поехать?

Когда тихим голосом начинала говорить Евдокия, все поневоле замолкали и прислушивались.

Тамара отвела глаза и сердито, бесцеремонно стала выговаривать матери:

— Ну какая тебе разница: к Люсе, ко мне? Вон автобус стоит. Чего теперь гадать? Поживешь у Люси, потом у меня.

Сразу насторожившаяся Люся обернулась к ним:

— Мама, ну как ты к ней поедешь? Там же из-за тебя...

Тамара оборвала ее, густо покраснев:

— Замолчи, дура! Что ты лезешь куда не просят! — И так же сердито обратилась к матери: — Давай собирайся!.. Ты в чем поедешь? Где пальто твое? Надо потеплей одеться...

Евдокия посмотрела на Тамару, которая, нервно оправляя прическу и одергивая кофту, стояла перед ней в нетерпеливом ожидании, на прислонившегося к стене Павла, обиженно трогавшего усы дрожащими пальцами, на Люсю, бесцеремонно выталкивавшую за дверь Кукуню. Евдокия опустила голову на ладони. Да, это ее дети. Когда-то ей казалось, что она знает их, знает каждый их помысел... Громоздко сгорбившись, Евдокия устало сникла.

Внезапная кончина Василия Васильевича оглушила Евдокию, а душу растревожили, обожгли слова зятя и Годуна о ее вине перед дедом, безжалостно брошенные ей в лицо. Эта вина то казалась Евдокии пустым наговором, а то и правдой — большой, непростимой. Вскипала у Евдокии жгучая обида: не находилось никого из близких, кто бы успокоил, утешил, поддержал. Все талдычили свое, тянули ее, растерянную, каждый в свою сторону, подняли кутерьму в доме.

Люся потрясла Евдокию за плечо:

— Давай, мама, одевайся. Остальное мы потом перевезем. Время еще будет.

Евдокия подняла голову и тихо сказала:
— Никуда я не поеду.
Тамара насторожилась, почувствовав в голосе матери знакомые твердые нотки, а Люся недоверчиво засмеялась:
— Мама, ты все шутишь. Нам надо торопиться. Автобус дали только на два часа. Одевайся.
Люся взяла мать за локоть, приподнимая с дивана:
— Вставай, вставай. Поехали.
Евдокия оттолкнула ее руку и повторила:
— Никуда я не поеду.
Люся переглянулась с Тамарой, и обе они раздраженными голосами, перебивая друг друга, напустились на мать:
— Как ребенок — поеду, не поеду!
— Автобус ждет, люди ждут!
— Что ты одна будешь делать? Кому ты тут нужна?
— Одевайся быстрее!
Борис, сунув руки в карманы дешевенького, лягушачьего цвета пальто, тоже вдвинулся в круг и, ничего не говоря, но недовольно скривив лицо, уставил на тещу свой тягучий воловий взгляд.
Катя не выдержала:
— Чего вы на нее набросились? Куда насильно тащите? Раз не хочет, и оставьте ее в покое. — Она толкнула в бок Павла: — Что ты стоишь? Ты здесь не посторонний!
Тамара, гневно раздувая ноздри, повернулась к Кате:
— Катя, ты не влезай! А то и я тебе могу сказать кое-что.
— А что ты мне скажешь! — глаза Кати округлились. — Вы уж мне наговорили. На всю жизнь хватит.
Павел надсадным от злости голосом спросил Тамару:
— А что ты ей грозишь? Какое вам до нее дело?.. То одна стерва налетала, теперь другая...
Борис сделал шаг к Павлу и, уклончиво уводя глаза, вязко и неопределенно заговорил:
— Ты, Павел, тоже не надо. Это ихнее дело... Так что...
Люся подскочила к Павлу, улыбаясь, замахала руками у него перед лицом. Катя оттолкнула ее. Борис вытащил руки из карманов. Поднялся гвалт, крик.
Евдокия встала и закричала на них:
— Вон отсюда! Все — к чертям собачьим! Чтоб духу вашего не было! Закрутились тут, завертелись. Я еще поживу!
Она схватила веник и, размахивая им, мешая взять одежду, стала выталкивать всех в дверь, крича что-то грубое и оскорбительное. Кого-то, кажется, даже ударила раз-другой веником по спине, видя, как лица детей становятся испуганными и покорными.
Дом опустел.
Когда на улицу выскочили Павел и Катя, за ними одевавшаяся на ходу Тамара, Люся, а Борис и два его приятеля, ругаясь, потащили узлы обратно из автобуса в дом, бабы на улице засмеялись, загалдели:
— Что, распогоняла вас?
— Молодец, Степановна!
— Правильно! Гони их в шею.
— Налетели, как коршуны!
Кукуня ехидно спросила Люсю из толпы баб:
— Ну что, Людмила, загребла тыщи-то?
Люся, улыбаясь, с неприязнью бросила ей:
— Я не такая, как ты! Я про деньги не думаю.
Бабы насмешливо подхватили:
— Мать она пожалела!
— Не мать им нужна!
— Все они такие — на готовое рады прибежать!

Павел с Катей, не оглядываясь, зашагали по улице. Тамара, поколебавшись, шмыгнула в автобус. Люся переругивалась с бабами, крича так, чтоб слышали уходившие по улице Павел и Катя:

— Это наш дом! Мы его тоже строили. Тут наша доля есть. Мы свой пай хоть с прокурором, а возьмем!.. И это не ваше дело, — обратилась она уже к бабам: — Пошли вы все!..

Но бабы дружно, азартно накинулись на нее. Залаяли собаки. Водитель, не выдержав, тронул автобус, и Люся торопливо влезла в дверь.

Под крики и ругань баб голубой автобус покатил по белой солнечной улице.

Кукуня сказала как бы про себя:

— Она-то хоть как там! Пойти глянуть, что ли?.. — и не очень смело поднялась на крыльцо.

Павел и Катя хотели уже свернуть в переулок к Годунам, когда их окликнул Андрей Кириллович, который под руку с женой шел навстречу.

Андрей Кириллович был в том же солидном пальто и джинсах. Жена его посматривала несколько строго, как смотрят учителя на родителей учащихся.

— Слава богу, нас уже четверо! — шутливо и возбужденно заговорил Андрей Кириллович. — Оказывается, у нас по селу директору с женой и пройтись нельзя. Вот дожили! Из всех окон уставились, кто встретится — спрашивает: «Гуляем, Андрей Кирилыч?» А голос ехидный-ехидный. Мол, все дела бросил, совхоз погибает, а он под ручку с женой разгуливает. Ох и одичали мы!.. Ну-ка, говорю, давай нарочно погуляем по Крутицам, чего еще заметим? А то на машине промчишься... Оказывается, село бурьяном заросло, даже снег не прикрыл, улицы тракторами разбиты — утонуть можно... А что это там у вас народ собрался?

Павел уклончиво объяснил:

— Сестра за матерью приезжала, а она к ней не поехала. Это любопытные собрались...

Андрей Кириллович внимательно посмотрел на расстроенных Павла и Катю, понимающе усмехнулся:

— Так, так... А как мать-то? Я слышал, слегла?

— Ну да, слегла! — не выдержала Катя. — Как пошла всех честить, только пыль полетела!

Андрей Кириллович рассмеялся:

— Что, и вам досталось?.. А как же ты думала, Екатерина Михайловна! Эти старухи всякое в жизни повидали. С вами, вертихвостками, надо ухо востро держать, — Андрей Кириллович подмигнул жене. — Ладно, красотки, идите вперед. У нас мужской разговор.

Свернули в переулок. Андрей Кириллович придержал Павла, и они, поотстав, пошли сзади.

— Хотел тебя вчера от Годуна с собой забрать. Жаль, не удалось, — заговорил Андрей Кириллович, мечтательно-завистливым тоном настраивая Павла на такое же душевное состояние. — Друг у меня в соседнем районе председателем колхоза работает. Давно приглашал: «Приезжай поучиться». Думал, хвастается. Съездил вчера и даже расстроился. Прошлись по селу: чисто, люди улыбаются, неиздерганные, девчата снежком в нас запустили. Все отлажено, все работает. Мехдвор заасфальтирован, техника по линеечке, колеса побелены, диспетчерская, охранник. А мастерские! А фермы!.. Я теперь на наш мехдвор даже смотреть не могу. Как мы заелись, как одичали!.. Теперь у меня есть с чем выйти к людям, вот будет собрание — я все скажу! Друг-то друг, а хитрован. Таится. Спрашиваю: «Как это ты фонды добывал? Кто тебе строил?» Отвечает: «Ну что ты, маленький,

что ли? Хочешь, чтоб у тебя все это было? Засучивай рукава — и вперед. Будет инфаркт, будет второй, будет выговор, будет еще один, а ты двигайся к своей цели, и всего добьешься». Вот принцип! Это — не Годун. Надо было мне раньше к нему съездить... Учились вместе в институте. Вроде бы тихий парень был, а как развернулся!..

Павел понимал, что в честолюбивых расчетах Андрея Кирилловича он занимал какое-то вспомогательное место, и это коробило его.

Андрей Кириллович, поглядывая на хмуро молчавшего Павла, продолжал:

— Ходили сейчас с женой к молодому учителю. Жена все уши прожужжала: «Такой интересный! Оживил всю школу!..» Я даже заревновал. Молодой парень с женой, преподает литературу. Она — мастер спорта по гимнастике. Оба коренные горожане, из Воронежа. Наивный он, конечно: дискотека, клубы по интересам... Сомневаюсь я, выдержит ли, не вступит ли сам в клуб владельцев сороконожек, оба молодые, надо приодеться. Но кое-что и дельное предложил, у него же взгляд-то свежий: каток, говорит, надо залить у клуба, елку поставить, лампочки повесить — уже веселей будет зимой в Крутицах. Пианино накупили все, у кого дети есть, а играть никто не может, музыкальная школа нужна. Тоже верно. Музыкальная школа — это, конечно, пока нереально. Но ведь у тебя, Паша, родственник музыкант, кажется? Может, станет приезжать к нам хоть раз в неделю. Скинутся родители, будут ему платить... Эх, Паша, раскрутим мы с тобой Крутицы! А то какие-то мы уж очень сурьезные стали, а? — Андрей Кириллович хлопнул Павла по спине.

У дома Годуна остановились. Катя пригласила зайти. Андрей Кириллович решительно отказался. Катя ушла в дом, жена Андрея Кирилловича тихонько пошла по переулку обратно, оставив мужчин договаривать.

Андрей Кириллович вдруг наклонился к самому уху Павла и шепотом сказал:

— Плюнь ты на этот миллион, Паша. Жизнь и без него интересная.

Он толкнул Павла плечом, и так как они стояли на узкой, расчищенной Годуном тропе, то Павел упал на ее мягкую снежную бровку, а Андрей Кириллович, торжествующе засмеявшись, побежал по переулку.

Бабьи крики остались позади, автобус катил по широкой улице села. Плыли по сторонам кирпичные дома с тропинками к ним в свежем снегу, в широких окнах расплывчато отражался голубой бок идущего автобуса.

Улыбавшаяся, со злыми глазами, Люся, в туго обтянувшем ее темном пальто, тяжело плюхнулась на сиденье рядом с Тамарой, прижав ее к окошку. Борис и двое молодых мужчин сидели впереди. По тому, как они все молча закурили, избегая смотреть друг другу в глаза, было понятно, что им хочется сейчас крепко обругать все случившееся.

— Ну что ты села — места нет? — Тамара локтем отодвинула Люсю, нервно оправив опушку на дубленке.

Люся села на соседнее сиденье и заговорила оттуда:

— Чего ты психуешь? Сама заварила. «Лежит, болеет, можно приезжать...» А она вон какая, как лошадь!

Тамара резко обернулась к ней:

— Что ты все время совалась куда не просят? «Корову продадим!.. Дом продадим!..» Позорище! Чуть не драться ко всем лезешь. Да к тебе никакой нормальный человек не поедет! Ты мать просто напугала. Надо было хоть немножко думать! Не голова у тебя, а

вот! — Тамара постучала костяшками пальцев по белой металлической спинке сиденья.

Борис, услышав спор, пересел поближе к сестрам:

— Но ты же позвонила вчера! — оборвал он Тамару, глядя на нее своими вялыми, ничего не выражавшими глазами.

Тамара набросилась на него, ей больше, чем тем двоим молчаливым мужчинам впереди, хотелось крепко выругаться на кого-то еще, кроме глупой сестры:

— Ты что, мать нашу не знаешь?.. Да? Я с ней вчера говорила, и она в общем не против была переехать. Да она и сейчас не против!.. Надо было тихонько взять кое-какие вещи и побыстрее увезти ее. Главное — с места сдвинуть, лишь бы от дома оторвать, не оставлять здесь, а дальше все бы устроилось. А вы налетели, как коршуны! — Тамара презрительно скривила губы и отвернулась к окну. — Смотреть противно. Пошли собирать и белье, и ковры. Вы бы еще навоз из хлева погрузили. Загребай, а то чужим достанется. Из вас жадность прямо поперла!

— А ты сама-то!.. — прищурился было на нее Борис.

— Куда бы это делось! — перебила его Тамара. — И после могли бы взять. А теперь конечно: посмотрела она на вас да и... — Тамара в досаде сплюнула.

Качаясь, дребезжа железом в лихорадочной тряске, автобус на большой скорости, которую держал раздосадованный пустой поездкой водитель, нырнул по отлогой дороге с берега вниз на простор поймы.

Люся обиженно заговорила, переглянувшись с Борисом:

— Ни с чем мы мать не возьмем! Она поживет да и опять уедет. Зачем она нам? У нас и так тесно. А она какая — с ней жить невозможно. Я ее боюсь... Ты к себе не берешь, к нам спихиваешь. А как делиться — говоришь, что все пополам...

Тамаре хотелось закричать на этих двух бестолковых, простодушных в своей жадности людей, но она сбавила возмущенный голос, видя, что двое мужчин впереди обернулись и тоже слушали.

— Как я ее возьму? Они с Романом на поминках поскандалили. Она завтра же опять сюда убежит. Вот помирятся они попозже — и пусть живет.

— Вон ты какая хитрая! — зачастила Люся. — Сейчас ее к нам спихиваешь, чтоб на нас все шишки свалились, все скандалы. А потом тихонько ее к себе переманишь со всеми деньгами. Ловка! — И вдруг выпалила: — Конечно, если ты ее сейчас возьмешь, Роман уж к тебе не вернется!

Тамара ахнула и вцепилась взглядом в Люсю:

— Кто тебе сказал про Романа?

— А ты думаешь, никто не знает?..

— Кто тебе сказал? — жестче переспросила Тамара.

— У соседей родственник с его отцом работает, — забормотала Люся. — Приезжал недавно и рассказал.

Тамара помолчала и неожиданно спокойно сказала:

— Значит, вы уже все знаете?.. Ну, конечно — такое не скроешь. Ладно. Одно к одному. — Она посмотрела на улыбавшуюся Люсю, на Бориса, который выжидательно помалкивал, вскочила и подбежала к кабине водителя. — Стой! Остановись!

Автобус катил по белой широкой пойме к темневшему наплавному мосту через серо-голубую Оку.

— Остановись, тебе говорят! — Тамара застучала кулаком по светлой пластмассовой перегородке, отделявшей кабину водителя.

Водитель затормозил, Тамара выскочила в дверь и пошла обратно по дороге.

— Тома! Тома! — кричала ей вслед Люся, тоже вышедшая на дорогу. — Ну ты чего? Куда же ты?

Тамара, не оглядываясь, шла, иногда даже бежала по дороге. Автобус постоял немного и двинулся дальше.

Через полчаса, замерзнув на сыром ветру поймы, обойдя село окольной дорогой, Тамара пришла в пустой гулкий зал ожидания станции. До электрички в Рязань было еще два с лишним часа. Она села в угол потемнее на старинный широкий вокзальный диван, закрыла лицо поднятым воротником дубленки и заплакала.

Евдокия, сжимая в руках веник, которым только что грозилась детям, тупо смотрела на сваленные у ее ног узлы.

Дверь подергалась, открылась, и из-за нее выглянула Кукуня. Долго присматривалась к Евдокии, прежде чем тихонько сказала:

— Ох, Дуня, Дуня... И чего ты скисла — не пойму. Такая баба была громкая, непобедимая. А тут ее уж грузить стали как посторонний предмет.

Видя, что Евдокия взглянула на нее и заморгала глазами, словно просыпаясь, Кукуня заговорила своим обычным бойким голосом:

— Ты в голову-то сильно не бери. И правильно распогоняла их! Какие они у тебя ловкачи — заспешили друг перед дружкой мать увезть. А мать уж и не спрашивают, хочет она или не хочет.

Евдокия посмотрела на веник в руках и отбросила его к порогу. Слезы показались у нее на глазах, она стала вытирать их широкой ладонью.

— Жалко мне их всех, Таня, — срывающимся шепотом заговорила Евдокия, не глядя на Кукуню. — Жалко. Не со зла они это все, а так, по глупости.

— О-ой, по глупости! — протянула Кукуня. — Ты знаешь, что сейчас эта твоя толстозадая-то бабам орала? Я, говорит, свой пай и с прокурором возьму! Уж это она не по глупости, это уж они со своим хорошо обдумали.

Кукуня оглядела сваленные на полу кухни узлы и засуетилась:

— Чего это добро-то по полу разбросано? Давай-ка уберем на место. А то разгромили все в доме, как Мамай прошел.

Евдокия сделала шаг, но голова закружилась, ноги задрожали, и она опустилась, почти упала на диван.

— Сиди, сиди, — испугалась Кукуня. — Я разберу. Ты говори, куда тут чего...

Но Евдокия упрямо встала и, постояв под взглядом Кукуни, принялась вместе с ней разбирать узлы, снова застилать постель и складывать одежду в гардероб.

— Видишь, и белье все забрали, и ковры поснимали. Я видела, уж и к посуде прилаживались, и к телевизору. Это они тебя совсем хотели забрать. Мол, увезем, а там она никуда не денется, — ворчала Кукуня.

Евдокия понемногу размялась, расходилась и двигалась полегче. Настолько, что предложила Кукуне помочь ей повесить на стены тяжелые ковры, валявшиеся рулонами на кухне. Без ковров зала выглядела голой и неуютной, как сарай, да и хотелось что-то делать, двигаться, только бы не сидеть одной с подступившими сразу же тягостными мыслями.

Кукуня обрадовалась:

— Давай, давай! Ты ходи больше, не лежи. Никакая лихоманка тебя и не возьмет. Иной раз лежишь — думаешь, смертный час пришел. А встанешь, туда-сюда сходила, чего-то поделала — и ничего, жить можно. Ты, Дуня, не поддавайся.

Повесили ковры, и зала приняла свой обычный вид, опрятный, но несколько холодноватый и пустой, как бывает, когда в доме нет детей. Кукуня засобиралась было домой, но Евдокия упросила ее остаться попить чаю.

Уселись за стол.

Евдокия выставила из холодильника привезенные Тамарой гостинцы. Кукуня подцепляла вилкой колбаску, прихлебывала чай и говорила обо всем происшедшем откровенно, обнаженно, как Евдокия никогда бы не стала не только говорить, но и думать. А Кукуня режет в бровь, что думает, то и говорит. Такая способность подруги удивляла Евдокию, иногда раздражала, даже злила, но всегда притягивала.

— Ну эта-то дура ладно, — махнула рукой Кукуня на то место, где они недавно яростно спорили с Люсей. — Она и не скрывает ничего. А Тамара похитрей. Сидит, вроде бы помалкивает, мол, я тут ни при чем. А, видно, она воду мутит, она Люськой вертит. И сейчас села в автобус, с Люськой поехала. Ей же на станцию надо идти, если бы она домой хотела, на электричку. Нет, поехала к Люське. Чего-нибудь опять будет советовать, настропалять дуру толстозадую... Они от тебя не отступятся, еще чего-нибудь выдумают, в больницу, гляди, положат. Теперь опять жди их...

Кукуня говорила и говорила, и Евдокия, слушая ее и изредка вставляя что-то свое, соглашаясь и не соглашаясь, понимала, что одной ей, конечно, во всем не разобраться, не понять, ей нужно обсудить все происходящее с ней сейчас, обдумать, проверить.

— Значит, решили они тебя увезть побыстрее. Ну как же: отец помер, ты захворала, одной уж трудно, а тут Пашка с Катей за тобой ходить стали. А они обе вроде как оказываются ни при чем. Вдруг ты Пашку с Катей к себе жить позовешь. Если Катя здесь хозяйкой будет, им тогда и ездить сюда нельзя, они обе с Катей на ножах. И денежки свои ты вдруг да сыну все отдашь, раз уж ты с ним живешь, миллион-то свой отдашь. Они и завертелись, забегали. Конечно, куй железо, пока горячо!.. Да, в радости мы все хорошие, а вот в горе...

Безжалостно обнаженный рассказ Кукуни о том, как она понимает все происходящее, раздражал Евдокию, но в глубине души она спокойно и холодно соглашалась: «Да, да... Это так, так». Ей было неловко перед подругой, что вот у нее такие бессердечные, жадные дети. Она пыталась сгладить это впечатление.

— Да нет, Таня. Жалко им меня. Я ведь заболела. Надо же им чего-то делать. С Катькой мы не ужились...

Кукуня понимала это ее слабое желание защитить детей, но видела и другое: Евдокия, внимательно поглядывая на нее, хотела услышать все до конца, прямо и открыто, может быть, даже рассердиться на нее за это, но выслушать и уж потом самой думать, как быть, что делать дальше.

— Я вот лишь одно в толк не возьму, чего это Тамара к себе не тянет, а к Люсе тебя пихает? Какая тут у ней выгода?

— Ну как же? Ты сама была тогда, все слышала. Мы с Романом поцапались. Он ведь такую околесную понес, будто я деда замаяла. Вон что надумал!

Кукуня отмахнулась:

— Это он вгорячах. Если б так, она б его заставила повиниться — только и делов. Захотели бы, они б тебя перетащили к себе, зачем это ей с Люськой делиться. Тамара у тебя поумней всех будет...

— Да и тесно у них. Квартира маленькая, две комнатки, а они трое. Да я четвертая. Куда мне там? Не повернуться, только боками толкаться, — вяло оправдывала Евдокия старшую дочь.

— С твоими деньгами, Дуня, нигде не тесно. Чего-то тут другое... Уж если они с мужиком своим лаются каждый день как собаки — тогда, конечно. Убежишь от них через неделю на край земли. Как они, не грызутся?

— Да вроде ничего живут, — нерешительно проговорила Евдокия, пытаясь вспомнить, как Роман обычно разговаривал с Тамарой.

— А то приедешь, послушаешь да и побежишь назад. Тамара себе на уме. Мол, пусть у Люси поживет, а уж когда назад тебе ходу не будет, тогда и к ней можно, в тесноту, бреховню слушать. Эта ко-

сорукая-то... — Кукуня спохватилась и поправилась, — Людмила-то медом тебя будет мазать. Первое время. «Мама, наша мама», — сладким голосом передразнила Кукуня Люсю. — Выманят из тебя денежки, и потом — кто ты такая? Будешь мыкаться. Так и будет!.. Гнать не выгонят, а сама не захочешь. Не так села, не то сказала. А мы, дуры старые, стесняемся.

Евдокия, слушая разглагольствования Кукуни, думала о детях. Тамара, Люся, Павел... Оказывается, она плохо знает своих детей, плохо понимает, чего они хотят. Как же это получилось? Ведь они живут не за тридевять земель, она их часто видела, разговаривала...

— Меня подкупила Катя — это же надо такое выдумать! — вспомнив, всплеснула руками Кукуня. — Видишь, куда у ней мозги-то повернуты? Она о твоих деньгах только и думает... А чего мне Катя? Она мне никто, ни своя, ни родня. Мне тебя жалко. Чего ты на Катьку надулась, никак не пойму?.. Или все на Колдуна зло держишь? Он уж старик. Гляди, тоже помрет скоро...

Но, заметив, что Евдокия неприязненно дернулась, Кукуня поспешила переменить разговор.

— Юрка мне сегодня рассказал: Колдун на пенсию уходит. Все. Отработался... А Павел у тебя какой молодец — его на место Колдуна ставят. Он вроде как сомневается, не хочет. А ты, Дуня, ему посоветуй, чтоб становился. Он парень справедливый. А то поставят какого-нибудь горлопана бессовестного.

Евдокия сделала вид, что она уже говорила об этом с сыном, но про себя подумала, что Паша не только с ней не советуется, он и вообще заходил редко с тех пор, как увела его Катя в совхозную квартиру. Это в последнее время зачастил.

После чая Кукуня взялась помочь накормить скотину. Евдокия готовила корм, а Кукуня шустро носила ведра.

— А помнишь, — с улыбкой говорила Кукуня, — как мы с тобой доярками работали?.. Я любила летом за речку плавать. Кто это нас перевозил-то? Или мы сами гребли? Сами! Да с песнями. Далеко так по речке раздавалось. Молодые были, в силе. Прошло все...

Ночью Евдокии снились шумные жуткие сны: то увозил куда-то в дальнюю неродимую сторону поезд, а из толпы остающихся равнодушно смотрели на нее Тамара, Люся и Павел, то оказывалась она в какой-то темной, тесной землянке с узким пыльным окошечком, одна, никому не нужная, а неподалеку веселились, гуляли люди, то еще что-то, жалостливое, печальное.

Встала опять задолго до обычного времени, рассчитывая не торопясь, осторожно справиться со всеми утренними делами. Хватит киснуть. Деда нет. Детей разогнала, надеяться оставалось только на себя.

Во дворе дергался ветер, срывался с крыш сарая, хлевов и навесов снежными метельными шалями, шуршал в огороде пленкой теплички. Пока топилась печь, Евдокия разгребла дорожки и площадку для уток и Сиротки, вычистила хлев у Пестрани, повыкидав навоз в узкое окошечко на огород, радуясь, что хоть и с трудом, но дела двигались.

Что-то неприятное, помимо самого вчерашнего скандала, беспокоило, тревожило Евдокию. Пожалуй, это осталось от разговора с Кукуней. Какой-то осадок, ощущение от невысказанного Кукуней, но имевшегося в виду упрека, что, мол, дети детьми, а как же сама-то Евдокия все это допустила. Значит, она сама где-то сильно сглупила. Так не одна Кукуня станет думать, а все Крутицы. То-то Годун позлорадствует. Разойдется молва по округе, что вот, мол, была тут Анюта-Гвоздик, деньги в матрац собирала, а еще Евдокия, она накопила «миллион» и сидела на нем, пока не сдохла, родных детей из дома палкой выгоняла.

Что же у нее за дети? Кто они такие, чего хотят от нее сейчас? О ней ли они думают и заботятся или их действительно интересуют только ее деньги? Неужели они бессовестные такие? Ведь росли послушными детьми. И позже ничего такого Евдокия за ними не замечала.

Когда-то собирались в этом новом огромном доме всем миром-собором: приезжали из Рязани Тамара с Романом и Владиком, Люся с Борисом и маленькими детьми из райцентра. Павел еще не служил в армии, ходил в школу. Роман привозил баян. В зале накрывался большой стол, пели песни, ходили купаться на Оку. Спать укладывались покотом на полу, долго хихикали, подшучивали друг над другом... Эти сборы оживили Евдокию, помогли перенести потерю Коли. Позже стало уж не до этих гулянок — огурцы связали, ведь начала сажать их во весь огород. И, выкладываясь на огороде, черствея сердцем в дорожных и рыночных мытарствах, в ругани с Годуном, Евдокия близко к себе не очень-то стала их подпускать, посматривала свысока: мол, сами, сами шевелитесь, учитесь жить, зарабатывать, чего липнуть ко мне, висеть на нашей с дедом шее, крутиться, греться около наших больших денег.

Что она сейчас знает о детях? Они уже взрослые. Она знает, кто из них где живет, где работает, как зовут внуков. А что у детей на душе? О чем они думают? Что их тревожит? Кукуню Евдокия, пожалуй, знает лучше, она ближе и понятней, чем дети.

Удивленная этой мыслью и смущенная чувством вины перед детьми за вчерашнюю свою вспышку, за то, что выгнала их, набросилась на них с веником, ославила на всю деревню, Евдокия медленно нащупывала какой-то выход из всего этого тягостного, свалившегося словно с неба положения.

Если вот она сейчас так и оставит все как есть, какой скрягой, какой глупой и жадной старухой будет она выглядеть в глазах и детей, и всего села. А какими бессовестными будут выглядеть ее дети!.. Нет, нет, надо что-то делать.

Решение, которое пришло ей в голову, показалось сначала унизительным, но в нем было одно достоинство — оно позволяло оттянуть хоть ненадолго какие-то действия по устройству своей жизни, позволяло пока оставить все как есть, ну а уж потом поглядеть. И по тому, как в душе все радостно откликнулось на это, она почувствовала, что решение правильное и самое подходящее сейчас.

То, что утром к ней никто не пришел, не обидело Евдокию. Ну а что же ты хочешь, думала она: у Кукуни свои дела, Катя с Пашей обиделись, они не такие назойливые, как Люся, сами теперь вряд ли придут, надо звать. Ну а дочери... Кто знает, что теперь у них на уме? Вот и узнаем. Хотелось и самой пожаловаться детям на судьбу, на Годуна, оправдаться, что нет ее вины перед дедом.

У Павла и Кати на квартире Евдокия не была ни разу. Дед ходил частенько, помогал Павлу доделать ее, а Евдокия не заходила из принципа. Поэтому, подойдя к краю села, где находилась совхозная контора и стояли многоквартирные дома, она растерялась, как ей быть, не будешь же спрашивать знакомых, где тут мой сын живет. Хорошо, встретилась незнакомая женщина, объяснила, как найти квартиру Павла Корешкова.

Дверь открыла Галя и, подняв брови, попятилась, стеснительно улыбаясь.

— Кто там? — спросила из кухни Катя.

Из комнаты в прихожую выскочил Димка и тут же затараторил:

— Бабушка, а мы с папой пойдем сейчас на лыжах! Он мне лыжи сделал. И палки! А Галька не умеет на лыжах кататься.

Из кухни появилась ошарашенная Катя в пестром домашнем ха-

латике, а из комнаты вышел, одергивая голубой с белыми кантами тренировочный костюм, удивленный Павел, и оба уставились на Евдокию в черном пальто, вязаном полушалке и выходных сапогах на молнии, пытаясь по ее одежде, по лицу и глазам догадаться, что с ней и зачем пришла.

Евдокия улыбнулась и несколько развязно сказала:

— Вот. В гости пришла. Не ждали?

Да, уж чего не ждали, того не ждали. Павел с Катей переглядывались, пока Катя не спохватилась, вспомнив об обязанностях хозяйки:

— Раздевайтесь, раз в гости. Паш, помоги матери.

Ну и, конечно, всегда в подобных трудных положениях выручают дети. Димка притащил замысловатую игрушку, что-то в ней крутил, игрушка жужжала и веером рассыпала белые искры. Глаза Димки горели восторгом.

— Господи, да ты дом спалишь! — поддаваясь его радостному возбуждению, забеспокоилась Евдокия.

— Не, бабушка, эти искры не горючие. От них не загорится. Галька ладонь подставляла, и не больно. Давай, бабушка, подставляй ладонь, все равно не обожгет.

Евдокия достала из кармана захваченные из дома конфетки, улыбнулась, почувствовав, как цепкими пальчиками взяли с ее тяжелой ладони угощение Димка и Галя.

Павел помог матери раздеться, поняв, что мать пришла, конечно, не от нечего делать, не в гости, а с каким-то серьезным разговором, и, догадываясь, с каким, пригласил:

— Проходи. Посмотри, как живем. Ты еще вроде бы и не была у нас.

Евдокия сняла сапоги, надела тапочки, прошла в комнату.

Квартира как квартира: стенка, ковер, софа, телевизор, палас. Везде они одинаковые сейчас, эти квартиры, в Москве, Рязани, здесь.

Катя позвала пить чай. Хоть Евдокия уже и пила, отказываться было неудобно, прошла на кухню.

— А мы только что позавтракали, — сказала Катя, как бы извиняясь за то, что сама за стол не села.

Выгнав из кухни неугомонного Димку, Катя потихоньку вышла, оставив Евдокию с Павлом одних, чувствуя, что без нее им будет легче разговаривать.

После своей просторной кухни, громадной залы в квартире и особенно на кухоньке Евдокию все стесняло, давило. Двигалась она осторожно, с недоверием опустилась на беленькую табуреточку.

Оглянувшись на дверь, Евдокия сразу же заговорила, глядя на сына, который, нахмурившись от волнения, склонил голову и рассеянно болтал ложечкой в чашке.

— Паш, я чего пришла — как-то вчера у нас нескладно вышло. Я вот думала, думала и ничего не поняла. Почему так вышло? Как дальше будет, как мне жить? Мы ведь, бабы, глупые. Ты мужик, а все молчишь. Отца-то теперь нет, мне и посоветоваться не с кем.

Павел, не поднимая глаз, пожал плечами и возразил:

— Ты мать. Ты всегда все сама решала и отца не очень слушала. Чего я к тебе полезу с советами? К тебе сунешься — ты с веником. На всю деревню опозоришь.

— Да уж это такая минута пришла. Довели они... Люська эта...— забормотала Евдокия. — Она сроду бестолковая, не поймешь ее. Ты меня не послушал, увела тебя... ушел... — Евдокия замолчала, оглянувшись на застекленную дверь кухни.

— Об этом мы уже с тобой говорили. Это не я ушел, а по-другому тогда просто нельзя было... — Павел махнул рукой.

Помолчали. Павел ожидал, когда же она скажет главное, зачем все-таки пришла, а Евдокия думала, как бы сказать то, что она задумала, чтоб вышло и понятно, и необидно.

— Я, Паша, хочу к Тамарке съездить, а потом к Люсе. Прогнала я их, а как-то мне неловко, совестно, ведь Люська меня к себе жить звала. Я у ней в новой квартире тоже ни разу не была... И в больницу в Рязани схожу, очки надо заказать — иной раз совсем ничего не вижу, так и ослепнешь...

Павел подождал, не скажет ли она чего-то еще, но мать молчала, и он, мельком посмотрев на нее, обиженно заморгал глазами.

Привыкший с детства к тому, что мать всегда действовала и говорила твердо, Павел плохо понимал теперешнее состояние матери, не решался вникать в него, оценивать, сочувствовать. Считал это даже неловким, бестактным. И теперь полностью полагался на мать: как решит, так и будет.

— Съезди, — как можно безразличней сказал Павел. — Разве я против? Это твое дело.

— Я ненадолго. Неделю, может, пробуду, самое большое. А ты за скотиной-то не посмотришь? И за домом? Ты ведь в отпуске сейчас?..

Павел открыл дверь и позвал:

— Катя!

Пришла Катя — с лицом, якобы озабоченным своими делами.

— Что такое?

— Мать хочет в Рязань съездить к Тамаре, а потом в райцентр к Люсе. Просит нас недельку там, в доме, похозяйствовать. Ты как? Не против?

Катя, переводя взгляд с Павла на Евдокию и догадываясь, что разговор у них несколько не тот, о котором она и Павел подумали, пожала плечами:

— А я что? Ты будешь корм давать, печку топить...

Павел засмеялся:

— Ладно, мать. Я похозяйствую. Поживу там один. Жену себе новую заведу!..

Катя подхватила шутку:

— Я вас оттуда кочергой обоих выгоню на мороз!

Евдокия, чтоб порадовать сына, спросила:

— Тебя, говорят, на место Михаила Архиповича ставят?

Павел неохотно ответил:

— Предлагают...

Катя сердито напустилась на него, жалуясь Евдокии:

— Он и сейчас целыми днями в мастерской пропадает или в поле. Дома — как квартирант. А тогда и ночевать перестанет приходить. А огород наш заброшенный. Летом огурцы сороки поклевали. Продали всего на две тысячи.

В кухню ворвался Димка, затормошил отца:

— Поехали на лыжах покатаемся! Ты же обещал! Там уж ребята катаются.

Павел встал, оборвал продолжавшую ворчать Катю, показывая, что он хозяин и решать ему:

— Ладно, нечего об этом!.. Договорились, мать. Ты когда поедешь?

— Да думаю — сегодня после обеда.

— Вот. После обеда приду, ты меня проинструктируешь.

Как ни хотелось Евдокии еще посидеть, поговорить с сыном, жалуясь и сомневаясь, доискиваясь до чего-то, что указало бы ей твердо и определенно, как ей жить дальше, но по лицам сына и Кати поняла, что после всего сказанного ею надо было и честь знать.

Павел проводил Евдокию на станцию. Шел мелкий косой снег, дергался холодный ветер, рвал над трубами грязноватый дым.

В гулком пустом здании вокзала, так хорошо знакомом с детства, Евдокия все напоминала Павлу, что он должен делать по дому и по хозяйству. Павел снисходительно усмехался:

— Да все я понял. Все сделаю! Что я, не знаю, что ли?

Когда подошла электричка, Евдокия по привычке ахнула и засуетилась, оглядываясь.

— Ты чего? — удивился Павел.

— Да это... Билет-то... Сумка...

— Билет у тебя в кармане. Сумка — вот она, — успокоил Павел.

Давно уже не ездила Евдокия на электричке, как все нормальные люди, всегда надо было успеть перекидать с дедом в тамбур пять-шесть тяжелых скрипучих мешков с огурцами, а дверь шипела, того и гляди закроется перед носом, и казалось, что дед особенно бестолков, слаб и неповоротлив.

Павел махнул ей рукой, дверь с шипением сомкнулась, и электричка дернулась. Евдокия прошла в полупустой теплый вагон и стала смотреть в окно, как поплыло назад заснеженное село и открылись белые поля с лесополосами и кустарником в оврагах, с вальяжно разлегшимися скирдами в нахлобученных белых шапках, курившихся белой пылью. Сначала она еще думала об оставленном доме, хозяйстве, о том, как справятся со всем этим Павел с Катей, и не забыла ли она что-то еще сказать сыну, но затем мысли пошли расплывчатые, неопределенные, мысли-воспоминания.

Тамара росла девкой толковой, рано стала помощницей: и младших нянчила, и в огороде работала, и по дому, подменяла Евдокию на ферме. Вот только торговать на станции соглашалась редко, неохотно. Стеснялась подружек, боялась, обзовут каким-нибудь нехорошим прозвищем, а она была девочка видная: крепенькая, как грибок, ладная, ловко плясала на сцене в школьной самодеятельности. А когда Тамара стала учиться в техникуме, помогала Евдокии довезти мешки с огурцами до рынка в Рязани. Но все как-то нервничала с этими мешками, у нее дружба была с Максимом, старшим сыном Годуна... Евдокия понимала, что девки все-таки больше обуза, чем надежные помощницы, и была рада, когда Тамара и Люся одна за другой рано вышли замуж.

И с Тамариной родней не очень-то повезло, считала Евдокия, как и с остальной. О Пашиной родне, Колдуне и Ольге, и говорить нечего — черти ей рады, такой родне!.. Борисовы мать с отцом, живущие в райцентре, тоже не подарок. Дом у них, куда вышла замуж Люся, свой, деревянный, за высоким забором. Сватья, неторопливая, с утиной походкой баба, встречала Евдокию с церемониями, то есть, поздоровавшись, поцеловавшись, надо было сесть на диван и долго слушать, как сватья, не глядя на нее, тусклым, равнодушным голосом говорила о своем здоровье, о хозяйстве, рынке, погоде, а сидевший здесь же сват в очках с сильными стеклами, за которыми виделись огромные, пугавшие Евдокию темные глаза, изредка поддакивал. Затем было медленное чаепитие, а за ним — длинные скучные жалобы сватьи наедине на Люсю, что и нерадива, и мало зарабатывает, и вообще с изъяном. Поездила к ним Евдокия поездила да и перестала. Тем более что Люся сама наведывалась, а в последние годы с Борисом и детьми совсем зачастили... Романовы мать с отцом в Рязани, она — педагог в музыкальном училище, а он — служащий в каком-то учреждении, наоборот, усадив Евдокию в своей старой квартире за стол, обязательно в комнате, а не на кухне, сами говорили мало, а все расспрашивали: о ее жизни, о Крутицах, о деревенских порядках. Каждый ответ ее выслушивали внимательно, не перебивая, и при этом как-то многозначительно переглядывались между собой или обменивались короткими, им только понятными словами. Причем надо было и говорить, и одновременно есть, а на столе много тарелок, вилок, ножей, рюмок и фужеров, в которых Евдокия путалась, потому что старалась не выставлять свои черные мужицкие руки, поскорее прятать их, и,

судя по переглядываниям свата и сватьи, что-то делала уж совсем не так: сват досадливо крякал, а сватья смотрела на него с укоряющей улыбкой. Тамара по возможности выручала Евдокию, подстраховывала, но было заметно, что и дочь за нее стеснялась... А если родня из райцентра или не дай бог из Рязани приезжала в Крутицы, то так с ними Евдокия уставала, стараясь угодить, как ни на одной тяжелой работе. Нет уж, ну ее, такую родню! Василий Васильевич, наверно, умно делал, что, как Евдокия ни звала его, не ездил ни к тем, ни к другим.

А ведь и Тамаре небось несладко было, хоть она всегда и делала вид, что довольна жизнью. Да что там говорить: выросла в нищете, а Роман — единственный ребенок в семье, рос, не зная особой нужды. Любил ходить в туристические походы, любил рыбалки, песни у костра. Он хорошо играл на гитаре, знал много песен. В таком походе они с Тамарой и познакомились... Он ее и сейчас в походы ходить уговаривает, да что-то она уж ленится, не хочет, потяжелела... В общем-то он парень неплохой, держался всегда просто в отличие от родителей... Вот почему его крик на поминках удивил Евдокию, это на него не было похоже. С чего вдруг? Наверно, правильно говорит Кукуня — все из-за денег.

Одно время дочери, нарожав детей, стали ездить реже, и Евдокии казалось, что всё — они отошли совсем, у них своя жизнь, семьи, пусть теперь живут как хотят. Так же, как постепенно отошли в свое время братья и сестры, разъехались, повыходили замуж, женились, живут кто в соседнем районе, кто в Рязани, в Красноярске, во Владимире, не всегда и открытки присылают к празднику, и сама Евдокия писать не охотница. Но с некоторых пор дочери опять потянулись к дому, к родным Крутицам.

Когда Евдокия отладила свое огородное производство, дававшее каждое лето после каторжного труда столько денег, сколько она раньше никогда даже и не видела, Тамара стала жаловаться на тесноту в квартире, на родителей Романа и, наконец, прямо попросила денег на кооперативную квартиру, пообещав летом помогать с Романом на огороде. Дала им Евдокия деньги, сколько надо было. И Роман стал приезжать на летний отпуск в Крутицы. Помощник он был не бог весть какой, с Пашей не сравнишь, и когда Паша с Катей ушли на квартиру, стало заметно тяжелей. Но и за этот летний отпуск, в котором он больше торчал на Оке с удочкой, Евдокия давала Роману шестьсот-семьсот рублей, в зависимости от урожая. Роман брал эти деньги и почему-то всегда непонятно усмехался. Может быть, если бы давала больше, он бы не усмехался и не раскричался тогда... Сама Тамара тоже помогала иногда, но у нее отпуск не всегда выпадал в нужное время. Роману хорошо, он учил детишек музыке в музыкальной школе, и отпуск у него всегда летом, большой, а Тамара — бухгалтер на заводе, работа нервная, ответственная, и отпуск по графику, как получится.

Люся узнала про деньги и тут же бесцеремонно подступила к Евдокии: «А мне?». Евдокия посоветовалась с дедом. Василий Васильевич почти всегда соглашался с Евдокией, и когда она ему предположительно говорила, как намерена поступить, вопросительно поглядывая на него, он молчал, покряхтывал, загадочно улыбаясь, или говорил что-то коротко и неопределенно. Значит, согласен. А если он был несогласен, начинал сердиться. Но так бывало редко.

Вот и в тот раз Евдокия, посоветовавшись с дедом, дала Люсе пятьсот рублей. Все равно деньги у Люси шли мимо кармана, впустую. Было раз, дала Евдокия деньги Люсе, а их у нее на работе украли. Рохля.

Но, дав Люсе деньги и заметив, как лицо дочери разочарованно вытянулось — та ожидала большего, Евдокия имела неосторожность сказать: «Вот помрем с отцом, все вам достанется...» И уж с тех пор

обе дочери стали чаще и аккуратней наведываться в Крутицы и оказались как раз под рукой Евдокии, когда Павел, вопреки ее желанию и даже угрозам, задумал жениться на Кате. Обе чувствовали в Павле опасного соперника. И если Евдокия всего лишь обиделась, надулась на сына и на нежеланную сноху, то Люся и Тамара не церемонились ни с Катей, ни с Павлом и добились — выжили их из дома Евдокии.

Если Павел с Катей, увидев у себя Евдокию, опешили, то Тамара, открыв дверь на звонок, почему-то сильно испугалась. Не отвечая на сказанное Евдокией: «Здравствуй, Тамара. А я к тебе», — Тамара разглядывала мать почти с ужасом. Побледнела, потом покраснела, беспомощно оглянулась назад, стоя в дверях и не приглашая войти.

Евдокия переспросила:

— Ну чего же, можно к тебе? Или ты теперь и на порог не хочешь меня пускать?

Тамара спохватилась, отступила, приглашая:

— Заходи, заходи. Как-то ты так... неожиданно...

— Да вот... собралась...

— Ты раздевайся, я хоть приберу немного в квартире... Только пришла с работы.

Тамара метнулась в комнату, прикрыв за собой дверь в прихожую, но дверь сама приоткрылась, и Евдокия увидела, как Тамара схватилась за голову, а затем лихорадочно забегала по комнате, убирая разбросанную одежду.

— Роман не пришел еще с работы? — спросила Евдокия, снимая пальто.

Тамара что-то коротко ответила, она и не поняла.

Сунув ноги в тапочки, Евдокия прошла в комнату. То же, что и у Паши: стенка, палас, телевизор, софа...

Тамара стала оправдываться:

— На работу ухожу рано, прибраться некогда. А Владик раскидывает все — парень, что с ним сделаешь. — Тамара немножко начинала успокаиваться, но еще как-то излишне суетилась, нервничала и избегала смотреть в глаза матери.

— Он еще в школе?

— В какой школе, мама, ты что? Он уже в институте учится на первом курсе. Он же летом приезжал в Крутицы, рассказывал. Все лето я за него переживала: то он готовился, то сдавал. Но, слава богу, поступил, вот скоро первые экзамены будут, в библиотеке сидит...

— А Роман-то, говоришь, на работе? — переспросила Евдокия.

— Он... в командировке, — сухо, с легкой заминкой ответила Тамара и забеспокоилась: — Ты небось проголодалась? Как доехала-то? Пойдем поедим чего-нибудь.

Только уселись за стол на кухне — в прихожей затилимкал звонок. Тамара так стремительно метнулась к двери, что даже стол зацепила, и на нем зазвенели чашки и тарелки. Дверь из кухни в прихожую Тамара тщательно прикрыла за собой.

«Да что она, заполошная какая-то нынче...» — подумала Евдокия.

Что-то Тамара в прихожей быстро говорила вполголоса.

— Дай хоть с бабушкой поздороваться, — ответил ломаный басок.

«Владик», — догадалась Евдокия и вышла в прихожую.

— О-о, бабуля, привет! — Владик, рослый, похожий на Пашу, с пробивающимися рыжими усами, чмокнул ее в щеку, потряс за плечи.

— Да не тряси ты бабушку, у нее и так здоровье плохое, — теребила его Тамара. — Тебя тут позвонить просили, повторяю тебе. Срочно. Иди сюда, у меня тут записано.

— Кто же это? Мужской голос?.. Леха, небось. Сейчас, бабуль.

Они ушли в комнату и там быстро, сердито зашептались, а Евдокия вернулась на кухню.

Не было их обоих слишком уж долго, но когда они вернулись, Тамара выглядела гораздо спокойней, чем раньше, зато лицо Владика было теперь злым и расстроенным.

— Ну как там, бабуль, в Крутицах? Снежок, тихо небось? Ока не замерзла?.. А этот, вождь краснокожих-то, как? Подрос уж, наверно?

Вождем краснокожих Владик прозвал Димку.

Небрежным жестом Владик подставил к столу табуретку, сел верхом. Спрашивал отрывисто, быстро, словно его подгоняли, не давая возможности Евдокии ответить как следует, смотрел на нее с улыбкой, но бегло, невнимательно. Плотно обтягивали его крепкое тело джинсы и рубашка с погончиками, купленные, между прочим, на деньги, которые дала ему на это Евдокия.

Владик послушал не бог весть какие деревенские новости, поел, скоро заскучал и ушел в комнату. Оттуда донесся звук зашипевшего телевизора, зазвучала музыка.

Евдокия, помолчав, негромко, но значительным голосом сказала:

— Ты, Тамара, обиду на меня не держи. Уж это я погорячилась, накинулась на вас...

Тамара смутилась:

— Да ничего, мама. Бывает, — и насторожилась, ожидая, что еще скажет мать, ведь неспроста же она оставила на кого-то дом и приехала к ней после вчерашней ссоры. Чего она хочет?

Но Евдокия больше ничего не сказала, и лишь когда Тамара, убрав со стола, стала мыть посуду, она просительным голосом заговорила:

— Тамара, я совсем ослепла, ничего иной раз не вижу. У меня очки есть, мамины еще, старые, на веревочке, они уж больно сильные. В них вижу лучше, да потом глаза болят...

Тамара пообещала:

— Запишу я тебя к врачу. Поликлиника у нас неплохая. Может, тебе вообще врачей обойти? А то ты какая-то бледная, похудела... Я договорюсь.

— А они возьмутся?

— В порядке исключения. Ты бы прихватила направление от Игоря Михеевича — было бы еще проще. Но ничего. У меня там есть знакомые, я договорюсь...

А потом долго сидели на кухне, перебирали судьбы знакомых, родственников, жаловались друг дружке на здоровье, на погоду, которая стала совсем непонятной.

И хоть разговоры были мирные, покойные, спать ложились с чувством, что малоприятного объяснения не избежать.

Вечером, когда рано стемнело, пошли в дом хозяйствовать. Димку с Галей хотели оставить в квартире, чтобы не мешали там, ведь Катя рассчитывала вернуться, а Павел — остаться в доме ночевать, но дети надулись, захныкали, и пришлось взять их с собой. Решили все там и заночевать.

Без Евдокии и Василия Васильевича дом казался особенно большим, неуютным и притихшим. Но включили свет, задернули шторы, засветился экран цветного телевизора, в зале подняли ералаш, расшалились Димка с Галей, а Павел, надев отцовские валенки и телогрейку, растопил печь, и дом ожил.

Павел сидел у печи и жмурясь смотрел на огонь. Красные блики бегали у него по лицу. Катя, тоже переодевшись, сидела у кухонного стола и искоса посматривала на Павла. Говорить ни о чем не хотелось, хотя обоим было не ясно, что задумала Евдокия и что будет дальше. Когда сегодня утром Евдокия ушла от них, немного поговорили, зачем это она едет к дочерям. Катя была убеждена, что Евдокия присматривает, где лучше — у Тамары или у Люси, Павел лишь пожимал плечами: «Поживем — увидим».

Никогда раньше Кате и в голову бы не пришло, что она будет работать на ферме, а одноклассник Паша Корешков станет ее мужем. Конечно, Паша всегда был надежный, спокойный парень, но казался каким-то тяжеловесным, пресноватым, не было в нем азарта, игры, полета. Трудно было его расшевелить пойти, например, пешком вдоль Оки в Старую Рязань с ночевкой — побыть среди скудных остатков сожженного Батыем прекрасного города и встретить рассвет, поехать в Рязань в цирк или на гастрольный концерт известного ансамбля, съездить в Окский заповедник — посмотреть его знаменитый музей, увидеть зубров и японских журавлей. Да мало ли что появлялось в горячей голове Кати! Другие загорались сразу. Но если Павел не ехал, поездка или поход редко удавались, что-то разлаживалось в компании: кто-то опаздывал, кто-то отставал, начинались ссоры. С ним же все проходило почему-то гладко, хотя он и песен не пел и не очень был разговорчив. Вот и мужем он оказался таким же: спокойным, надежным и каким-то еще нераскрывшимся полностью... По тому, как сразу изменилось отношение к ней баб на ферме, стало уважительным, даже почтительным, когда появилась всего лишь возможность унаследовать с Павлом хотя бы часть «миллиона» Евдокии, Катя поняла практическую силу и вес больших денег. Она и сама чувствовала, что в этом случае ей смешон уже будет тот, на кого она не так давно смотрела как на божество, и станет слабее боль все еще саднившего ожога. Большие деньги, полагала Катя, дадут возможность глядеть на все происшедшее с ней в Москве уже свысока и плевать будет на все разговоры о ней в селе, да эти разговоры тогда бы уж точно стихли. Обидно, что все это ускользало из рук, но оставалась надежда заработать столько самой. С Пашей это можно.

Стукнула дверь крыльца, в сенях кто-то долго возился, отыскивая в темноте ручку двери. Павел встал, чтобы открыть дверь, но она, наконец, распахнулась, и вошел Андрей Кириллович, весело поднял белесые брови.

— Добрый вечер. Ага, вот они куда сбежали! Зашел к ним — нету. К Михаилу Архипычу заглянул — не были. Ну где они еще могут быть? Конечно, здесь... А где Евдокия Степановна?

Катя насмешливо пояснила:

— В Рязань поехала, а потом — в райцентр. Присмотреть, где жилье получше.

Павел поморщился:

— Ну зачем ты так?.. Поехала мириться, как я понял. Мы же поцапались... Да вы садитесь! — спохватился он, заметив, что Андрей Кириллович переминается с ноги на ногу около двери.

Андрей Кириллович снял шапку, стряхнул с нее снег и сел на диван.

— Слышал про вашу бузу в подробностях. Уж все село об этом шумит. — Он засмеялся: — Что я тебе говорил, Павел? Не связывайся с бабами! Завертят, запутают — взвоешь!.. Ты слышал, что Лев Толстой про них сказал? Я, говорит, про баб такое знаю, что только перед смертью скажу. Скажу, и сразу в гроб, крышкой закроюсь, а то растерзают! — и он подмигнул Кате.

В дверь из передней высунулись Димка с Галей, посмотрели на Андрея Кирилловича и со смехом убежали.

— Значит, вы теперь тут расположились? Новые хозяева!.. Ну а корову держать будете? Огород, столько живности на дворе — справишься, Катя?

Катя грустно усмехнулась:

— Какие мы хозяева! Нам лишь покараулить доверили.

— Тебе говорил Павел, в библиотеке место освобождается? Так и быть, отпущу тебя с фермы, найдем какую-нибудь девочку на твое место.

— Мне нельзя в библиотеку, я же учусь в сельскохозяйственном, все никак не кончим с Пашей: то дети, то что... Надо работать по специальности.

— Ах, да! Ты же мой будущий зоотехник.

Павел слушал разговор, глядя на огонь и чувствуя на себе внимательный взгляд директора из-под белесых бровей.

Андрей Кириллович помолчал, покашлял и, вздохнув, решительно сказал:

— Ну вот что, Павел Васильевич. Хотел я тебе дать недельку отдохнуть, но ничего не получается. Кирьяныч больше не хочет подменять. Да и не надо больше, а то там за эту неделю все разболтается — и за год не разберешься. Давай завтра с утра приступай к обязанностям.

Павел переглянулся с Катей. Андрей Кириллович твердо спросил:

— Ну что же ты молчишь? Что вы переглядываетесь? Дело решенное. Остается только сказать: «Есть, командир!» — и за работу. И работать с удовольствием, с аппетитом, с азартом. Такой мужик здоровый, умный! Чего себя беречь? Чего тут с бабами воевать? Прокиснешь!

Катя посмотрела вокруг:

— А здесь кто будет?

Андрей Кириллович с язвительной улыбкой пояснил:

— Сама, Екатерина Михайловна! Привыкай, хозяйствуй. Думаешь, как же Евдокия Степановна большие денежки-то зарабатывала? Неустанными трудами!.. Моя жена насажала летом огурцов, а потом заныла — спина болит, руки болят, все старалась на мать спихнуть! Та ворчит, а пашет. Это же такие бабы! У них судьба, биография, характер. Куда вам до них! Вы еще не бабы, а так, суетливые бабенки. Вы уж держитесь за нас с Пашей, мы вам, глядишь, жизнь повеселей придумаем и без кубышки.

Катя смутилась:

— Да я не об этом! Все равно Евдокия Степановна продаст: и дом, и все... Я про эту неделю говорю, пока она там путешествует, что же мне тут — одной с крысами воевать?

Андрей Кириллович переспросил:

— Что? Евдокия Степановна продаст?.. Не смеши! Ты ее плохо знаешь. Я, как после института приехал сюда зоотехником, еще застал, когда она дояркой работала. Баба упрямая. Если, избави бог, кричать на нее, давить, обещать что-то невозможное или ходить вокруг да около, — упрется, не сдвинешь. Надо все в открытую. Тогда покричит, а все сделает что надо... Да она завтра прибежит, по корове соскучится! Знаю я этих баб, сколько я с ними в коровниках дискутировал! У меня и теща такая же — прилипла к дому, никак в гости не выпихнешь, с коровой боится расстаться, ну и с ребятишками нашими...

Андрей Кириллович огляделся и вдруг удивленно поднял свои белесые брови, наморщив большой, с залысинами, лоб:

— Между прочим, директор к ним в гости пришел, а они даже раздеться не предлагают! Хозяин сидит, в печку смотрит, хозяйка баснями кормит...

Катя покраснела и вскочила, оправдываясь:

— Да мы сами тут в гостях!

Спала Евдокия на раздвинутом диване какими-то урывками. Все казалось, что спать вволю нельзя: то ли куда-то опоздаешь, то ли что-то произойдет, пока будешь спать. Да и мешали новые в сравнении с родным домом звуки: музыка за стеной вдруг громко зазвучит, ребенок расплачется, загорланят на улице песню, громко хлопнет в тишине дверь подъезда. Иногда казалось, что Тамара на соседней кровати тоже не спит и плачет.

А под утро Евдокия разоспалась, проснулась, лишь когда Тамара, уходя на работу, зашла в комнату одетая. Сказала, что придет в шесть, объяснила, где что поесть.

— Владику к одиннадцати, так что можете пока спать, — и ушла.

Спать, конечно, больше не хотелось. Евдокия встала, умылась и... потерянно присела к столу на кухне. Владик еще спал, с головой завернувшись в одеяло, а завтракать одной не хотелось. Что было делать — непонятно.

Евдокия подошла к окну и долго смотрела с высоты седьмого этажа на соседние дома, машины, прохожих, на женщин, гуляющих во дворе с детьми или собаками. День был хмурый, шел снег.

Как там сейчас Павел? Наверно, уже печку истопил, накормил Пестраню, Сиротку, поросенка. Курам бы не забыл дать, они ведь не как поросенок, визжать и просить не будут. Утки разорутся, себя в обиду не дадут...

Евдокия оглядела кухоньку, загроможденную столами, шкафчиками, табуретками, полками, холодильником, плитой.

Удобная вещь — квартира, а все же с ее домом не сравнишь, там есть где повернуться. Но это сейчас просторно...

Наконец встал Владик, бодро покрякивая, пошучивая над собой и над Евдокией.

Сели завтракать. Сначала Владик, опять занятый только собой, вспоминал и расспрашивал о Крутицах, затем помолчал, взглядывая на Евдокию, и наконец спросил:

— Бабуль, ты теперь у нас будешь жить?

Евдокия пожала плечами:

— Не знаю. Вот как здоровье... Не будут ноги носить — и запросишься к людям.

— Конечно! Давай к нам.

— Да чего я тут у вас буду мешаться. Самим небось тесно?

— Ну что ты, бабуль! Вдвоем тесно?

— Как же вдвоем? Отец-то не век будет в командировке.

Владик поперхнулся чаем, закашлялся, покраснел. Евдокия постучала его по широкой спине.

После некоторого молчания Владик, прищурив глаз, вполголоса спросил:

— Бабуль, а у тебя много денег?

Евдокия посмотрела на него и ничего не ответила.

— Мамка говорит, тысяч семьдесят, а может, и больше. Неужели правда?

И на это Евдокия ничего не сказала, продолжая молча пить чай.

Владик сконфуженно почесал затылок, стал философствовать:

— Вот я иногда думаю: ну зачем человеку много денег? Тогда как-то сразу интерес в жизни пропадает. Допустим, у меня семьдесят тысяч. Зачем мне тогда учиться? Я бы купил, конечно, машину. Пальто бы кожаное. Ну всякие там фирменные тряпки... Ездил бы куда хотел... — Владик смущенно сморщился, украдкой взглянул на Евдокию, не смеется ли над ним, но она смотрела на него с большим вниманием, и он продолжал: — Вот сначала у меня вроде все хорошо получается, а дальше — ерунда какая-то. Учиться не надо, работать — тоже, все есть... А что делать?

— И будешь ты бродяга, — грубо оборвала его Евдокия.

— Ну так уж и бродяга. Путешествия развивают личность... Я бы читал книжки, только те, которые нравятся. Нашел бы какое-нибудь занятие, работу, не для заработка, а для души... Нет, бабуль, я бы стал жить интересно, если бы у меня была куча денег. Придумал бы что-нибудь!.. — Владик помялся и, опять прищурив глаз и смущенно улыбаясь, спросил: — Бабуль, а тебе зачем столько денег? Машина тебе не нужна, одеваешься ты не очень, никуда не ездишь из деревни...—

Евдокия не отвечала, но Владик настойчиво повторил: — А, бабуль? Все-таки интересно.

Евдокия ответила с неожиданной даже для самой себя резкостью:

— Вот ты заработай сам столько денег, тогда и поймешь, зачем они.

Владик покраснел:

— Ты не сердись, бабуль. Это я так... Просто в голову пришло. Ладно. Ты уберешь со стола?.. Пойду в библиотеку, грызть гранит науки, раз уж у меня денег нет.

Владик ушел. Евдокия с досадой думала о внуке. Вроде бы неплохой парень, а вот какой-то устойчивости нет, как будто из него стержень какой вынут, все время вихляется, только собой и занят. Такой здоровенный парень, а несамостоятельный, не взрослеет, разговаривает, как будто все еще ребенок. Приедет в Крутицы и на Оке загорает или телевизор смотрит, редко поможет на огороде, неохотно, не вникая в дело. Небось потрудился бы, и сразу в глазах смысла бы добавилось, не вихлялся бы так. Понимал бы другого человека, горе его чувствовал...

Бог с ним. Чем-то они, молодые, своим живут. Жизни-то настоящей не пробовали. Слишком легко все дается. За брюки сто пятьдесят рублей отдали, но ведь не его. Попробовал бы, как она, походить по вагонам с кастрюлей да отдать потом деньги матери, ну а на то, что она даст, и купить. В колхозе бы поработал за палочки, пожил бы не в готовой квартире, а в той избушке. Вот и не спрашивал бы, зачем ей деньги.

Казалось, что в избушке на берегу поживут они с Василием год-другой, а прожили почти пятнадцать лет, лучшие свои годочки. Да еще упрекали их, что вот, мол, колхоз дом вам подарил. А в этом доме, когда сложили русскую печь да пошли дети, и повернуться негде. Рослая Евдокия все как-то там сжималась, пригибалась... Евдокии неловко было перед Василием за эту бедность, словно бы она что-то наобещала ему, а не выполнила. А в чем ее вина? Она ведь работала как все, да что толку. Одна надежда была на свой огород, коровку да на «тещину станцию». Вот Евдокия и крутилась — страх подгонял: «Не пропасть бы, детей не потерять»... И себя мучила, и Василия, Колю не уберегла и Люсе жизнь испортила. Металась, как заполошная. А там еще Годун...

Теперь Кукуня: «Зла на него не держи!..» Она уж все забыла, все простила, помнит только, как песни пели. Было, пели. Запели, когда дояркам начали хорошо платить, когда уж состарились.

Но Евдокия чувствовала, что теперь, в отдалении, в городской чужой квартире, неприязнь к Годуну смягчилась. Сердилась она по привычке, пытаясь перед кем-то оправдаться. Вспышка злости проходила, Евдокия понемногу опамятовалась. Чего махать кулаками после драки... Ведь не всегда же ругался Годун. Да и работа была как раз по ней — вволю. Наработаешься, накричишься с заведующей фермой или тем же Годуном — идешь качаешься, руки-ноги гудят, но отрадно: уж поработали так поработали. Вставать надо рано, все рассветы твои, вся свежая прелесть ранних летних восходов, усталых, умиротворяющих закатов над Окой-красавицей. Рядом — бабы, ловкие, неунывающие, и обругают в благую минуту, и подбодрят.

А на своем огороде хоть и тяжело, но чем хорошо — дела эти послушны уму и рукам: как задумала, так и исполнила. Сама себе и начальник и работник, сама планую и выполняешь. Не то что в колхозе, а затем в совхозе — там кричишь, кричишь годами, пока какой-нибудь водопровод или кормораздатчик в коровнике появится. Потому и пошли Евдокии такие деньги в карман, что она расторопная в отличие от Годуна-директора.

Может, сейчас-то и надо было бы остановиться, деда поберечь, но уж страх-то от той нищеты, от жизни впроголодь в крови сидел,

поди, еще с молоком матери впитался, хотелось подальше, понадежней убежать от него.

Евдокия не торопясь вымыла посуду, подмела пол, посмотрела в окно на белый двор, прохожих, собак, голубей. Ветер раскачивал ветки деревьев, кидал снежинки к самому лицу Евдокии. Иногда снежинки замирали и быстрей, быстрей долго шли вверх, словно бы само время, спохватившись, решило двинуться назад, вернуть прошлое и идти к нынешним дням другой дорогой. Если б это было возможно...

Если б это было возможно, думала Евдокия, то заново она бы прошла эту дорогу тихо и мирно, без суматохи, сберегла бы Колю, жалела деда. Так ли уж надо было надрываться? Ведь не все же так рвались, не все изводили себя заботами. Что же она оказалась такая испуганная?.. Дед ходил, посмеивался: «Хорошо жить!» Конечно, после страшной войны ему небось все хорошо казалось, он и избушкой той был доволен, все его устраивало. Или он знал, что жизнь сама вот так повернется и не надо очень уж надсаживаться? А чего молчал?.. Евдокия усмехнулась: а если бы и не молчал. Вряд ли она слушала бы его, вряд ли могла бы стать умиротворенной, спокойной, как и сам дед. Нет, не такая она. Ей дело было нужно, такое, чтоб захватывало, чтоб можно было полностью применить и природную сметку, и большие жаждущие труда руки.

До шести часов, когда придет Тамара, оставалась уйма времени.

«Это что же, я так и буду всю зиму в окно смотреть?..» — Евдокия даже засмеялась, представив всю немыслимость такого положения.

Утром, после планерки в кабинете директора, где Андрей Кириллович представил Павла как нового управляющего главным специалистам совхоза, поехали с директором в контору отделения.

Андрей Кириллович уже не улыбался, не шутил, сухо и деловито называл Павла Павлом Васильевичем, был отчужден и озабочен делами. Подъезжая к конторе отделения, заговорил:

— Вот что, Павел Васильевич. Ты заруби себе на будущее: мы с тобой не раз схватимся. Ты еще, как бы это тебе сказать попонятней, — молочно-восковой спелости. Материал необработанный, просто хороший парень. А этого сейчас мало. Есть в тебе ненужное, какая-то неопределенность, расслабленность. Я это из тебя буду выжигать каленым железом, чтоб ты был зрелый, собранный, деятельный и полон оптимизма и веры в торжество нашего дела. Усек? — он подмигнул. — Чтоб мне — без капризов, без скрытности, без обид!.. «Москвич»-пикап тебе выделяю. Он, правда, стоит на приколе, агроном его добил, но ты починишь, не маленький... Даю тебе две недели, чтоб вникнуть во все, а потом жду твоих предложений, что надо сделать в отделении. А то Годун тут, надо сказать, больше разговаривал, чем действовал. Думай и действуй смелей, азартней. Усек?

Павел нервно поправлял то шарф, то шапку, думая, что, может, права была Катя, когда предлагала хоть для первого дня надеть пальто, теплые ботинки, даже галстук, а он же, как и вчера, оделся в полушубок и валенки. Может, это сейчас уже несолидно?

Когда подъехали к конторе и вышли из машины, Андрей Кириллович смущенно почесал затылок:

— Хотел сегодня и Годуна взять, чтоб он тебе, как говорится, из рук в руки при всех передал дело. Потом вспомнил — он же твой тесть. Показалось, как-то это... неловко вроде. Ладно! Мы ему проводы в клубе устроим, все-таки он — эпоха в жизни совхоза!

«Малый генералитет», предупрежденный, что приедет директор с новым управляющим, был в сборе. Сидели, как обычно, на стульях вдоль стен. Все с любопытством уставились на Андрея Кирилловича и Павла.

Поздоровались и, сняв шапки, прошли к столу. Андрей Кириллович, положив руку на плечо Павла, улыбнулся:

— Вот ваш новый управляющий. Прошу любить и жаловать.

Достал из кармана листок, развернул и зачитал приказ по совхозу о назначении Корешкова Павла Васильевича управляющим Крутицким отделением. Затем стал говорить то, что и говорят в подобных случаях: все его хорошо знают, задачи перед отделением большие и прочее.

Павел чувствовал, что «малый генералитет» особенно внимательно и по-новому смотрит на него, теперь ведь с ним работать. Сначала Павел, хмурясь и смущаясь, опускал взгляд, давая возможность посмотреть на себя, затем поднял голову и обвел всех глазами.

Толстенький Кирьяныч в лоснящейся телогрейке сразу заморгал. Он пообижается немного на Павла и на директора, потому что сам рассчитывал на это место — ведь тоже скоро на пенсию, а тут зарплата гораздо выше, — но затем будет таким же почтительным, старательным и незаметным... Сидевшая рядом с Кирьянычем могучая тетя Нюра, в зеленом солдатском бушлате и теплом платке, торопливо заморгала глазами и даже покраснела. О чем она думала, глядя на него, небось о тесте, о Кате, матери, их недавнем скандале? Баба она крикливая, но открытая, невредная... Зоотехник Удальцов, высокий, с непроницаемым, смуглым и худощавым лицом, в темной летной куртке с рыжим меховым воротником, медленно опустил глаза к вытянутым далеко вперед ногам в валенках. Он любитель выпить и чувствует — будут у него с новым управляющим неприятности... Юрка-Кукушонок подмигнул Павлу. Теперь он звеньевой, ребята выбрали. С ним они поймут друг друга с полуслова, но придется, наверно, иногда ему втолковывать, что дружба дружбой, а... Зотов, бригадир скотников, с красным, мужественным и злым лицом, глаз не отвел. С этим будет непросто, мужик хваткий, наглый. Годун не выдерживал, уступал его нечистоплотной нахрапистости... Бухгалтер Люба сидела рядом со своим отгороженным шкафами уголком. Люба разделась, причесалась и, сложив руки на полных, туго обтянутых юбкой коленях, поглядывала на Павла и встревоженно, и с улыбкой. Знала, что Павел к ней неравнодушен. Муж ее работал шофером, и Люба иногда что-то там ему приписывала в документах, все догадывались, но Годун закрывал на это глаза... Агроном Костя едва заметно улыбнулся...

Павел пробежал взглядом по всем сидевшим в комнате, с кем ему теперь придется работать в ином качестве, чувствуя, что начался новый этап в его жизни, и, распушив усы, глубоко вздохнул, как перед дальней дорогой. Он еще не представлял, что вскоре станет совсем другим человеком и о себе сегодняшнем будет вспоминать иногда с той улыбкой, с какой вспоминают детство или школьные годы.

Тамара вернулась с работы возбужденная. Отдав Евдокии сумку с продуктами: «Поставь там на кухне!», сняв пальто и сразу подойдя к зеркалу, она стала торопливо, но тщательно причесываться, оправлять новое темно-красное шерстяное платье, которое шло ей, молодило ее, подтягивало плотную ее фигуру. Ноги не сунула в шлепанцы, как обычно, а надела домашние, на каблуке туфли. Не глядя на мать, озабоченно спросила:

— Владик еще не приходил?

Евдокия забеспокоилась:

— Нет. Случилось чего?

Тамара наконец заметила свое возбуждение и попыталась взять себя в руки, прошла в комнату.

— Да нет, ничего... Ты хоть обедала тут? — и как бы между прочим, небрежным тоном сообщила: — Роман звонил, он сегодня приезжает.

— Ну и слава богу. Я ведь все равно думаю завтра уехать. Ночку эту переночую, а уж утром поеду. Чего мне тут мешать-то?

Тамара в обиженном недоумении подняла брови:

— Да ты совсем не мешаешь! Как же ты поедешь — я в поликлинике договорилась на послезавтра: и к глазному, и вообще... Лекарства надо купить...

Евдокия твердо повторила:

— Нет, Тамара, я завтра поеду. Я потом приеду еще, а сейчас не могу. Как-то мне не по себе: дом бросила на Пашку, хозяйство... Надо еще и к Люське заехать. Я завтра к ней заеду на часок — и домой.

Тамара усмехнулась и, не глядя на мать, сообщила:

— Люся уж звонила мне. Я говорю: «Мать ко мне приехала»... А она понесла такое... Шуток совсем не понимает. К прокурору, говорит, пойду, к судье, в Москву поеду, а свой пай получу.

Громко, уверенно забился в прихожей мелодично-тревожный звонок. Тамара, сидевшая как на иголках, побледнела и пошла к двери.

Вошел Владик, и Тамара сердито набросилась на него:

— Ты что звонишь? У тебя ключей нет?

Владик опешил от неожиданности:

— Да я не знал, что ты уже дома. Думал, бабуля откроет. А чего ты злишься?

Тамара направилась в другую комнату.

— Поди сюда, мне надо тебе кое-что сказать.

— Все какие-то у тебя секреты. Надоело это все!

— Владик! — прикрикнула Тамара.

Владик, ворча, разделся, и они ушли в другую комнату.

В дверь опять позвонили. Быстро вышла Тамара, оглядываясь и говоря на ходу:

— ...Это не твое дело. Мал еще матери указывать!

В открытую дверь прихожей Евдокия видела, что вошел Роман в куртке, вязаной лыжной шапочке, джинсах, с черной сумкой на плече.

Евдокия вышла в прихожую. Роман ернически низко поклонился:

— Приветствую, теща! Давненько не видались. Не соскучилась по рабочей силе?

Роман похудел, даже постарел, глаза усталые, в усах и на висках добавилось седины, а почему-то это раньше не замечалось. Не за две недели же это все с ним сделалось?.. Но все-таки в своей куртке, свитере и джинсах, худощавый и подвижный, он выглядел скорее старшим братом Владика, чем мужем плотной, крепкой Тамары.

— Чего это ты такой? — одернула его Тамара.

— Какой? — насторожился Роман и даже оставил в руках куртку, которую собирался повесить. — Я тебя предупреждал по телефону, что не собираюсь тебе подыгрывать и извиняться ни перед кем не буду ни за какие тыщи. Сразу всем говорю. Потому что виноватым себя ни в чем не считаю!

— Ты что, выпил?

— Нет! Я трезв, как никогда, и в своем уме. Так что ты зря меня пригласила. Может быть, мне уйти? Или опять «уехать в командировку»?

Роман вызывающе смотрел на Тамару, а она покачивала головой.

Вышел из комнаты Владик:

— Здравствуй, папа.

— Привет, — кивнул Роман. — Все в сборе. Теща, не удивляйся, тут у нас нескучно, а ты небось и не знала?

— Чего дурака-то валяешь? Заладил: «теща, теща», — повысила голос Тамара. — У нее имя есть. Уж очень быстро его забыл! Повесь куртку, пройди, поговори по-человечески. Ты же мужчина, тебе скоро сорок лет будет, а ты все прыгаешь, как мальчик.

Роман почти закричал в ответ:

— Я не хочу так взрослеть, как тебе надо: деньги грести лопатой с утра до вечера, под ручку в гости ходить к твоим бухгалтерам, про оклады сплетничать. Или про квартиры.

Владик пытался вмешаться в спор родителей, что-то сказать, но лишь кривился, болезненно мычал сквозь зубы, уходил в комнату и опять возвращался.

Евдокия, опустив голову и устало прислонившись к стене в прихожей, слушала препирательства и думала, что Кукуня как в воду глядела — они грызутся, какая-то у них тут своя каша заварилась. Вот почему Тамара и не звала ее к себе.

Евдокия строго сказала Тамаре:

— Ну что ты сразу налетела на человека! Он только приехал, с дороги. Дай ему умыться, покорми...

Роман саркастически засмеялся:

— Нет, Евдокия Степановна, ты ничего не поняла. Ни с какой я не с дороги! — он сбросил ботинки, прошел в комнату и огляделся каким-то чужим взглядом.

Евдокия тоже зашла в комнату.

Тамара, стоя в полумраке прихожей, со слезами заговорила:

— С какой дороги, мама! Неужели ты не понимаешь? Он у матери живет. Все за мамину юбку держится. Ушел от нас еще два месяца назад, хлопнул дверью! Мы с Владиком его обидели — игрушку ему не купили. Он, видишь ли, катер захотел, а не дали — он к маме.

— Не в катере дело! — взорвался Роман и заходил по комнате. — Не надо из меня дурачка делать! И Владика сюда не цепляй. Я тебе не раз говорил, предупреждал, а ты гнула свое. — Он кричал и на Тамару, и на Евдокию. — Вам лишь бы деньги заколачивать, человек вам неинтересен, лишь бы он работал! Ухнулся бы с головой в огурцы и греб деньги в кубышку. А зачем? Никто не знает!

Тамара с заплаканным лицом высунулась из прихожей:

— Какую кубышку? Парню костюм купили — не в чем в институт ходить. Ну, мне — дубленку, в кои-то веки. Сбылась наконец моя давняя, девичья мечта!.. Тебе и лодку резиновую покупали, и мотоцикл, и мормышки твои всякие. Теперь он катер захотел построить!.. Мне не денег жалко, но надо же и о доме думать. Хорошо вот мама квартиру нам купила, а то так и жили бы у твоих родителей, ютились в комнатке. Что же ты за мужчина, за глава семьи? Почему я должна об этом думать? Ты привык за чужой спиной!..

— Я за эту квартиру теще отработал. Четыре года отпуска не видел — на тещином огороде вкалывал. Сколько еще можно?

— Четыре года она тебе платила за это! На какие шиши ты мотоцикл купил, катер начал строить? Из-за чего этот спор начался? Из-за твоей зарплаты, что ли, копеечной?.. Теще он помогал! На речке с удочкой торчал!

— Знаю я, чего ты хочешь! — Роман садился в кресло, даже ногу на ногу клал, но тут же вскакивал. — Тебе бы тряпки на себя навешать, а я должен машину подать к подъезду, ты бы в нее села, чтоб соседи все позавидовали. Вот чего ты хочешь! И на курорт, на юг поехать. «Отдыхать, кушать фрукты...» Меня от этой картины тошнит!

Тамара выскочила из прихожей и зачастила, прямо глядя в глаза Роману и взмахивая платком:

— А тебе бы все у костров бренчать на гитаре? Хватит! Мы давно уже вышли из пионерского возраста. Я хочу провести отпуск, как все люди. Да, у моря! Платье хочу надеть, по бульвару погулять.

— Сколько раз я пытался в филармонию тебя вытащить, музыку послушать! Ведь это моя профессия, работа моя.

— О-ой, подумаешь — композитор. Самодельный! Песни он свои у костра поет. Что-то их вон по телевизору не поют!

— Надела бы свои платья, похвасталась, хоть на умных людей

посмотрела. Что вы! Она лучше будет сидеть здесь, в четырех стенах у телевизора. Да с тобой взвоешь от тоски!

— Чего я потащусь в филармонию? Не понимаю я той музыки. И не из-за этого ты к своей маме убежал... Он еще над тещей издевается. Дала бы она тебе побольше — и был бы как шелковый. Вот и вся твоя принципиальность, весь твой гонор!

— Я их заработал! — защищался Роман. — Мне чужие деньги не нужны!.. А вот ты зачем меня сюда сегодня позвала? Хочешь деньги у матери к своим рукам прибрать?

— Деньги — это ее дело! Она сама ими распоряжается как хочет. Мне перед матерью стыдно, что помочь ей не могу. Она одна осталась... А я тоже хочу, чтоб у меня семья была, чтоб у Владика отец был. Я и пытаюсь вот склеить все это. А раз не выходит — и черт с ним!

— Спина тебе моя нужна! Хочешь мать заманить с деньгами, а на моей спине огород пахать! Перед соседями тряпками, коврами хвастаться. А меня жалкими подачками ублажать. Вот чего вы хотите. Для вас мужик — это лошадка рабочая.

Тамара, успокаиваясь, заговорила насмешливо:

— Заездили тебя. Сам говорил, что Крутицы лучше всякого курорта. Чего тебе еще надо — Ока, рыбалка, свежий воздух, питание на убой. Ты что, пахал там, что ли? Огурцы полить из шланга — тяжело? Мешок поднять — не по силам? Что же ты за мужчина! У тебя вон живот уже начинает расти, за ремень перевешивается. — И с показным равнодушием закончила: — А не хочешь, и проваливай. Мама думала, наверно, ты умный, порядочный человек, а ты трепло скандальное. Мальчик с удочкой. Мы и без тебя обойдемся. Я, дура, все стеснялась, вот люди узнают: муж ушел. Позор какой. Перед матерью стыдно. Уговорила его хоть на похороны поехать со мной... А теперь уж все знают. Ну и ничего. Будем жить дальше. А ты иди к маме.

Роман помолчал и продолжал уже без вдохновения:

— Хитрые какие... Пахать на мне. Ничего не выйдет.

Видя, что оба выдохлись, Евдокия спокойно сказала:

— Послушала я вас и вижу, скандал ваш на пустом месте. От нечего делать. Жить я у вас не собиралась... Чего вам не хватает? Денег? Я вам дам.

Роман сердито отмахнулся:

— Мне не нужно. Я и сам заработаю.

— Если не хотел летом приезжать, тебя никто и не неволил, — продолжала Евдокия.

Тамара с досадой усмехнулась:

— Мама, не в этом дело. Неужели ты не понимаешь?

— Да, не в этом дело, — подхватил Роман и обратился к Евдокии: — Она хочет заставить меня жить по-своему, как ей удобней. Прислуживать ей!

Тамара устало ответила:

— Нужен ты был, заставлять тебя. Теперь ты вольная птица. Летай, как хочешь.

Владик подошел к отцу, тихо попросил:

— Пап, давай доделаем катер. Мы бы к бабушке по Оке поплыли.

Тамара, как бы подводя итог разговору, вытерла глаза платком насухо, села около Евдокии и сказала:

— Теперь я все поняла. Думала, из тебя мужчина выйдет... Иди к своей маме.

Евдокия, улыбнувшись, попыталась закончить все миром:

— Ну, полно вам. Уж скоро будете дедом с бабкой, а ругаетесь как маленькие. Давай-ка, Тамара, собирай ужинать.

Роман упрямо пошел в прихожую.

— Нет, спасибо. Я ухожу. Я все сказал.

Евдокия хотела было встать и пойти за ним, но Тамара сердитым знаком остановила ее: мол, не надо. Владик же вышел к отцу.

Роман еще что-то пытался говорить из прихожей, но Тамара и Евдокия не отвечали ему. Он оделся, потоптался, что-то ворча, и ушел.

Долго сидели молча. Владик постоял в дверях, повздыхал и ушел в другую комнату.

Наконец Тамара сказала, повернувшись к матери:

— Ну вот. Теперь ты все знаешь — и на душе стало легче. А то ночи не спала, все думала, планы составляла. Уж черт знает что в голову полезло.

Евдокия неприязненно спросила:

— А что же ты таилась? Съела бы я тебя?.. Нужны деньги — попросила бы. Сама знаешь: дитя не плачет, мать не разумеет...

Тамара покраснела и с досадой зачастила:

— Ну что ты все о деньгах, мама! Разве только в них дело?.. Ты нас с Люськой выпихнула из дома, выдала замуж — и с плеч долой. Как мы живем, о чем думаем — не твоя печаль. Едешь к тебе в субботу или в воскресенье, думаешь — отведу душу с матерью, поплачусь, пожалуюсь, разберусь в своей жизни с твоей помощью, а до тебя и не достучишься!.. — голос Тамары сорвался, и она снова достала платок.

Евдокия удивленно подняла брови:

— Да чего же всё к нам с дедом липнуть? Дали бы нам-то пожить! Вы уже сами матеря́, у вас семьи. Крути́тесь, мозгуйте. Нам с дедом и самим несладко жилось, а мы все же постоянно вам помогали: и мясо в сумки вам пихали, и картошку, и варенье. Денег сколько передавали. Что же — все мало, что ли?

— Не об этом я говорю, мама! — всплеснула руками Тамара. — Ты уж совсем ослепла со своими деньгами! Ты бы хоть раз приехала не на рынок, а к нам, не бежала бы на электричку, а посидела, расспросила: как, дочка, живешь, а ты как, зятек? Время какое-то пришло: суетня, беготня, никому и дела нет до твоей жизни. Мы вот на работе сидим в комнате четыре женщины. Вроде бы все знаем друг о дружке, а на самом деле — ничего. Сплетни только собираем. А чтоб кто-то тебе душу открыл или ты сама открылась — да ни за что! А ведь на душе-то накопилось всего. Может, мы бы с Романом выговорились при тебе, нам бы и легче стало. Вот он ушел к матери, а я не пойму, почему ушел. И он толком не может сказать. Если бы только в деньгах дело, в катере каком-то!.. Мы вдруг чужие с ним стали: он сам по себе, у меня свои заботы, о которых он и слышать не хочет. Я и о доме думаю, и о сыне, и о работе. А он уж если не помогает, то хоть бы словом подбодрил! Он же мужчина!.. Что ты, его самого надо утешать!.. К тебе приедешь, ты думаешь небось: ну, опять прикатила за деньгами или за мясом... С отцом, бывало, не разговоришься... Люська мне твердит, что она тебя боится. Значит, ты с ней еще хуже обращаешься, чем со мной. А ей тоже несладко живется: детей четверо, Борис ее — ни рыба ни мясо, выпивоха и трепло. Конечно, тут и начнешь думать, что было бы денег больше — и жилось бы лучше...

Евдокия слушала сбивчивые, путаные оправдания и обвинения дочери, искоса хмуро поглядывая на нее. Не выдержав, перебила:

— Тебя послушаешь — прямо никакой жизни, впору вешаться или головой в омут. Какого рожна вам еще надо! Квартира хорошая, зарплата подходящая у обоих, надеть есть чего, холодильник полон стоит... А хочешь много зарабатывать — переезжай обратно в Крутицы, иди в доярки, бери огород, потрудись, побейся. Чего сидеть тут в четырех стенах, киснуть да лаяться! Чего около чужих денег крутиться, ждать, когда мать помрет! Душа у них болит. Уж больно вы завидущие стали, цепкие, быстро на готовое набежали!..

Тамара, отвернувшись, холодно сказала:

— Ты, мама, и сама хваткая. Тоже мимо рук не упустишь. А мы — твои дети.

— Я около чужих денег не вилась! Я их много лет трудом добывала, спиной. Голову ломала.

Тамара, не решаясь, боясь смотреть в глаза матери, спросила:

— Ну а зачем они тебе сейчас?

Сквозь обиду Евдокия уловила, как утром у Владика, искреннее недоумение дочери.

— А затем! — вспыхнув, гневно крикнула Евдокия. — Не твое дело! Я перед тобой отчитываться не буду.

Обе замолчали, чувствуя, что дошли до какого-то опасного края и продолжать этот разговор дальше нельзя.

Сидели две женщины, опаленные горем, мать и дочь: у одной муж умер, у другой — муж ушел из дома. Горе было неравное, но свое каждой казалось главным и более сильным, и каждая удивлялась тому, что ее боли другая не видела, не чувствовала, а занята была только своей.

Тамара вздохнула, что-то прошептала и, опустив глаза, ушла в прихожую. Переоделась там в халат и шлепанцы и загремела на кухне посудой. Евдокия рассеянно потирала нывшие кисти рук. Побаливало и плечо, ушибленное о мерзлую землю во дворе.

Как Евдокия ни отказывалась, Тамара настойчиво увязалась проводить ее утром до автостанции. Евдокии поскорее хотелось остаться одной, «на воле», а не в чужой, нагонявшей тоску и смертную скуку квартире. Простившись с Владиком, который что-то сонно пробормотал из-под одеяла, Евдокия с облегчением вышла из квартиры.

Ночью нападал свежий снег, и дворники скребли асфальт широкими металлическими лопатами. Было еще сумеречно, редкие снежинки крутились у горевших фонарей. Светилось множество окон, а вот небо пустое какое-то, словно его здесь и не было.

В последние годы Евдокия нередко ловила себя на чувстве жалости к горожанам: уж очень у них жизнь узкая, везде рамки, все стесняет — все эти лифты, светофоры, каждая копейка на счету, очереди в магазинах. Нет, она бы не смогла так жить, она привыкла к вольной воле в Крутицах, к простору, к возможности трудиться в полную силу — и головой, и руками — и хорошо зарабатывать.

К троллейбусной остановке шли молча среди множества таких же спешивших людей. Тамара в дубленке важно вышагивала рядом с Евдокией. И вчера вечером больше ни о чем серьезном не говорили. Хмурая Тамара, а за ужином и Владик все посматривали на Евдокию, все чего-то ждали от нее. Чего? Утешений? Советов?.. Почему они собой только заняты, досадовала Евдокия. Почему так быстро забыли отца и не думают, что ей-то сейчас потяжелее?..

Народу на автовокзале оказалось немного, теперь не лето. Взяли билет, автобус шел через сорок минут. Вышли на улицу.

Евдокия забрала у Тамары свою холщовую сумку, куда Тамара положила гостинцев для Люсиных ребятишек, и грубовато сказала:

— Иди, иди, чего тут без толку торчать со мной.

— Да, я пойду, а то еще на работу опоздаю. — И как бы между прочим Тамара спросила: — Ты от них домой?

Евдокия догадалась, что Тамара хочет узнать, что она намерена делать дальше, как жить, но ответила сдержанно:

— Да, переночую и домой.

Тамара смотрела на нее, ждала еще чего-то, и Евдокия, смягчив голос, добавила:

— Я приеду еще, вот отойду немного после отца... — Помолчав, Евдокия спросила: — Может, мне самой к ним съездить? — и неопределенно кивнула в сторону городских улиц.

Красивое лицо Тамары под меховой шапкой-стожком жалко обмякло, постарело, и вся она, только что гордо шагавшая рядом с Евдокией в дубленке, устало сгорбилась.

— Не знаю, — прошептала она, глядя себе под ноги. — Я ничего теперь не знаю. Пустота какая-то... Что будет, то будет.

— Ну, ты уж совсем раскисла, — рассердилась Евдокия и вдруг сказала то, что хотела еще хорошенько обдумать: — Да дам я вам денег, дам. И на катер ваш хватит, и на машину. Только ты сама-то крутись, поворачивайся, не кисни. Похитрей будь, повеселей. А то что же это — мужик из дома... Ну ладно, ладно. Иди.

В глазах Тамары, когда она посмотрела на Евдокию, стояли слезы, губы прыгали, но не только от обиды и отчаяния она плакала, уже и радость, благодарность светились в глазах.

— Иди, иди, — грубей повторила Евдокия, боясь, как бы дочь не расплакалась, не разрыдалась тут, на людях. — Люське не говори ничего пока, если будет звонить. Мол, едет к тебе.

Евдокия смотрела вслед Тамаре, которая шла к остановке и иногда оглядывалась, махала рукой. Походка дочери снова стала собранной, бодрой. «Ничего, эта — баба крепкая, не рохля, в меня. Выкрутится...»

В теплом автобусе, глядя на плывущие мимо снежные поля, лес, деревни, Евдокия расслабленно, сквозь дремоту вспоминала Крутицы, свой дом, как о чем-то не так уж и важном думала о распре с Годуном. Очнулась, когда автобус подъезжал к райцентру, где на окраине белели кварталы невысоких каменных домов. Вскоре пошли улицы деревянных домов с заборами, садами, дворами, деревьями под окнами. Эти улицы районного городка издавна, еще с довоенных времен, нравились Евдокии своей основательностью, степенностью, уютом.

К полукруглому окошечку кассы на автостанции стояла небольшая очередь, за стеклом Евдокия сразу узнала Люсю в синем форменном костюме: дочь сидела вполоборота к окошечку, правым боком и, не глядя на людей, брала деньги, нажимала на кнопки стоявшей перед ней на столе машинки. Лицо у Люси казенное, сухое, видно, что она думает о чем-то своем, невеселом. Евдокия помаячила сбоку перед окном, но так как Люся не смотрела на людей, встала в очередь.

Люся не подняла глаз на Евдокию, когда она оказалась перед окошечком, а нетерпеливо похлопала ладонью по каменной мелкодонной тарелочке. Не видя на тарелочке денег, Люся подняла наконец глаза:

— Что, язык отсох, что ли?

Узнав мать, ахнула, схватилась за щеки, часто-часто заморгала наполнившимися влагой глазами и жалко улыбнулась. Евдокия отошла в сторонку.

Люся выскочила в дверь в наброшенном на плечи пальто. Евдокии неловко было даже смотреть на дочь: Люся покраснела, растерянно и виновато улыбалась, а в глазах — и недоумение, и радость, которую она почему-то старалась погасить. По тому, как поражало детей ее появление, Евдокия понимала: никак не ожидали, что она первая придет к ним, да еще так скоро. Значит, плохо они ее знали, принимали за другую. И все больше убеждалась, как правильно она решила сама навестить всех.

— О-ой, а я думала кто! — зачастила Люся, обшаривая глазами дородную фигуру матери с сумкой в руках и стараясь что-то понять.— У нас тут такие бестолковые старухи приходят, голова от них болит... А я вчера звонила Тамаре, она сказала, что ты будешь жить у них, они купят большую квартиру, машину, а в Крутицы будут ездить на дачу. Томка злая какая-то была, не поймешь — шутит или нет. «Вам ничего не дадим! Фигу. И прокурор тебе не поможет!..» А это ведь она меня научила забрать тебя поскорей...

Люся замолчала, улыбаясь в ожидании, что мать подтвердит сей-

час то, на что она теперь надеялась. Евдокия грустно усмехнулась, вспомнив, что с этой дочерью церемониться не нужно, а объяснять ей что-то сейчас не следует, да она и не из тех, кто бы правильно понял ее объяснения.

— Ладно, — твердо сказала Евдокия. — Дома-то есть кто? Я квартиру твою еще и не видела.

— О-ой, дома никого, — заволновалась Люся. — Может быть, ты на старую пойдешь? Они сейчас дома.

— Нет, нет! Потом, не сейчас, — Евдокия замотала головой, представив лишь, как она будет сидеть на стуле под взглядами сватьи и свата и те бесцеремонно, дотошно полезут в душу, будут выспрашивать, как и где она намерена жить дальше, что делать с деньгами.

— Может, я отпрошусь. Сменщице позвоню, — сказала Люся. — Ты посиди пока.

Но вскоре прибежала с расстроенным лицом:

— Не получается. Она уж и так в воскресенье за меня работала, а тут еще стирку затеяла... Что же делать?

По стеклу кассы нетерпеливо стучали стоящие в очереди:

— Где кассир?

Евдокия предложила:

— Давай ключи, я сама найду. Подожду там, а ты уж работай. Ребята когда придут из школы?

Люся не очень охотно согласилась:

— Да, ты уж побудь там одна пока. Только у меня там беспорядок, торопилась на работу... Ребята скоро придут, к обеду. Я тоже, может быть, в обед забегу. Ты найдешь? Это недалеко.

Евдокия с облегчением отпустила, выходя, тугую, на пружине, дверь автостанции.

Среди белых кварталов на окраине городка, спрашивая и переспрашивая встречных, Евдокия нашла нужный дом. Открыв на втором этаже дверь ключом и зайдя в квартиру, успокоилась, увидев на вешалке знакомый Люсин плащ. Раздеваясь, заметила, что в квартире необычно гулко отдаются ее шаги и даже шуршанье снимаемого пальто. В прихожей, переходящей в коридор, по дощатому, крашенному темно-красной краской щелястому полу разбросаны детские колготки, обувь, куклы. Пахло чем-то кислым и подгорелым.

Двери во все три комнаты и на кухню были раскрыты, и Евдокия сразу поняла, почему так гулко в квартире: она пустовата, словно хозяева еще не переехали совсем, а перевезли только малую часть вещей. В самой большой и самой гулкой комнате, зале, стояли диван, небольшой стол с неуклюжей табуреткой и маленький телевизор на ножках в углу. Стены и пол голые, на полу валялись книжки, рваные тетрадки. Две другие комнаты, где были кровати, шкафы, тоже оказались неприбранными, неуютными, как бывает, когда в доме много предоставленных самим себе детей. На кухонном столе стояли тарелки и сковородки с недоеденной пищей, лежал зачерствевший хлеб, огрызки яблок. Дощатые грубые полки, подоконник, стол, часть пола уставлены разнокалиберными кастрюлями, откупоренными банками с чем-то прокисшим, надорванными бумажными пакетами, свертками. Из крана тоненькой струйкой бежала вода. Евдокия открыла дверцу холодильника и расстроенно захлопнула: свалка.

Гулко, так что Евдокия вздрогнула, зазвонил в прихожей телефон, стоявший на высоко прибитой к стене полочке. Люся спрашивала, нашла ли она квартиру, и долго извинялась за беспорядок, это ребята виноваты, а она не успевает.

Евдокия посмотрела в окна. С одной стороны они выходили на такие же дома, а с другой — в поле, и, как поняла Евдокия, если б стоял солнечный день да были бы у нее позорче глаза, то можно бы было увидеть вдали пойму, а за ней высокий берег Оки, где стоят Крутицы.

Хоть и не было особых сил, но смотреть на расхристанную квартиру и вообще сидеть здесь одной без дела было невыносимо, и Евдокия принялась за работу, чувствуя досаду и раздражение на Люсю и смущение в душе. Она подмела и вымыла пол, застелила постели, посмотрела, что в шкафах, долго разбиралась на кухне, и чем больше злилась на рохлю дочь, тем все больше чувствовала свою вину и смущение. Никак она не думала, что увидит вот такое.

В дверь нетерпеливо позвонили раз за разом. Евдокия открыла — Славка, маленький, запыхавшийся, в вязаной шапочке, черной шуршащей куртке, очень уж легкой для начавшейся зимы, а за ним стояла Аня в платочке и синем пальто до пят, купленном на вырост.

— Бабушка! — радостно крикнул Славка. — А мы зашли к мамке за ключами, она говорит: «Там бабушка приехала, бегите быстрей!» Мы — бегом!

Аня перебивала его:

— А мамка пошла папе сказать, что ты приехала. Обедать не придет.

Славке — тринадцать лет, Ане — девять, а росточком оказались одинаковые. Пока они раздевались и, смеясь, перебивая друг друга, рассказывали, Евдокия смотрела на них. У Ани лицо простецкое, движения резкие, вся она беззаботная, а Славка быстро заметил, что Евдокия смотрела на него, и раз-другой стеснительно улыбнулся в ответ на ее взгляд, и Евдокия вдруг внутренне ахнула: «Да он же весь в деда!..» Ну конечно: и ростиком невелик, и лицо такое же правильное, неприметное, а главное — вот эта стеснительная улыбка. Дед любил Славку, но почему-то с ним не церемонился: и рассердится на него, и прикрикнет, а вот с другими внуками этого себе не позволял, деликатничал. Видно, Славку считал совсем уж своим.

Славка сразу увидел и вымытый пол, и порядок, строго прикрикнул на Аню:

— Куда побежала? Сапоги сними! — и, улыбнувшись Евдокии, стал спрашивать: — Бабушк, а Сиротка чего сейчас делает? А теленка у Пестрани еще нету? Димка в сад ходит? А Ока еще не замерзла?

Иногда он, видимо, вспомнив про деда, испуганно взглядывал на Евдокию, но ничего про него не сказал, не спросил, только как-то вдруг надолго замолчал.

В квартире повеселело, ожило. Аня включила телевизор. Евдокия усадила детей обедать.

Вскоре пришла старшая, Вера: тоненькая, сдержанная, строгая, почти уж невеста. Она немножко дичилась, побаивалась Евдокии и, пообедав, закрылась в своей комнате. Аня убежала на улицу, а Славка, искоса посматривая на гулко звучащий в пустой комнате телевизор, разложил на столе книжки и тетрадки, стал делать уроки.

Люся и Борис пришли поздно, когда вернулась с улицы Аня и кое-как поделала уроки, когда уже и Славка стал беспокоиться. Наконец загремел ключ, открылась дверь, вбежала пятилетняя Тоня в ярко-красном пальтишке, а за ней как-то молчаливо-торжественно вошел Борис в своем лягушачьего цвета пальто и шапке с коротким козырьком. Из-за его спины суетливо выглядывала улыбающаяся Люся.

Тоня, заметив в коридоре строгую Евдокию, встала и насупилась. Борис принялся было расстегивать пуговицы пальто, но Люся толкнула его локтем, и он, взглянув на Евдокию, растянул губы в улыбке, которая немного оживила его малоподвижное лицо с тягучим воловьим взглядом:

— О-о, кого я вижу! Евдокия Степановна приехала. Вот это молодец!

Он шагнул навстречу Евдокии с протянутой ладонью и долго, почтительно тряс ей руку, обдав запахом вина, пока Люся не дернула его за рукав:

— Ты хоть разденься!

Борис радостно закричал:

— Все, все! Раздеваюсь. Это я моментально.

Евдокия дала Тоне конфету, девочка оживилась и вскоре, сняв пальтишко, маленькая, щупленькая, черная, как галка, дергала Евдокию за подол:

— Баба Дуня, а у тебя еще есть? Ты мне еще дашь? Бабка-косолапка! — и звонко смеялась.

Борис, раздеваясь, возбужденно кричал, размахивая руками и не обращая внимания на предостерегающие толчки Люси:

— Евдокия Степановна! Ну ты молодец! Мы — все для тебя. Ты у нас будешь как цветочек аленький. Любую комнату бери, какая нравится! Бери нашу, а мы... да мы с Люлю вот здесь на полу в коридоре будем, но тебе — все отдадим. Самое лучшее! Эх, Евдокия Степановна! — и он, воздев руки, притопнул ногами.

Люся, мельком взглядывая на мать, растерянно, виновато и радостно улыбалась. Она и одобряла Бориса, и побаивалась, как бы он не пересолил.

— Ну ты что! — толкнула она его в бок. — Заплясал. Все-таки у нас папа умер. Пойди умойся. Сейчас ужинать будем.

— Я умоюсь!.. Я, Евдокия Степановна, немножко, конечно, это... Но — все нормально. Все путем! Евдокия Степановна, все путем! Это на радостях, в честь приезда тещи. Ребята там это...

Вера приоткрыла дверь комнаты, посмотрела и опять прикрыла. Славка шлепнул Тоню:

— Не приставай к бабушке!

Аня, смеясь, толкала отца в спину к ванной.

Строгое, замкнутое лицо Евдокии не давало Люсе полного убеждения в том, что она думает верно о неожиданном приезде и намерениях матери, о том, почему она уехала от Тамары. Несколько раз сегодня Люся порывалась позвонить Тамаре и узнать, но не решилась, боясь опять что-нибудь испортить. Борис же всех этих тонкостей не улавливал, как Люся ни втолковывала ему и в обеденный перерыв, и сейчас по дороге.

Борис вышел из ванной такой же шумный и назойливый:

— Евдокия Степановна! Мы заживем! Смотри, какая квартира. Я откровенно тебе скажу, Евдокия Степановна, у Тамары тебе было бы хуже. У них теснота, и вообще... Молчу! Это, конечно, не мое дело. Но я — откровенно!..

Люся одернула его:

— Ты не болтай! И мелет, и мелет. Может, мама еще не знает, где она будет жить. Может, она пока лишь смотрит, и ей у нас не понравится, — говоря это, Люся настороженно, испытующе посматривала на мать.

Евдокия твердо перевела разговор:

— Давайте-ка ужинать. Я уж и картошки нажарила.

Борис охотно поддержал:

— Во, верно! Ужинать!.. Ты, Евдокия Степановна, конечно, смотри. Но мы к тебе со всей душой. Я откровенно скажу — у нас тебе лучше всех будет. Хочешь в лес — недалеко, Ока — тоже. И в деревню будем ездить. Я место под гараж давно занял! Это уж откровенно. Сядем и — пожалуйста, куда хочешь.

Люся, взволнованно, извиняюще улыбаясь матери, подталкивала Бориса к кухне.

Кое-как уселись все за небольшим шатким столом в зале у телевизора, который, к радости Евдокии, отвлекал всех от крутившейся вокруг одного и того же болтовни Бориса, особенно детей, которые, впрочем, на выпившего отца не обращали особого внимания. Люся одергивала Бориса, но сама, слушая его треп, с ожиданием вглядывалась в лицо матери, надеясь что-то узнать, утвердиться в лучших предположениях. Евдокия не поддерживала разговора, избегала этой

темы, ничем не показывала, что и как она намерена делать и зачем приехала, и эта неопределенность держала Люсю и Бориса в почтительном внимании к Евдокии.

После ужина Евдокия взялась помочь Люсе убрать со стола, но Люся и Борис дружно запротестовали, усадили Евдокию смотреть телевизор, отогнав от нее неугомонно пристававшую Тоню. Борис стал рассказывать о работе — что-то путаное, скучное, а вскоре ушел спать.

Евдокия пошла было на кухню к Люсе, но за ней увязались Аня и Тоня, а потом в дверях встал Борис в трусах и майке и торжественно сказал, подняв вверх указательный палец:

— Евдокия Степановна, только у нас!.. Как аленький цветок!

Евдокия поняла, что никакого разговора с Люсей сегодня не получится, да он, наверно, и вообще не выйдет: не приучена Люся к разговорам. Хотелось хоть выругать ее, но при детях неловко как-то.

Люся постелила Евдокии в зале на диване, а у другой стенки на скрипучей раскладушке устроился Славка. Уже выключив свет, Славка с улыбкой мечтательно сказал:

— Эх, скорей бы лето. Я, бабушка, сразу к тебе приеду...

Суетная обстановка в семье Люси раздражала Евдокию едва ли не больше, чем разлад у Тамары. Она привыкла к сосредоточенности, к дальнему умному загляду в жизни, а тут все катилось комом, как придется. Куда их всех может вынести?.. Да, кажется, прошло время накопления денег, азартной работы в огороде, теперь не это главное. Начиналась другая жизнь, где тоже нужен ее глаз да глаз, ее твердое слово. В этой другой жизни ей не обойтись без Павлика и Кати, без их совета, поддержки...

И Евдокии нестерпимо захотелось домой...

Утром, когда в квартире раздались голоса, плач Тони, шлепанье босых ног, кашель, заскрипела раскладушка Славки, а за окном стало светлеть, Евдокия решила не вставать пока, чтоб не мешаться в общих сборах. Ключи-то Люся оставит небось, вот она и занесет их ей на автостанцию, там все и скажет.

Наконец, когда за окном совсем рассвело, зашел Славка, одетый в черную свою курточку, с ранцем за плечами.

— Бабушка, мы пошли.

— А мать где?

— Мамка давно ушла, она рано начинает, мы еще спим. Папка тоже ушел, ему Тоню в сад надо еще отвести. И Вера ушла. Мы с Анькой тоже пошли, — и Славка, перечислив всех, улыбнулся.

— А ключи мать оставила?

Славка пожал плечами. Сходил поискал, не нашел и посоветовал:

— Ты, бабушка, если куда пойдешь — захлопни дверь. А ключи у мамки потом возьмешь.

В квартире стало тихо, лишь на кухне журчала вода, лилась в раковину.

Евдокия торопливо оделась, прибрала в квартире и, захлопнув дверь, пошла к автостанции. День стоял пасмурный, мороз сдал.

Первый автобус на Крутицы уже ушел, следующий был после обеда. «Ничего, на попутной доеду...»

Люся сидела за стеклянной перегородкой с деловым лицом, но уже не таким сухим, казенным, как вчера. На людей Люся по-прежнему не смотрела, только на руки, которые клали деньги на каменную тарелочку. Пришлось Евдокии встать в очередь.

Люся быстро появилась в дверях и, увидев в руках матери сумку, встревожилась:

— Ты куда?

При людях в небольшом зале автостанции говорить было неловко, и Евдокия кивнула на дверь.

— Пойдем-ка выйдем на минутку.

Встали за углом на непритоптанном снегу. Евдокия сказала, мельком взглянув в вопрошающее лицо дочери:

— Уезжаю домой. Дверь я захлопнула.

Люся поняла, что все ее надежды и расчеты рушатся. Белое ее лицо сделалось серым, губы скривились и задергались, как у ребенка, у которого отняли игрушку. Евдокия прикрикнула:

— Не ори! — и, не давая дочери возможности разнюниться, сердито накинулась на нее: — Ты что же это квартиру запустила? Грязищу какую развела! Да у меня в хлеву у Пестрани чище!.. Я тебе каждый год деньги даю, куда они у тебя ушли? В квартире шаром покати! Ребята одеты кое-как. Ты ведь работаешь, Борис работает, куда же все девается? Ты хозяйка в доме или нищенка-побирушка?

Лицо Люси пошло красными пятнами, она путано стала оправдываться:

— Я покупаю, я все покупаю! Их вон сколько! Тому надо, этой надо. На питание уходит, ведь все из магазина. В школу пошли — всем форму купила, ботинки. Холодильник купили! Ну, себе сапоги купила, а чего, мне тоже надо... А Боря — то ничего, а то загуляет, мало принесет, а я чего тут зарабатываю! А люди все нервные, оскорбляют... — И она заплакала, глупая дочь, обиженно, по-девчоночьи кривя и растягивая рот.

Евдокия, стараясь не поддаваться жалости, строго осадила ее:

— Нечего воду лить! Уж совсем она распустилась. Да какие тебе деньги давать, ты их просодишь все в помойное ведро!.. Девки у тебя растут самовольные какие-то, старшая — уж невеста, а сидит, отгородилась от всех. Что ж ты их не учишь?

Люся заговорила сквозь всхлипывания:

— Мне они не нужны, деньги. Это Боря... он хочет машину купить... лет десять в очереди стоит, две очереди пропустил. Над ним все смеются. Может, он пить не будет... любит с железками возиться...

Евдокия отвернулась, молчала. Замолчала и Люся, вяло утирая слезы скомканным несвежим платком.

— Ладно, — завершая разговор, сказала Евдокия. — Я подумаю еще. С Пашей посоветуюсь, с Тамарой. Приезжай недельки через две-три к нам. Посмотри хорошенько в доме, чего тебе нужно. Деньги я тебе не дам, а купить чего помогу. А если еще раз увижу в квартире хлев, я с тобой и разговаривать не буду, а не то что покупать тебе чего-то!.. Ладно, иди. А я домой поеду.

Люся, опустив голову, послушно поплелась к двери. Стукала и стукала тугая дверь автостанции от входивших и выходивших людей, глухо стукнула она и за Люсей. Евдокия вздохнула: «Ну вот и все. Теперь домой».

Вскоре, крепко держась руками за скобу, Евдокия сидела в кабине попутного грузовика, легко и мощно мчавшегося по ровной дороге через заснеженную пойму к Крутицам. Водитель, молодой парень, равнодушно сказал Евдокии минуту назад, открыв дверцу: «Садись, бабка», — и теперь, занятый собой, деловито курил, не обращая на Евдокию, к ее радости, никакого внимания. Не до разговоров ей сейчас было.

Плыла за окном белая, вся покрытая снегом, такая знакомая пойма Оки с черными осокорями вдоль дороги, с кустами у маленьких прудов, стариц. Впереди темнел высокий берег с ломаной линией Крутиц: дома, церковь, Лесок, бугор с деревьями, башня старинной водокачки на «тещиной станции». Зима... Где вы, азартные летние деньки? Все ушло теперь, и, наверное, навсегда. Как ни печалься, ни досадуй, как ни пытайся исправлять, доказывать — все прошло, и все прошедшее останется таким, каким было. Даже давние колхозные годы, бедную избушку на берегу, Годуна Евдокия вспомнила теперь без досады и неприязни, как часть прожитой жизни. Что теперь злиться, что махать кулаками после драки — время ушло и пришло время другое...

Дед, дед, рано ты улегся на том вон густо заросшем бугре. Без тебя вдруг сразу потеряли весь смысл ее гордость и богатство, ее умение вести житейскую лодку, без деда все это обернулось вдруг против нее же... Евдокия вспомнила, что ни с кем из детей не удалось поговорить про деда, про свою вину перед ним — есть ли она или это болтают от зависти? «Ты его надсадила, угробила... Пахала на нем!». Нет, не вам судить. Никому она теперь ничего не докажет словами, ни перед кем не оправдается, что бы она кому ни говорила. Придется жить с чувством вины своей перед дедом, как и перед Колей и Люсей, никто эту вину не снимет у нее с души, и переложить ее не на кого. Ведь помнит же она, как мучилась мать даже от несовершенного греха перед ней. Оставшейся жизнью, делами она еще сможет снять часть вины, показать всем и себе самой, что не ради своего блага, своей только гордости надсаживалась она всю жизнь. Есть их с дедом дети, есть внуки, не имеет она права пасть низко... Наступала в жизни зима, и ничего не поделаешь, надо смириться, принять и прожить эту пору жизни.

Подъезжая к Крутицам, Евдокия вспомнила, что не купила никаких гостинцев. Но успокоила себя: «Еще съезжу, зима долгая...»

Водитель высадил ее на площади около церкви. Евдокия огляделась, словно бы после долгого отъезда, и пошла к дому.

День стоял пасмурный, тихий. Отмякло, снег потяжелел, улегся. Воздух чистый, дома, изгороди потемнели и потяжелели. Косо и лениво дымились кое-где трубы. Над своим домом Евдокия дыма не увидела: значит, истопили уже...

Димка и Галя вместе с рыжим Пиратом возились в снегу у крыльца. Димка бросился навстречу. Обгоняя его, помчался Пират, закрутился у ног, вскидываясь и обнюхивая пустую сумку. Галя стеснительно улыбалась издали.

— Бабушк, а мы снежную бабу лепим! — как всегда, возбужденно затормошил Димка. — Мамка нам дала морковку для носа, вот, смотри. Ее Пират погрыз немножко. А Галя не умеет бабу лепить!..

В доме стояла тишина. Евдокия ревниво огляделась. В зале и на кухне чисто прибрано, все находилось на своих обычных местах, никаких перемен она не заметила. Только на кухонном диване валялись Димкины игрушки и Галина кукла.

С печки прыгнул Барсик и, задрав хвост, мяукая, стал тереться о ноги Евдокии.

Стукнула дверь дворового крыльца, и вошла Катя, озабоченная, в телогрейке, валенках — востроглазая молодая деревенская бабенка.

— О, это вы? А я слышу, дверь хлопнула. Здравствуйте. Что-то рано вы вернулись? — Катя цепко вглядывалась в лицо Евдокии.

— В гостях хорошо, а дома лучше... А Паша где?

— Паша на работу вышел, директор попросил. Он теперь управляющий, начальство. Обедать сюда придет... Вы хоть ели чего? На плите картошка стоит, колбаса есть в холодильнике. Я сейчас чайник поставлю... Игорь Михеевич вчера приезжал, вас спрашивал.

Евдокия сняла пальто, села на табуретку у стола и, слушая Катю, чувствуя ее оценивающий взгляд, смотрела в окно на то, как Димка и Галя с визгом и смехом валяли в снегу довольного Пирата.

Голос снохи креп, веселел:

— Печку я истопила, всех накормила, курам дала... Утка одна чего-то хромает. Пестраня хорошо ест, ведро вылизала... Пирата я отцепила — ребята попросили, он так обрадовался, прыгал выше Сиротки. А Сиротка у крыльца встанет и стоит, ждет, когда ребята ему посоленного хлеба дадут...

Из поэтических тетрадей

Станислав КУНЯЕВ

Памяти А. Яшина

Казалось бы, не так давно
шутил, охотился, смеялся,
а в час печали пил вино
и пред судьбою не склонялся.
Но вышло время умирать,
и, эту чашу принимая,
он вызвал из деревни мать,
чтоб помогла душа родная.
...Тихонько старая вошла,
палату молча оглядела,
слезу смахнула, обняла
и сразу принялась за дело
(а чем же иначе смягчить
ему минуту роковую) —
с больничной ложечки поить
и гладить голову седую,
как в те далекие года,
в те отшумевшие метели,
в те молодые дни, когда
она склонялась к колыбели,
где плакал первенец, дитя,
такой беспомощный и милый,
ее животворящей силой
спасенный от небытия...
Сын перед вечером затих,
объятый слабостью смертельной,
как бы утешенный на миг
старинной песней колыбельной.

* * *

Ветер моря. Хлопья снега.
Рев прибоя. Сосен шум.
А в душе у человека
столько боли, столько дум!..

Никакую непогоду
не сравнить, как ни крути,
со стихией, год от году
возрастающей в груди.

Леонид ОВЧИННИКОВ

Родина

Это просто изба возле тына.
Это просто пастуший костер
клочья белого майского дыма
отпускает в небесный простор.

Но махнет мимолетное лето
на прощанье крылом золотым,
и становится ясно, что это —
отчий дом и отечества дым.

* * *

Я снова здесь, где на окне
цветут герань да ванька мокрый.
Я снова мальчик, светлый отрок,
и белый свет понятен мне.

И жмется темнота в углу,
и солнышко глядит в окошко,
и света теплая лепешка
лежит на вымытом полу.

И утро синее взахлеб
я пью, как молоко парное.
И мать, склонившись надо мною,
рукой разглаживает лоб.

Надежда МЕДВЕДЕВА

* * *

Говорили, что влюблен,
только мало смелости.
Я брала в то утро лен,
золотистый длинный лен
восковой спелости.

Парень, видно, был смущен.
Что же он в смятении?
Вдруг сказал, что любит он...
лен весной в цветении.

Как понять его слова?
Стали дали тесными...
Показались мне слова
очень неуместными.

Но четыре дня назад,
более иль менее
пояснил: твои глаза,
словно лен в цветении.

Юрий МИРОНОВ

* * *

Осенний ветер жжет до боли,
тропинку листья замели.
Стоит березка в чистом поле,
под ветром гнется до земли...

Зачем ты, ветер,
с ней так круто...
Стоит белешенькім-бела,
из чащи выбежала будто
почти в чем мама родила...

И зябко — и прикрыться нечем, —
и что поделаешь с судьбой...
...Пальто накинуть бы на плечи
и увести ее с собой.

Анатолий ФИЛИППОВ

Город детства

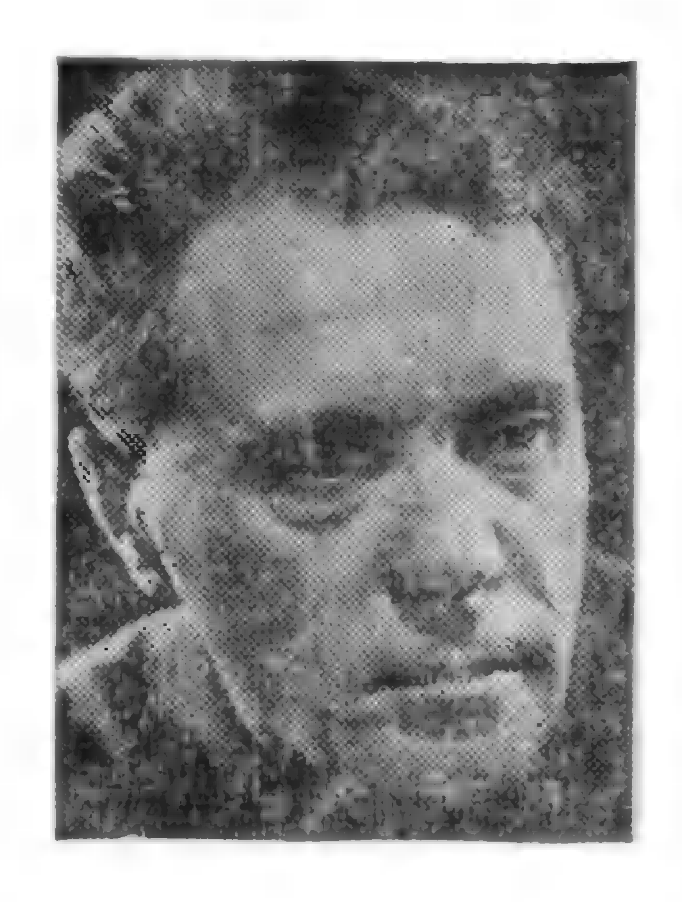
Городишко полусонный,
где в июле каждый год
тополиный невесомый,
светом солнечным несомый,
пух по улицам плывет.

Опускается лениво,
тихо кружит за спиной...
Пахнет пылью и крапивой.
Городок стоит счастливый,
весь узорный и резной.

Он, чудак, собой гордится,
строит молокозавод,
хлеб печет...
Ему уж снится,
что похож он на столицу:
свет, асфальт, водопровод...

В центре — камень и железо,
на окраинах — сады,
даль полей, зубчатка леса,
да тяжелого замеса
прошлогодние скирды.





Виктор АСТАФЬЕВ

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

РАССКАЗЫ

Светопреставление

ПРЕЖДЕ чем поведать о светопреставлении, я обязан означить географическое место действия и время, в которое оно происходило, потому как случается светопреставление не каждый день, и для развития сюжета все это нужно, тем более сюжета сверхдраматического. Мы, современные сочинители, и без того озадачили и раздражили теоретиков литературы и ученых людей, клюющих крупку на полях отечественной словесности. Они рубахи друг на дружке пластают, споря: нужен или не нужен сюжет в современном художественном произведении? И одни утверждают, что без сюжета, как без мамы с папой, дети не могут появляться и никакой семьи, то есть художественной конструкции, получиться тоже не может. Другие, состоящие все более из старых, закаленных холостяков, с саркастическим смехом и надменностью отвергают дряхлую «концепсию» и приходят к резонному выводу в своих многоумных литературоведческих трудах, что-де насчет папы вопрос не совсем ясен, но что касается мамы, то тут и слова тратить не на что, и спорить незачем, только дремуче отсталые люди могут утверждать ее необходимость, только плохо информированные насчет достижений современного прогресса индивидуумы мужеского пола, не читающие в дискуссиях центральных газет высказываний самих женщин, могут впадать в такое тяжкое заблуждение. За океаном одна женщина родила двойню при помощи искусственного осеменения — это раз! Второе: сам мужчина тоже догадлив, чтоб никуда не ходить, не звонить, не тратить время на ухаживания и на цветы, вкатит укол «от столбняка» — и никакая ему женщина не нужна, и энцефалитный клещ не страшен — сразу от двух зараз избавлен, ходит себе мужчина, поплевывает презрительно и торжествует: «А-а, чё-о, взяли?!»

Итак, место действия — одна из северных рек, ныне уже вторично подпертая гидросооружениями и окончательно утратившая черты реки и называемая просто водоемом. Все живое бросилось из нее врассыпную, убегло выше и дальше, начиная от людей и кончая рыбой. А в ту пору, о которой пойдет речь, река с устья с обеих сторон была заключена в заплоты, и из них, из заплотов, там и сям высыпались штабельки леса, узкоколейки аж в самую воду занyривали, катера ходили, машины ездили, звенели пилы, лаяли собаки, дымили трубы не большого, но и не маленького поселка; управления тут были с номерами и хитро сокращенными словами, детсады, столовые, школы и даже гостиница, окнами выходившая прямо к реке, и я сам видел одной весной, как

перезимовавшая синичка, сидя на тонкострунной спирали забора, радостную пела песню, и работяги слушали малую птаху и улыбались. Надо заметить, что все военные люди в поселке и вокруг были заядлые рыболовы, и сидишь, бывало, на лунке, дергаешь блесну, а часовой советы подает насчет глубин, насчет наживки, характера рыбы, метит выцыганить заграничную леску и магазинскую блесну обменять на самоделку, склепанную из патронной гильзы или из латунной ложки, унесенной мастерами из столовки и выгодно обмененной на какой-либо товар, чаще всего запретный.

Клевало здесь в холода лучше всего возле быков железнодорожного моста, под заплотом трудовой колонии для малолетних преступников, и по-вдоль «хозяйства» Терещенко, номер которого я запамятовал. Хозяйство то тянулось километров на пять, места тут всем рыбакам хватало, и рыбы тоже, в особенности сороги...

Так вот там, где заканчивалось «хозяйство» Терещенко, капризом ли судьбы, по недосмотру ли строгого начальства на песчаном выносе, бывшем до затопления крутым песчаным обрывом, уцелел и шумел на ветру, высокими шапками золотясь в прошве солнца, чубчик золотоствольного, голенастого сосняка, указующего стройностью своей и маловетвистостью на то, что был здесь сосновый бор. Вот на выносе-то на песчаном в ростепель тучилась рыба и, следственно, толпы рыбаков, где россыпью, где кучно, темнели здесь с утра и до позднего вечера.

Рыбак тут велся четырех местностей: основной — из Череповца, поскольку промышленный гигант тучей дыма вспухал на близком горизонте, по левому берегу, за сосняками и болотами и болотными лесишками, за колокольней старого, но кем-то ухоженного собора, за нехитрыми строениями однодневного дома отдыха, для солидности именуемого профилакторием, за тремя-четырьмя полузаброшенными деревушками.

Отсюда утренней порой, как в битву на озеро Чудское, лавиною валил череповецкий рыбак — черепянин, так он сам себя именовал.

Второй по численности рыбак наступал с запада, со стороны Чуди, из вепсов, осевших на деревообделочных предприятиях меж Ленинградом и Вологдой.

Сами ленинградцы ездили на водоем мало и неохотно — у них Карелия под боком.

Третий рыбак — вологодский. Надо сразу и прямо сказать: тут его, вологодского рыбака, не чтили и даже раздражались им, потому как вокруг Вологды столько рек, озер, прудов, стариц, проток и прочего, что только алчность, считали черепяне, завидущие глаза, загребущие руки могли гнать сюда вологжанина триста верст по морозу, на мотоцикле либо в грузовой машине, на которую опрокинут — для тепла — фанерный ящик из-под папирос или из-под мыла.

Далее пойдет рыбак россыпом: ивановский, ярославский, московский, даже рязанский, рыбак малочисленный, но очень сосредоточенный и умелый.

Заключал все пестрое общество рыбаков рыбак местный, одетый сплошь в военное, держащийся несколько замкнуто и особняком по той же причине, что и Терещенко,— нарваться можешь, особливо среди черепян, на вчерашнего подконвойного, да и где гарантия, что сегодняшний рыбак, вольно себя ведущий на льду, балакающий на разные темы, выпивающий братски из одной банки, завтра не окажется в хозяйстве Терещенко?

Самый дерзкий, самый нахрапистый, самый шумный рыбак — черепянин — на белом поле льда отличался явственней других темной шевелящейся массой: большинство черепян срывались на рыбалку прямо с производства. Еще мокрые после душа доменщики, мартеновцы, про-

катчики и прочая братия в засаленных телогрейках либо в суконной спецовке горячих цехов, в кирзовых сапожищах, за которые заткнуты одна-две удочки, в руке ведро, подобранное на свалке,— посудина предназначена для рыбы и вместо сиденья. Никакого теплого белья на черепянах, никаких шарфов, варежек, плащей, никакой теплой обуви: наклонится человек над лункой — спина голая. И грудь распахнута — на рубахе пуговиц нет, а под рубахами, на теле, где ключица, где ребро, где грудина или еще какая неожиданная кость, натянув ржавую кожу, выступали по прокопченному телу, что по древнему папирусу, сплошь произведения искусства: изречения мыслителей, стихи, эпитафии, признания в любви и верности, орлы, русалки, щиты и мечи, кинжалы, обвитые змеями, профили Зой и Нин; основные мысли и обращения на телах все больше лирического уклона, целые поэмы изображены с тайною надеждой к той, которая «умеет ждать», и получит она пламенную страсть, верное до гроба сердце, и сердце это тут же — насквозь пронзенное стрелой, будто кусок баранины шашлычным шампуром.

Однажды костлявый, изветренный на природе, высушенный в горячем цехе черепянин ухнул в полынью. Мы его достали, содрали с него одежды, и я с изумлением, переходящим в ошарашенность, прочел на ребристой груди чуть было не утопшего человека: «Дедушка Калинин, век меня мотать, отпусти на волю, не буду воровать».

Судя по возрасту рыбака, стих сей наносился на тело уже много годов спустя после смерти Калинина. Какая же крепкая вера жила в человеке в действенность печатного слова!

Поскольку черепяне попадали на рыбалку прямо из горячих цехов, на пути к водоему, опережая толпу, до поту себя догоняли, то скоро они «играли зубарики», по-человечески говоря, стучали зубами от холода и часам к десяти-одиннадцати сплошь были пьяны. И, сколь помню, всегда дружным коллективом хрипло орали череповецкие металлурги одну и ту же, отнюдь не промышленную песню: «Мама встала в шесть часов...».

Фольклор, извлеченный из сложной жизненной ситуации, изрыгаемый черепянами, приводил в явное смущение по всей форме одетого вологодского рыбака, большей частью смиренного, скромного. У вологодского рыбака все заточено, подлажено, ящички на боку с мудреными инкрустациями, рисунками или берестой украшены. По стыдливости, небуйности характера вологодские рыбаки отсаживались на версту, а то и на две от черепян, чтобы не слышать сраму. Но те, заметив, что у вологжан «берет», сами надвигались бесцеремонной толпой на уловное место и норовили так близко просверлить дырку, что вологжанин был вынужден утягивать под себя ноги и подбирать полы плаща, иначе просверлят.

Я не берусь утверждать, что вологжанин по сравнению с черепянином ангел — ни пить, ни материться не умеет. Но то и другое вологжанин делает вроде бы как под давлением жизненных обстоятельств. Еще в первые годы после переезда в Вологду, плохо разбираясь в местном выговоре, был я на охоте в деревне Семеновской Харовского района. И вот Первого мая явился мужик к нашей хозяйке и зацокал, как белка. Не сразу, но я догадался, что он матерится. Будучи сам немалым специалистом по этой части, я, как ни пытался, ни в одном из отечественных матюков не припомнил звука «це». Однако ж вологодский мужик процокал на одном дыхании не менее получаса, и хозяйка вынесла ему пятерку. Мужик ее взял, угрюмо нам поклонился и ушел. Хозяйка перевела бессмысленное, на наш взгляд, цоканье: «Праздник экой большущий, а она, курича (жена), выдала на одну бутылку и больше не дает».

В жизни вологжанин тих нравом, ласков взглядом, с вечной застенчивой улыбкой на лице. А что у него в середке — поди разбери! Сами ли вологжане, но скорей всего неблагодарные «варяги» сочинили анек-

дот про Ермила Данилыча, почти век проработавшего в вологодском локомотивном депо и ни разу на работу не опоздавшего. И вот одним утром нет Данилыча на работе! Ждут-пождут товарищи по труду пятнадцать минут, двадцать, полчаса — и в горе погружаются: видно, помер Данилыч, потому как смерть, только неумолимая смерть, могла остановить такого труженика и передовика на пути к станку. Вдруг бежит Данилыч, запыхался. Все — и рабочие, и начальство — кинулись узнавать, какое такое чрезвычайное обстоятельство задержало человека. Уж не сердечный ли приступ? «Да нет,— говорит Данилыч.— Не приступ. Баба пятерку потеряла».— «И ты помогал бабе искать пятерку?» — «Я на ёй стоял, на пятерке-то...»

Бывало, наберешься мужества, попросишь на рыбалке у вологжанина мотыля. Он перво-наперво поинтересуется: отчего сам мотыля-то не намыл? — «Лопаты нету и лотка для промывки нету».— «Дак сделал бы... Нековды? А мне есь ковды?!» И нехотя полезет за пазуху, долго там шарится, будто коробку найти не может, потом возьмет щепотку мотыля и с лицом страдающим протянет тебе наживку; как ладошку подставишь — обратно полщепотки стряхнет и со скорбным выдохом поникнет над холодным зраком лунки: ни стыда ни совести у людей — обобрали средь бела дня.

У черепянина попроси наживки — он мотнет головой с передней стороны, в которую всунута цигарка, руки упрятаны под телогрейку, и прогавкает холодом сведенным ртом: «Там, в банке, возьми. Да оне подохли, падлы». И он же, черепянин, увидев у тебя коробку со свежей наживкой, на ночевке может вынуть коробку из кармана — и не взыщи. О выпивке и говорить нечего. Учует — пират пиратом сделается. Пока не овладеет, никакого покоя не знает.

Однако ж при всем при том рыбацкой спайке не чужды ни вологжане, ни черепяне: если беда или авария — будут выручать. В добыче более ревнивы вологжане. Неистовость вологодского рыбака обнаруживает порой такие в нем скрытые силы, такую самоотверженность и такое достоинство, каких он и сам в себе не подозревает.

Прежними веснами на озере Кубенском брала нельма на блесну. Местные прикубенские жители в пору, когда «шла» нельма, всякие работы прекращали и ни землей, ни хозяйством не занимались. Рыбу пятило вешней порой с истока реки Сухоны, которая веснами течет неделю, а то и две — вспять, в озеро, и, оставив вечером косяк нельмы в таком-то районе семидесятиверстного озера, рыбаки поутру являлись туда и, наступая, будто пехота на супротивника, гулко били пешнями сотню-другую прорубей и в конце концов рыбу «нащупывали», рассыпались подковообразно по льду, все утро и весь день перемещаясь следом за рыбой, пятная лед россыпью лунок.

В одно апрельское утро брякнул заморозок градусов на двадцать пять, и рыба оцепенела, не берет. Надо ждать солнца, грева, распара, и тогда, быть может...

Стоят рыбаки на льду, треплются, курят, удочки подергивают, блеснами поигрывают, рассказывают о том, как много было рыбы прежде и как мало теперь.

И вот диво! На льду появилась баба! В красной куртке. Встала в отдалении, ударила каблуком сапога во вчерашнюю лунку — не пробила, попросила у пожилого рыбака пешню, проколупала лед, спустила удочку с блесной в дырку и подергивает.

Внимание всех находящихся вблизи рыбаков переметнулось на бабу, издевательские шуточки, насмешки, высказывания сгруппировать можно было бы в одну мысль — в духе современных молодежных газет и журналов, где пионерки и пенсионерки бойко учат, как, кого и сколько надо любить, домохозяйки хвалят или ругают мужей за то, что те им помогают или не помогают мыть полы и посуду.

Рыбаки единодушно решили, что эта вот, с позволения сказать, рыбачка хвалит мужика и через газету утверждает, что он у нее хороший: сам моет полы, стирает пеленки и белье, водится с дитем, а ей позволяет общаться с друзьями и вот даже на рыбалку отпустил. А все потому, как говорил мудрец Сенека — шофер хлебопекарни: при хорошей жене и муж хорош; кстати, заядлый рыбак этот Сенека: выезжая с руководителем своего предприятия на лед, топил уже три машины — два «Москвича» и «Волгу», но сам уцелел при этом. Опытный рыбак.

Измывательство над женщиной-рыбачкой приобретало массовый характер, и сама природа восстала против того, заступилась за слабый пол: рыбачка вдруг завопила — и только что злословившие мужики со всех ног бросились на помощь женщине, потому как на ее удочку клюнула щучища. Мигом она была извлечена умельцами на белый свет. Раздалбливавшие лунку, упыхавшиеся мужики тут же добычу взвесили на ручном безмене — девять кило с граммами! Щука подпрыгивала, поленом бухалась об лед, сверкая пестрыми, как у африканского удава, боками и темной спиной. Рыбачка таращила подведенные синькой глаза, пыталась говорить благодарствия мужикам.

— И шче же это тако? — вопрос задавал мужичонка, чуть побольше метра ростом, в плаще, низ которого колоколом стоял на льду, скрывая ноги человека. Плащ был перехвачен поясным ремнем и наискосок веревочной петлей от пешни. В руке мужичонки была зажата удочка, грубая, из вереса, с сучками-рогульками на конце, которыми местный рыбак ловко поддевает и выбрасывает из лунки лед. Лицо его, изветренное, изморщенное, напоминало растоптанную консервную банку из-под червей, спереду, с жерла,— всё узко сплюснуто и вытянуто; сзади, «со дна»,— стриженный под бокс затылок без всякого изгиба катко уходил под взъерошенный башлык плаща.

— Эт-то шче же тако? — Мужичонка уцелил в пространство расплющенное лицо с расплющенным, далеко вперед вынесенным носом, ожидая ответа.— Я двадцать пять годов рыбачу! И ни одна баба никовды меня не обрыбачивала! Меня, Кешку-Короба, все Кубенско озеро знат! И вот, я ни... не изловил, баба изловила! Как жить?

— Ну, мушчины! Ну, я же не виновата,— залепетала рыбачка и, переломив себя, добавила: — Возьмите рыбу, если так...

Только этого и надо было Кеше-Коробу: «Да штабы он, Кеша-Короб, взял у какой-то бабы вонючую рыбину! Да она шче, издевается, шче ли?! Как она, вонючка, могла экое поганство придумать?! Он и сидеть-то с ей на одном месте не станет, не то шче рыбу брать! Она же, курва, детей бросила, мужа бросила, квартеру немыту оставила, обед невареный, одёжа нестирана... Дети без надзорности фулюганами делаются, пьют, режутся. Полны колонии преступников, полны города и поселки алкоголиков, воров, обчество погибат, международная обстановка неясная, а она заместо того, штоб охранять этот... как его? А, оптать, забыл. Слово-то старó. А-а, очаг! Заместо того, штоб очаг охранять, она — рыбачить! Это мы куда идем-то?..»

Говоря все это, мужичонка надменно удалялся, шаркая плащом, и за ним суетливо бежала, тыкалась, виновато позванивала острая пешня. Километрах в трех от места происшествия сел Кеша-Короб на лунку и отвернулся от людей.

Солнце обнаружилось уже высокое и начало осаживать морозную пыль, обращая в парное облако изморозь, все шире и шире раздвигая просторы озера. Мужичонка вдали окутался маревом, подплыл снизу, и ящик из-под него ровно бы вынесло синеплещущей волной света, и не сидел он, а плыл, качался на той волне.

Не выдержали и рыбаки, один по одному подались к Кеше-Коробу, и — как сердце их чуяло! — там, в стороне, и начался клев нельмы. Вынув трех дородных, прекрасных рыбин, Кеша-Короб усмирился, лицо его — не лицо, лик рассерженного, сурового бойца — помягчело, и

он позволил себе пару глотков из спрятанной в боковом кармане баклажки. Показывая посудиной вдаль на одиноко и сиротливо краснеющую фигурку рыбачки, Кеша-Короб произнес с ворчливой милостью:

— Ну, ковды так, робята, ковды она нас на рыбу навела, пушшай идет...

Однако ж я отвлекся и перескочу на триста пятьдесят верст, с озера Кубенского обратно на реку, потому как там и произошло светопреставление.

Поскольку в действие скоро вступит московский рыбак, его, москвича, тоже надо охарактеризовать, чтоб уж потом гнать действие без передыху, как в современном театре: гонят, гонят и когда, все в мыле, остановятся, то ни артисты, ни зрители понять уж не могут, куда, кого и зачем гнали.

Москвич — он всегда разнолик и многообразен. В метро он один, в пивнушке и на стадионе — другой, в квартире своей — третий, на производстве — четвертый, на курорте, в туристическом походе по достопримечательным местам — пятый, на рыбалке — шестой!

Водится москвич, как русский ерш, на всяком, даже нежилом водоеме и может съесть икру других рыб, после чего сделает вид, что в водоемах тех никогда и ничего, кроме ерша, не водилось и ничью он икру не ел. Если по старинному, благостно-тихому, архитектурными памятниками украшенному городку идет человек с вольно расстегнутой волосатой грудью и на пузе у него болтается фотоаппарат или серенькая кинокамера, напоминающая птаху с клювом, если на лике этого человека царит гримаса пресыщенности, походка у него вальяжно-усталая, говорит он, как ему кажется, на свежайшем, остроумно-ехидном жаргоне, которым блатняки перестали пользоваться еще полвека назад, кривит губы, глядя на все местное: «Вот когда я был в Варне, в Баден-Бадене, то там...» — это он, столичный житель, отдыхает на российских просторах. Отдыхает и раскаивается, что погубил отпуск. Ведь мог бы в Ницце, даже на Канарских островах... да занесло простофилю по причине патриотизма в Вологду — и что? Кому от этого хорошо? Вологде? России?

Иной столичный житель присвоил себе право считать себя почти голубых кровей породой или нацией и на этом основании желающий получать все лучшее, модное, свежее поперед остального народа, да ежели б ему инвентаря культурного да средствий поприбавить, так уж и дворянином бы себя почел. Но зарплата и жилплощадь не позволяют, и теща никак не умирает — она деревенской породы, крепкая российская баба, фотоаппарат на пузе киевский, если б американский, в крайности — западногерманский... А то так-то уже все есть для подготовки в дворяне: высокомерие, чванство, всезнайство, джинсы с непонятной наклейкой на заду, оплывшие от бледного жирка щеки, круглое пузцо, квартира обколочена жжеными плахами, три деревянные иконки и два медных креста к плахам прибиты, книга Высоцкого «Нерв» на полочке, сенбернар, таскающий на улице сумку в слюнявой пасти, лающий среди ночи на врагов,— этакий шалунишка, норовящий запрыгнуть сзади на гостя, особливо на гостью; восторженно влюбленная в искусство, модно одетая хозяйка, знающая, к какому вину идет сыр рокфор и к какому совсем ничего не идет, коньяк, допустим, надо во рту подержать, потом уже проглотить, но вот к «шизано» из Италии хороши апельсины: «они ж, итальянцы ж, питаются ж исключительно апельсинами да еще макаронами. Отсюда итальянский темперамент! Вы с последней книгой Феллини не знакомы? Мыслящему человеку она необходима, как воздух. Он же ж возвысился до самой высокой правды, он же ж не щадит ни строя, ни правительства, даже народ критикует...»

На рыбалке москвич скромен. На пути к водоему старается не выделяться, трется в массах. Попавши на лед, садится в стороне, даже

луночку сверлит норвежским сверлом так, чтоб никому шумом не досадить, никого собою не потревожить. Пообвыкнув, он выцелит зорким глазом рыбака мастерового и обязательно местного, как бы между прочим заинтересуется его снастями, подарит мормышечку, отливающую лампадной краснотой, и скромно заметит, что мормышка эта из вольфрама, самая необходимая для больших глубин, изготавливают ее только на предприятии, номер которого он, если бы даже и захотел, сообщить не может.

Люди! Будьте бдительны! Берегись, рыбак! Не развешивай уши! Под эту мормышку вежливый москвич выведает у тебя все про здешнюю рыбу и про рыбаков. Чуть позже он угостит тебя коньяком из именной фляжки, отмотает три метра японской лески — и за все за это угодит к тебе в дом — на ночевку. Он уже ведает, что висят у тебя, рыбака-простофили, иконки, доставшиеся от родителей, медный ковш, колоколец, есть старинная книга и канделябр, вывезенный из какого-то дворца в смутные годы. Более всего берегись тот рыбак, у которого дочь на выданье или еще молодая, ладная жена. Посидит за столом такой столичный гость, поблагодарит за еду, потом вскинет рыло к потолку и как бы в пространство ловко ввернет: «Есть женщины в русских селеньях!..» А ей, нашей русской бабе, того только и надо, чтоб отметили, что есть она, есть еще! В русских селеньях...

И останется у твоей дочери в кармашке телефон, жена вдруг заявит, что как же это она почти тридцать лет прожила с неотесанным олухом, который ни есть, ни пить культурно не может, умственного разговора от него не дождешься и вообще...

Уедут иконки родительские, колокольцы и канделябр вместе с уловом местных рыбаков. Скупленная у черепян за бутылку, обошлась рыбка московскому гостю по пятнадцать копеек за кило. В Москве он слупит по рублю за каждую голову и потрясет произведениями древнего искусства «знатоков», осмеёт серую доверчивую деревню, где он выморочил домашние реликвии и посеял смуту в доме, пообещав устроить дочь в институт, где сразу на артисток и на переводчиц учат.

Итак, массы в сборе, хотя и сидят порознь. На самых уловистых, с точки зрения массового рыбака, местах, почти друг на дружке — черепяне; в отдалении от них, на свежем, еще не испещренном льду,— рыбак вологодский, далее — пестро и разнолюдно — приезжий из дали народ.

Ясный день апреля. С серых холмов все скорее, все пенистей, все урчливей бегут ручьи; по всем оврагам, щелям и ложбинам несутся они, мутные, пьяные, тащат мусор. Отъело лед от берегов, и он горбато вспучился, снесло с него весь сор, всякое дерьмо и отбросы, столь щедро везде и всюду выделяемые высшим разумным существом, подровняло бугорки возле лунок, и сами лунки объело по краям, округлило и расширило. В лунках плавает, кружится тля и какие-то блеклые метлячки. Их утягивает под лед. Рыба кормится и берет хорошо. В основном берут плотва и подлещик. Плотва выдурила до килограмма весом, лещ — наоборот, усох до подлещика. Пахнут они торфом, болотиной, у плотвы ребра — что у колхозного барана, и в ухе, и в жарёхе рыба невкусная. Но ее ловят, солят и вялят меж рамами окон либо готовят по особому рецепту, отбивая дух уксусом, марганцовкой, мочат в молоке.

Лихо берет пучеглазый ерш с раздутым от икры мыльным пузом. Бандой налетает пестрый окунь, обрывает мормышки, сеет панику среди рыбаков. Мечется по льду рыбак, сверлит лед, торопливыми пальцами вяжет мормышки.

Черепяне к предобеденной поре, упавшие вместе с ведром на лед, не выпуская удочки из рук, просыпаются, вскакивают и, ничего не по-

нимая со сна, озябшие, дурные, на всякий случай начинают громко повторять: «Кошмар! Кошмар!».

Выяснилось: Кошмар — это фамилия сменного мастера в доменном цехе, и ругать его на всем комбинате привычно и необходимо — для согрева тела и успокоения души.

Все было в тот день, в день надвигающегося светопреставления, так же обыденно и привычно. Для меня день начался и вовсе небывало. Я долго работал над книгою, тоже о рыбе и рыбаках, извела она меня, измотала. Хворал я после нее долго, в больнице валялся. Хвать-похвать — зима прошла, я ни разу на льду не был, ни единой рыбки не поймал. Тут меня, еще полубольного, иглами в больнице истыканного, лекарствами отравленного, и позвали на рыбалку.

Утром ринулся народ толпами с поездов, с машин, со станции, из поселков на лед. И я за народом поспешаю. Народ — он вдаль прет, к большой, невиданной рыбе. Мне невтерпеж. Увидел первые лунки с темной водою — и скорее удочку сунул в мокро. Разматываю вторую удочку, отмеряю дно, как вижу: поплавок у первой удочки медленно так и уверенно пошел в глубину. Ну, думаю, течение в водоеме от весенних потоков получилось, поддернул удочку — на ней вроде бы коряга, я выбирать леску — нет, не коряга на ней, что-то кирпичом висит и не ворочается, но на свету, в лунке зашевелилось. Тут я совсем проснулся, заспешил, заперебирал леску и выпер на лед большую рыбину. Смотрю: вроде бы язь, но чешуя крупная, со спины рыбина темная, глаз и перья у нее красные. И не голавль, и не жерех. Кто же это? — спросил у проходящих рыбаков. Они небрежно сказали: сорога. Плотва, значит. Я, сколь на свете ни жил, сколь ни удил, больше ладони сороги не видел. Пока я недоумевал, на вторую удочку клюнуло — и опять попалась плотва, чуть поменьше. Наживил я удочки, сижу, теплой сырью дышу, слушаю звук все явственней, все громче пробуждающегося утра, слушаю из ничего возникшего жаворонка, гляжу на чубчик сосняка, чудом спасшегося от современного топора. Солнцем меня начало пригревать, и тут я обнаружил, что сижу и плачу.

И сразу понял я всю исходную причину слез: мог сдохнуть в больнице и не сдох, до весны вот додюжил, на рыбалку попал, и сразу мне бог — конечно, он, кто же еще? — за все мои терпения и муки рыбу послал, жаворонок кружится, сквозь живые еще сосны живое солнце прожигается, мощный хор металлургов блажит насчет пропажи резинки от трусов, рыбы прыгают у моих ног, мною пойманные!.. Хорошо-то как, господи! А я уж чуть было не согласился все это покинуть. А на кого? Вместе со мной ведь и вправду кончится мир. Мой. Никто не поймает моих рыб, никто не порадуется моей радостью. Ну и что, что гавкают собаки, горланит радио,— все конторы нынче радиофицированы. Заставь дураков богу молиться...

Работая в районной газете, я и сам настойчиво внушал читателям, что есть, есть еще отдельные недостатки в жизни, не изжита преступность, склонность к алкоголизму, к присвоению как частной, так и государственной собственности.

Но если бы все люди в это апрельское солнечное утро ловили рыбу, любовались солнцем, бьющим сквозь гривку сосняка, выскочившего на простор бережка, я верю: они не смогли бы творить черные дела, они бы умилились так же, как я, и им бы захотелось жить благостно и чисто...

— Это шче же тако, оптать?!

Знакомый вопрос и знакомый голос вывели меня из задумчивости. С большой неохотой я расстался с иллюзиями, опустившись обратно на землю, точнее, на берег реки, обнесенной по ту и по другую сторону сложно переплетенными проволоками на заборах, заплотами, будками со все еще светящимися с ночи лампочками. Из бу-

док тех глядели на рыбаков иззябшие сторожа и, чтоб скоротать время до смены, подавали советы: где сверлить лунки, на какие блесны и мормышки рыбачить, до какой глубины их опускать и как покачивать.

— Это шче же тако, товаришшы?

Я окончательно проснулся и увидел перед собой человека в плаще, стоящем колоколом на льду, с лицом, напоминающим растоптанную банку из-под червей, с удочкой из ветки вереса, раздвоенной на конце, с миллиметровой жилкой, к которой была крепко и надежно привязана грубая блесна, формой напоминающая почти уже исчезнувшую рыбку — снетка. Снетка кушают: люди, кошки, собаки, поросята, курицы, нельмы, щуки, судак, жерех, язь, даже лещ и крупная сорога, если зазевается малая рыбеха, имают и жуют ее, а он, снеток, никого, кроме блошки, мошки слопать не может.

Передо мной стоял Кеша-Короб. Я его узнал, он меня нет, потому как на Кубенском озере бывал я в массе рыбаков, ловил сорогу с ершами, Кеша же Короб был рыбаком избранным, охотился за нельмой, судаком, щукой да за крупным окунем и запомнить меня, как специалиста незначительного, мало чего стоящего, не мог.

Я утер слезы рукавицей и вопросительно глянул одним, еще не защурившимся от ослепительного солнца глазом на знаменитого рыбака.

— Ак, шче, экой срам несут! — пояснил Кеша-Короб,— послушал этих черепян, дак хоть к дитя́м не являйся. Заразисся от их, оптать...

«Батюшки-светы! — я протер меховой оторочкой рукавицы сперва зрячий глаз, потом, на всякий случай, и второй, незрячий.— Да уж Кеша ли это? Короб ли? Не огляделся ли я?» Да, передо мной был Кеша-Короб, но ни матюка, ни намека на ругань, кроме «оптать», который в его исполнении ругательством-то и не звучал, с изветренных его уст не то что не срывалось, но даже и в отдалении не предвиделось. И тут я, еще в детстве числившийся в колдунах, своим притчеватым языком ляпнул:

— Светопреставление! — И не придал, как и многие современники, никакого значения слову, а надо бы.

Кеша-Короб бросил блесну в обтаявшую лунку, она звякнула о край льда и, булькнув, исчезла в глубине. Знаменитый рыбак по-прежнему никаких крючков и мормышек не признавал. На Кубене с пашен и притоков смыло прошлой весной удобрения, и берега знаменитого озера покрылись дохлой рыбой. Не рыбачить Кеша-Короб не мог, в рыбалке был весь смысл его жизни, и, прослышав про здешнего, тучей плавающего судака, он подался в незнакомый край, сделав крюк в триста пятьдесят верст, появился на новом водоеме, вдали от родины. Привыкал к новой местности, к рыбакам, среди которых никто не знал, что там, у себя дома, Кеша-Короб — царь и бог, тут же — рядовой рыбак, и никакого ему почтения, да еще эти черепяне, пропахшие металлом, опаленные огнем,— мирному человеку, сыну скромной природы, с ними непривычно и тревожно.

Переходя от лунки к лунке, Кеша-Короб обрыбачивал водоем и на свою корявую блесну цапнул уже трех мурластых окуней и одного судачонка школьного возраста — не гуляй без мамы!

В мирный весенний день, под всё тем же светлым солнцем и вешним небом, на отдаленном водоеме сошлись и разошлись два рыбака. Кеша-Короб, идя от лунки к лунке, все удалялся и удалялся; я, еще недавно мрачный, тяжелый душою, недовольный современной действительностью, культурой вообще и литературой в частности, радостно голосил:

— «Как прекрасен этот мир, посмотри...» — далее слов я не знал в этой песне, да и какую голову надо иметь, чтобы современную песню запомнить? Это может сделать только Русланова, не та, покойная Рус-

ланова, другая какая-то. Когда рыбаки ждали рассвета в битком набитом вокзалишке станции новая Русланова вела песнь по радио, на слова Шаферана: «Надира дам, я твоя! Надира дам, я твоя...» Один рыбак не выдержал и восхитился: «Ну и память, мля...» А я подумал про поэта: «Ну и гигант!» И вот, продляя удовольствие, я тянул как можно длиньше: «Ка-а-а-а-ак пре-э-э-экра-а-а-асе-е-ен!.. Надира дам... нади-и-ира да-ам...» — и уже склонялся к мысли, что у меня получается не хуже, чем у самого Рашида Бейбутова, как вдруг весеннее солнечное пространство пронзил, именно пронзил страшный вопль. И я увидел не бегущего, прямо-таки летящего надо льдом по водоему Кешу-Короба, без удочки. К этой поре все вокруг заметно подтаяло, на льду маслянисто светилась вода, местами собравшаяся в лужи и по проеденному льду стекающая в лунки. По бокам Кеши-Короба взлетала ворохом вода, брызги, создавалась полная видимость стремительности полета птицы.

Продолжая вопить, Кеша-Короб бежал не ко мне, человеческой одиночке,— к массам бежал, которые он совсем недавно критиковал за непотребное поведение, заплетался в плаще и часто падал. Ляпнувшись в холодную воду, он катился какое-то расстояние по льду на брюхе и вопил пуще прежнего. В голосе его нарастал ужас, переходящий в рыдания. Очень походил Кеша-Короб не только на птицу, но и на драпающего по фронту славянина, и вел он себя соответственно драпающему, в панику впавшему вояке: бросил боевое оружие — пешню, удочку, на ходу скинул рюкзак, оборвал петли на плаще и пытался скинуть его с себя, но плащ задубел от мокра, Кеше-Коробу удалось сцарапать его лишь с одного рукава телогрейки, далее ему не хватило сил и мужества раздевать себя, скомканный плащ с задранным рукавом мчался за Кешей-Коробом вроде дурной собачонки, хватал его за ноги.

Народ весь вскочил с ведер, с шарманок, с чурок, с магазинных ящиков, натасканных на лед, сгрудился, сошелся в кучу и окружил Кешу-Короба. Вопль прервался, и я увидел в разрыве масс, как отпаивали Кешу из бутылки, после чего он стал указывать рукой в сторону лунки, где бросил удочку и пешню, и что-то говорил, говорил и, чтоб унять душевное волнение, сам уж, по собственной инициативе, припадал к бутылке.

Осторожной, молчаливой цепью двинулись рыбаки к лунке, возле которой кинуто было боевое снаряжение рыбака. Сам он прятался за спины наступающих и оттуда, словно командир роты, давал руководящие указания.

Я тоже есть русский человек, подверженный природному любопытству, хлебом меня не корми, дай посмотреть на драку или на свадьбу, бросил я удочки, забыл про рыбалку и двинулся встречь народу, как бы олицетворяя собою партизанскую силу, действующую с тыла.

Не доходя до Кешиной лунки сажени три, наступающие цепи замерли. И я замер.

На льду, жестким, багровым брызгаясь хвостом, лежало существо, отдаленно смахивающее на рыбу, точнее сказать — сразу на несколько рыб: на ерша, на окуня, судака и еще на кого-то из будущего, на нас надвигающегося. Прежде всего замечались на существе колючки: всё оно было ощетиненно-иглисто — по спине, и по бокам, и под грудью, и на жабрах,— всё сверкало стальной остротой, хребет был темен, неопределенного, илисто-серо-болотного цвета, такие же бока, и только туго набитое лягушачье пузо пучилось жизнерадостной сытостью, отливало жестяным блеском, да хвост и перья под колючками, наполненные вроде бы запекшейся кровью, кое-где йодисто-разжиженною, оживляли круглое тело, не то на большое веретено, не то на нерасколотое полешко похожее.

Забравши в твердую, двумя подковами объятую, беспощадную пасть блесну Кеши-Короба, речной новожитель и здесь, на миру, с хрус-

том, со скрежетом продолжал ее жевать. Лежать ему на боку и хлопаться об лед надоело. Опрокинувшись на брюхо, существо глянуло на народ нездешними глазами, наполовину закрытыми щитками, изготовленными вроде бы из космического, небьющегося, негорящего, пуленепроницаемого металла. Когда оно заводило глаза под щитки, взор делался запредельно-жутким, вся морда с пастью от глаза до глаза была отмечена печатью надменной враждебности. Наконец оно выкатило мутные, в то же время вострозрячие глаза и словно бы усмехнулось: «Ну, что? Поймали! Жрать будете?! Жрите-жрите! Сегодня вы нас, завтра мы вас...»

— Это шче же оно тако? — чуть слышным шепотом вопросил Кеша-Короб, высунув востренький нос из народа и на всякий случай держась обеими руками за чей-то плащ.

Народ безмолвствовал. Даже черепяне были тихи и как бы маленько не в себе.

И долго бы томился и думал народ, потому как народ наш не думает, не думает, да как задумается, то уж надолго, да в это время снизошел до масс московский рыбак, одетый в комсоставскую меховую одежду, без звезды на шапке, значит, не отставник — тот ни за что не сымет звезду с шапки и шапку с себя...

Раздвинув плечом рыбаков, москвич приблизился ко все еще валяющемуся, продолжающему скрежетать блесной существу, безбоязненно наступил ему на голову меховым командирским сапогом. Под сапогом захрустело, зев с блесною широко растворился, обнаружив по всему рту, и снизу, и сверху, и с боков, острую россыпь металлически сверкающих зубов. Хвост протестующе захлопался по мокру, оно расшеперилось еще страшнее пастью, жабрами, плавниками и, не смирясь, не сложив колючек, унялось, совершенно на усопшего не похожее — существо водяного происхождения.

— Ну, что вы, ей-богу, как с неба свалились! — сказал московский рыбак.— Это же берш.

— Хто-о-о?!

— Берш. Новая, стихийно возникшая популяция рыб. Кое-где она и раньше встречалась, по южным рекам и озерам. Но вот появилась и здесь. Нерестилища нарушены, ход рыбы смешан. Вы когда-нибудь о такой рыбе, как ротан, слышали?

Нет, не слышали о ротане здешние рыбаки — по лицам угадал москвич и поведал, что рыба-ротан может обитать в любой луже, даже в мазуте, питаться может всем, вплоть до старых резиновых сапог и колесных шин, видимо, ближайшие поколения ротана уже начнут жрать гвозди, скобы, лопаты... Самого же ротана едят лишь пока избранные любители редкостных блюд, с закаленным брюхом. Что касается берша — это смесь судака, окуня и ерша. Главное действующее лицо в нем — ерш, со всеми его колючками и повадками. Но есть еще кто-то, науке неведомый. Может, аргонавт...

Народ продолжал безмолвствовать, и после того, как закончилась лекция, лишь спустя большое время, обреченно было выдохнуто:

— Опта-а-ать!..

— Началося! — прошептал вологодский благонравный рыбак и украдчиво перекрестил себя по животу.

— Чё началось? Чё? Ты больше каркай! — налетел на вологодского рыбака очнувшийся черепянин, тот самый, у которого на груди было начертано складное обращение к дедушке Калинину насчет милосердного к нему снисхождения.

— Светопреставление, вот шчо! — заявил Кеша-Короб и обратился к народу: может, мол, кто возьмет эту тварь себе?

Черепянин тут же сгреб берша под жабры и пошел прочь. Кеша-Короб сперва растерялся, однако скоро спохватился:

— Э-э, а блесну-то!..

— Я думал, ты мне хычника с блесной подарил! — осклабился черепянин рваным ртом, сплошь забитым стальными зубами, и, выдрав блесну вместе с яркой, но тоже колючками усыпанной жаброй, бросил удочку к ногам удрученного рыбака Кеши-Короба.

В тот день Кеша-Короб от народа более не отрывался, утром терся ближе к поэтическому черепянину, заглядывая ему в лицо, отыскивая в нем значения или перемены.

— Ты нишчо, а?

— Ничё-о-о! — зевая блескучей пастью, ответил черепянин. — Вкусная, гада! Ели под водяру и облизывались. Имай ишшо, оптать!

Более Кеша-Короб на реку не приезжал: покрыло ее устье, добычливое место, вторым валом воды, да и отнеси от греха подальше! — рыбачил только на родном водоеме — озере Кубенском, постепенно дойдя до унизительной ловли сороги и ерша. Там, на озере Кубенском, и загинул Кеша-Короб — провалился весной под лед и утонул.

Совсем недавно одному своему приятелю-рыбаку, объездившему всю страну по вербовке и обрыбачившему многие реки, моря и озера, я возьми да и расскажи о светопреставлении, случившемся на вологодской земле. А он не смеется. Он мне как резанет: не зря, мол, вас, интеллектуалов задрипанных, кроют за отрыв от жизни — берша ловят уже повсюду. В озере Аральском берш сожрал всю рыбную мелочь, дошел до осетровых, коих от веку никто, кроме человека, на земле не ел. Уж на что налим — тварь всеядная, в холодной зимней воде, когда все рыбы в спячке, выедает все подчистую, кроме осетровых костерек, веретешек-стерлядок, потому как распорют они его «отселева и до Камчатки» бритвенно острыми хребтовинами. Бершу все нипочем, он — существо будущего времени, преодолел все преграды, растет не по дням, а по часам, хватает всякую тварь не только в воде, но и над водой: птиц, змей, крыс, цапает любую блесну, обрывает лески, протыкает резиновые лодки; докатился слух, будто кто-то на южном озере схватил купающегося невинного ребенка за ногу и уволок в пучины вод.

Не иначе как берш. Но, может, еще неведомая нам тварь? Может, происшествие на реке было и на самом деле началом светопреставления, сигналом к тому, чтобы мы почаще думали о надвигающихся на нас чудесах в природе...

Слепой рыбак

Бригада работников горгаза, возглавляемая крупным, стойким к вину и холоду человеком, Кир Кирычем, имела в своем распоряжении крытую мощную машину, которой и топи, и льды, и грязи были нипочем, потому что водил ее шофер такого класса, какой нигде, ни в каких бумагах не обозначен. Мог он ездить без дорог или по таким местам, где дороги были проложены еще при Петре Великом и с тех пор не ремонтировались.

Щупленький, белесый волосом, сухотелый, голоса никогда не повышающий, шофер Гриша знал свое могущество и секрет владения техникой, тайно этим гордился, и когда его связчики по артели одобрительно о нем отзывались, он вроде принимал их сдержанную похвалу равнодушно, даже с досадою, но ликовал в душе и гордился собою — это ему было нужно «для самостоятельности». Жена его, Галька, гладкая телом и умом, сумевшая совершить в жизни лишь один подвиг — родить дитя на пять с половиною кило весом и от этого заз-

навшаяся, мужа как человека презирала, но уважала как техника, все умеющего по дому и — к удивлению ее, почти потрясному — почитаемого в трудовом коллективе, одержимом одной общей страстью — рыбалкой, в особенности зимой.

Гриша рыбачить не любил, даже удочки своей не имел. Он, пока доблестная артель промышляла, занимался хозяйственными делами — оборудовал машину, и как оборудовал! Попавши первый раз в «салон» машины, я поразился удобствам ее: по оба борта кузова фанерой и жестью обитые сиденья с подъемными крышками, вовнутрь которых ставились шарманки, складывалась рыбацкая одежда, обувь; отдельно отгороженная ниша — для ледобуров и пешней; еще ниша — для кастрюль, тарелок, ложек; ниша, обитая кошмой,— для бутылок. Ящичек, куда-то и во что-то вделанный,— для специй и соли. В изголовье смонтирована газовая плита, баллончик упрятан под сиденьем. И есть еще откидные койки — хотя Гриша в тюрьме и не сидел, но опытом изготовления подъемного топчана у кого-то, скорей всего у газовиков из подвижных колонн, разжился. Были шахматы, шашки, домино, несколько зачитанных книжек и журналов, все больше по технике, но когда опустился потолок машины и тут же был перевернут поджатыми ножками вниз и сделался столом,— все посмотрели на меня со значением. Даже дядя Яша, пятый, а со мною шестой тут человек, вечный пенсионер и непобедимый рыбак, за талант рыбацкий пущенный в дружную семью газоремонтников, победно улыбаясь, спрашивал меня взглядом: «Каково?!» Пошатав стол, я сказал: «Да-а!»

Поскольку преград на земле для газовиков не существовало, они рыбачить ездили на малолюдные водоемы и достигли таких глухих районов, что редкие жители, избывающие тут остатные годы, выходили глядеть на них, как на космонавтов.

Выбор газовиков пал на Вороновскую сплавную систему. В глуби утихших лесов и обезлюдевших деревень кто-то невидимый, скорей всего вербованные заготавливали древесину, но как ее отсюда вывезти — долго придумать не могли. Помощь пришла от мелиораторов: они по карте указали цепь вороновских озер, в которые весной обрушивалась проснувшаяся речка Вороновка и соединяла их в сплошной водоем на сто с лишним верст. Требовалось лишь кое-где сделать в завалах прорубы, свалить старые деревья, посечь кустарники, углубить перемычки и не дремать во время половодья.

Летом вороновские озера округлялись, утихали, останавливались, цвели лилиями, сыто пупырились кувшинками, в них кишмя кишел малек, кормились с топляков плотвички, язята, ерш, обожравшийся по весне дармовой икрой, лез пьяно на кого и куда попало, клевал лениво, но безответственно на все, что ему совали под нос. В озерах из-за гнили вывелся гольян, елец, хариус, исчезли раки, но зато щуке и окуню был тут полный простор для хулиганских действий и разбоя.

Газовики, пробивши путь к вороновским озерам, примолкли и долго своего удачливого места никому не выдавали, кроме дяди Яши, умевшего держать язык за зубами. Останавливались они на ночевку в селе с угрюмым названием — Мурыжиха. Стояло оно на холме с молчаливой многоглавой церковью посредине. В Мурыжихе еще жило несколько семей, но большей частью одиноких старушек, этих бессменных сторожей и хранителей умолкшей русской деревни и заросших пашен. Остальные деревушки кругом были пусты, развалены, заросшие хламом, в глуби леса превращенные в лесозаготовительные «опорные пункты» и сплавные лесоучастки.

Поближе к излуке, соединяющей два ближних озера, стояла большая, черная от времени изба с завалившимися надворными постройками, с чердачным широким «фонарем» с выбитыми стеклами и качающейся на ветру створкой рамы, которая ночами хлопала от ветра, но

не отваливалась, потому как была приколочена на долгие годы. Надворные постройки пилили на дрова, на месте их стеной стояли репьи-деды, чернобыльник, жабрей, крапива, в которой копошился застарелым шершавым листом давно уже одичавший и ягод не рожающий смородинник. Теснимый сплавщиками ивняк, волчатник, ольховник, черемушник да бузина отступали с берегов на когда-то родливые поля, огороды, забрались в сады и задушили их, тулились к избам, окружали их и вбирали в себя. Половина Мурыжихи, если не больше, была уже пленена вольным, сорным лесом, и лишь в центре села были натоптаны тропы, лаяли собаки и дрались кошки. Здесь еще жил и отворялся раз в неделю магазинишко, предусмотрительно переименованный на вывеске в магазин товаров повседневного спроса и этим как бы вовсе отчуждившийся от людей. Но людям, особенно сельским, привычна была перемена вывесок, они от детей и внуков, наезжающих летами, знали, что где-где, а в русском селе от всякого рода переименований, от перестановки слагаемых сумма не меняется, точнее, меняется, да только в одну сторону — к убыли. Никаких товаров — ни повседневного, ни долговременного спроса — в новопоименованной торговой точке не было, остались от ранешного магазина битые молью валенки, хомуты и узды для изведенных лошадей, железные детские салазки, хотя детей здесь давным-давно не водилось, железные доски, на которых отчеканены были голые девки с рыбьими хвостами, лупоглазые пластмассовые куклы, несколько кос, граблей и железных печек, которые никто не покупал. Некому было косить, копать, граблить — народ в приозерном краю, доживая век, постепенно забывал землю, ремесла, обряды, труд, снова, как при царе Горохе, мылись в русских печах славяне, в огородах тыкали выродившуюся, малоурожайную картошку, чернеющую в середке, кое-где морковь и редьку, за капустой, луком и чесноком и за яблоками ездили осенью на сплавщицком тракторе в ближний городишко. Бабы забыли, как и что варить, разучились стряпать и ткать, шить и молиться, но все люто матерились, сплетничали и смекали «средствия» на выпивку, добывая копейку сдачей потребсоюзу клюквы, грибов и лекарственных трав, пуская «на фатеру» пьющих сплавщиков, летами — диких туристов и отпускников, под видом рыбалки браконьерствующих по пустым избам в поисках икон, прялок, половиков, керосиновых ламп, самоваров, братин и прочей старины.

Веснами в Мурыжиху трактором, по крышу кабины залепленным грязью, в грязных мешках привозили серый хлеб, который, будучи горячим, рассыпался вроде блокадного, а в охладевшем виде делался что бетон; облезлые, точенные мышами пряники, желтый и сырой сахар-песок, бочонок постного масла, ящика три-четыре болгарского перца, который никто из селян не покупал — не знали, едят ли его; низкие, вспученные баночки «завтрака туриста» со сгнившей в них килькой, которым уже не раз тут люди травились, слипшиеся, мертвенно-голубенькие конфетки и, сверх всего, козырный, сладостный товар — «бормотуху» да фигурные, кокетливые бутылки, чуть не до пробки налитые слезою детской, светленькой, с не по-русски писаной бумажкой: «Руссиян водка».

Из лесов, из-за холмов, озер и болот поднимался, будто на древнее вече, подтягивался в Мурыжиху разрозненно живущий по селам и деревенькам люд, и, случалось, из какого-нибудь села никто не являлся на рык трактора — значит, кончились земные сроки еще одного русского человека, выпил он чашу жизни до дна и не нужны ему больше ни доступная по цене «бормотуха», ни дорогая, по праздникам потребляемая «светленькая» — ничего не нужно: ни милостей, ни пенсии, ни наград. Лежит без божьего надзора, в пустом селе, в полусгнившей избенке, лежит бесчувственный, всем чужой, никому не нужный, и будет лежать до тех пор, пока не порвут его на куски и не растащат по

темным чердакам одичалые кошки, не доточат мыши, не придавит его останки подгнившей кровлей собственной избы — последнего прибежища, из родного дома превратившегося в могильную домовину.

«Царство ему небесное!» — перекрестятся земляки его возле магазина, да тут же и забудут о покойном, потому как есть дела поважней: магазинной очереди соблюдение, слушанье новостей, принесенных издалека, приближение к оглушающей память, отбивающей почки, печенки и селезенки «бормотухе» — господь им судья, этим покинутым нами людям...

У дома, на излуке захлестнутого цевошником и дурнолесьем, сохранились ворота, по тесаному столбу ворот, будто подвешенные, ржавели звездочки. Пять штук. Верхняя, большая, — хозяин, голова дома, остальные четыре — поменьше, — никто не вернулся с войны в этот дом, на это подворье — ни отец, ни сыновья.

Хозяйка заколотила летнюю половину — тяжело отапливать. Но и зимняя половина, состоящая из кухни и «залы», была просторна — строилась изба на большую семью. Хозяйка была хоть и беззуба, да еще шустра, к газовикам приветлива. Поначалу она положила на каждого рыбака по двадцать копеек за ночевку, но когда Гриша починил крышу на избе, подладил пол в кухне и крыльцо, бензопилой напластал дров на зиму, и не на одну, — от платы скрепя сердце отказалась. Да и как не отказаться: уезжая, рыбаки одних пустых бутылок на сдачу сколько наоставляют, и хлебушка, и соли, когда и баранок, и пряников, и «канцэрву», и сахарок, да и подадут «рюмоцьку-другу» бесплатно, побеседуют, ободрят.

Весело в дому с рыбаками. Дай им бог здоровья и клеву на уду.

Я обратил внимание, что хозяйка никак не называет своего отчества, а рыбаки-газовики науськивают: «Спроси, спроси у нее отчество!» — и отчего-то посмеиваются. Хозяйка в ответ: «Да наплюю-ко я на отчество! Не больно и вельможа — навеличивать-то». Дядя Яша тихо сообщил: «Адольфовна она. Будто галился поп, будто знал, долгогривый, что всю ее семью Адольф Гитлер сожрет...»

О русская земля! Где предел твоему величию и страданию!..

А над вороновскими озерами сияло весеннее солнце. В хорошо промытом, бездонном небе по голубому чертили круги темные точки жаворонков. Скворечники в деревнях попадали, но скворцы все равно прилетели и щелкали, насвистывали, устраиваясь на жительство в дуплах старых деревьев, рычали в полях грачи, ломая ветви клювами и таская их в сопревшие гнезда, на ремонт; снег еще лежал по лесам и болотам, но на озерах и по Вороновке его съело, лед у берегов прососало, вот-вот должно было поднять и обсушить зимнюю твердь, но пока отовсюду катилась в озера и в речку вода, катилась ухарски-разбродно — тащила мусор, хвою, старые листья, ветви, обломанные ветром и тяжелым зимним снегом. Верхнюю, грязную воду гнало по промоинам, к рыбацким лункам, вращало в них волчками потоки, разъедало лед. С утра продрогшие, в полдень рыбаки поскидывали плащи, полушубки. Кир Кирыч разделся до пояса — загорал. Гриша, от нечего делать сколотивший два скворечника и залезший на ворота, чтобы приставить их к столбам, кричал издалека что-то веселое, ему махали руками, одобряя его действия, показывали рыбину — большую щуку, попавшуюся ночью на живца, показывали много раз и с разных мест. Гриша думал, что щучин наловили три мешка.

Окунь брал снисходительно, только у берегов и только на мотыля

да на желтенькую мормышку — наелся, стервец, важничал, собирая корм с травы и кореньев, зато сорога и ерш не давали опустить леску под лед. Дядя Яша как припал к лунке в излучине, так и не разгибался с утра, то и дело подсекая и шустро выбирая из лунки леску с добычей. Вокруг него серебристым венцом шевелилась на льду разнокалиберная рыбешка.

Теплый ветер с полей, холмисто подступавших к озерам, раздувал уже зеленую дымку по седловинам, сушил склоны, торопил желтые, мутные ручьи, поддавая им полноты и ходу, взбодрял по берегам мясистую калужницу, проколупывал землю тугой щепоткой сизых всходов медуницы. По мокрым ольховникам белели тихие ветреницы, поверху желтел праздничными ворохами вербач, ивняк и сыпали коричневой перхотью сережки осинников и ольх.

Мир и весна царили над заснувшим вороновским краем, и весна пыталась отогреть, пробудить его от скучной спячки, населить скотами, птицами и всякой живой тварью, цветом, травой, семенем. Да не слышалось ответной радости, не ощущалось никакой весенней суеты и праздника, не орал из деревень пастух, не мычали коровы, не маячил в пустом поле сонный, линяющий конь, и пахарь не мял в горсти подсыхающую землю, не нюхал новую травку, не брал на зуб семя, чтоб ощутить в нем тягу к земле, и сама родливая земля, обездороженная, пустая, теснимая со всех сторон кустами и бурьяном, сиротски ежилась под ветром, пускала по себе талые воды, дурные, шатучие, потом сохла морщинами, пылилась и трескалась, превращаясь в овраги и куда-то таинственно исчезая.

В полдень, как стало совсем тепло и просторно, возле одинокой избы, стоявшей за озером, против Мурыжихи, единственной избы, уцелевшей от заречного хутора, появился человек, осторожно спускаясь к излуке по склону, по мокрой траве, подал руку дяде Яше, постоял возле него, поговорил о чем-то и, подставив щеку под ветер, мелкими шажками, бочком пошел по озеру, останавливаясь возле каждого рыбака и непременно протягивая ему руку. Так он дотянул и до меня, пощупал каблуком резинового сапога лунку, бросил в нее сверкнувшую на солнце блесенку и заподергивал удилище. Подергал, подергал и, глядя поверх моей головы, спросил: «Кто ты, новый человек на озере?»

Я вдруг понял-догадался: рыбак слепой! Не мог ничего сказать от удивления.

— Да вы рыбачьте, рыбачьте,— успокоил меня рыбак.— На меня внимания не обращайте. Я с войны слепой. Зовут меня Жорой. Ударило меня в голову осколком. В госпитале отлежался. Вроде ничего, маленько вижу. Домой вернулся, ожениться успел. Надо бы в город, врачам показаться, а тут работа. Колхоз еще на ногах был. Налогами задавили. И начало совсем зренье падать, от перенапряжения, чё ли. И головой шибко маялся. Ну и ослеп совсем. Как ослеп, голове легче стало. А озера наши я помню с детства. Изныл от безделицы. Вышел както, на чужу удочку попробовал. Ничего. Ловко. Когда ерша, когда сорогу, когда окуня, чаще себя за рукав либо за штаны изловлю. Одинова — за губу. Во, смотри, вырезали,— ткнул он пальцем в верхнюю губу, где крылатой птичкой краснел маленький шрам.— Клевало как раз хорошо, так я рыбаков попросил ножом вырезать, чтобы время не терять на больницу.

Словоохотливый рыбак каждому свежему человеку рассказывал свою историю, привычным голосом, привычными словами, объяснял, что чаще всего ходит на озера, когда ветер: по ветру легче — подставит щеку и чует, как и куда идти, все ветра он знает по звуку, запаху, по силе и прочим приметам. Если восточный ветер, сыро, хмарно — зассыхой он здесь зовется, тогда рыба на вороновских озерах почти не клюет, разве что ерш; при северном ветре, он резучий, часто студеный,

нелюдимый, сиверко-то,— клева тогда тоже почти нету, оголодалая щука, если ей на нос блесну кинешь, по-собачьи цапнет, с досады оторвет блесну и стоит, жует отечественный металл. Вот московский ветер, западный, да еще полуденный, южный,— это уж благодать, это уж добро, и рыба берет охотно, и солнышко, даже зимой, пригревает, и народишко, глядишь, откуда-нито занесет, а он, Жора, народ любит и выходит не столько уж и порыбачить, сколь беседу повести, новости узнать, рыбацкой снастью подразжиться — в Мурыжихе ничего не продают, ни крючков, ни лесок, да и рыбачить некому — все в магазине рыбачат.

В тот же день пришла в Мурыжиху сплавщицкая лавка, установленная на тракторные сани. По озерному краю началось оживление — в лавке было вино под названием «волжское», водка под названием «особая» и «перцовка» — специально для промокших и стынущих людей. Газовики стали сбрасываться по трояку, хотя водка у них в доме и была, но Гриша строг — до окончания рыбалки, до вечера, то есть до ухи, ни граммулечки не выдаст, да и запас, как известно, «штанов не дерет и хлеба не просит».

Положил в трудовую ладонь Кир Кирыча зеленую трешку и я — куда денешься от коллектива, да еще от такого здорового? И Жора полез за пазуху, долго там шарил, бормотал: «Да где же он, рваный этот?..» Рыбаки предостерегающе подмигнули мне, готовому уж было покрыть долю инвалида своей трешкой. Наконец-то Жора выудил из-под старого, заштопанного бушлата рубль, мало уже похожий на современную деньгу — так был рублишко тот смят, потаскан, заеложен. «Вот, ребята, и на меня чеплашечку закажите,— протянул он его рыбакам и посоветовал «волжское» не брать — крепости в нем мало, уж пусть лучше дорого, да мило: купить водки.— Проймет! И веселей сердцу. И болести с нее никакой нету».

Конечно же рыбаки Жорин рубль отвергли, и он стоял с протянутой рукой вослед посыльному: «Как же это? Я на чужо зариться не привык. Возьмите, ребята...» — И ветер трепал действительно уж рваную и почернелую по углам рублевку, которой, как оказалось, уж много лет, звалась она среди рыбаков «неразменной» и помогала Жоре «блюсти характер» и равенство в компании.

Ах, какой это был славный, размягченный, но горем не униженный человек, так похожий на свою родную северную землю обликом и нравом. Мне приходилось видывать на рыбалке всякий народ, встречал даже безруких. Среди них более других запомнился майор Купоросов, бывший командир отдельного саперного батальона, привыкший повелевать и властвовать. Он не то чтобы гордо, скорее, зло переносил свое несчастье, чуждаясь людей, отвергая их помощь и участие. Дома, среди своих, наверное, какую-то помощь и принимал, но на людях, особенно на рыбалке, свирепел и лаялся на всякого, кто проявлял участие. У него на одной руке были разъяты кости, будто палками, двигал майор ими, неровно заросшими голым мясом, подернутым красной кожицей, пучками и врозь чернущим волосьем, постепенно густеющим и на здоровом теле звериной шерстью кроющим не только грудь, но плечи и спину.

Раздвоенную культю майор Купоросов держал за пазухой, под полушубком,— мерзли бедные кости, на левую была надета шерстяная нахлобучка. Если клевало, он выхватывал свою клешню, цапал ею удочку, поднимал, перехватывал леску зубами и пятился от лунки, вынимая на лед рыбешку. Потом клал на колено червяка — с мотылем и мормышками не справлялся — и долго цеплял его кончиком крючка или блесенки.

Рыбачил майор Купоросов всегда на Святом озере, куда приезжал на инвалидной, громко трещащей и дымно стреляющей машине, и всег-

да рядом с удочкой опускал под лед блесну. Блесны у него были завидно уловисты, разных форм, из редких металлов. Пока Святое озеро не отравили удобрениями и стоками из свинокомплексов, здесь часто брал судак и щука, и так же часто упрямый, злой майор не мог совладать с крупной рыбиной, сшибал ее об лед, таща волоком. И тогда сидел отставной майор на шарманке, неподвижно, уставившись вдаль, поверх озера и людей, глазами, налитыми тяжелым страданием, лицо его каменело, на нем выпукло проступали кости, каждая по отдельности, и толстая седая щетина делалась заметней на серых щеках и под синими губами, изорванными леской.

Но если майору Купоросову удавалось вывести крупную рыбину на лед, он громко и победно гакал, орал, глядел на народ и даже иногда предлагал выпить с ним в честь такой победы. Но никто не откликался на его приглашение, и он выпивал один. Все, кто знал майора Купоросова, думали, как, должно быть, тяжело приходится родным и близким этого человека, уязвленного увечьем и собственной гордыней.

Гриша установил скворечники, сколоченные из старого, обрезного теса, на длинных жердях, и они гордо высились над крайней избой. На «блюдечках» скворечников немедленно затоптались, запоныривали в дырки две пары скворцов, и вскоре они уже дрались с теми, кому жилища не досталось. Люди, все еще толпившиеся возле сплавщицкой лавки, смотрели на скворечники, умильно слушали пересмешников, приговаривая: «Эко его! Эко его!.. Эко жених-то расходился! Эко невеста перья-то распустила! Хвостом-то, хвостом-то вертит, ну чисто хомутовская Акулька перед солдатом! Помните, в сорок-то третьем годе, лес валить солдаты приезжали...»

Гриша, спускаясь к озеру, все останавливался, оглядывался на скворечни и был собою доволен до невозможности. Ерши по озеру насорены были, точно шелуха от семечек. Вороны, по-мужицки расставив ноги, деловито разворачивали их головой на ход, заглатывали, дергая шеей и хвостом, и какое-то время не двигались, вслушиваясь в себя, приходили в чувство от грубой пищи. Гриша собирал ершей в корзину, и вороны, волной катясь от него по озеру, орали и ругались — ерши для них наловлены, и нечего обирать бедных пташек!

Гриша отварил икряных ершей, выплеснул их в лоханку, в отваре наколдовал полное ведро ухи из полосатых, горбатых не только со спины, но и с пуза вороновских окуней. Запах варева донесло аж до озера! Газовики смотали удочки, прихватили с собою Жору и подались праздновать пасху. Узнав от хозяйки, что с сего дни начинается нынешняя, ранняя пасха, уважительная трудовая бригада решила отметить этот святой праздник — бригада почитала и любила почитать праздники — как старые, так и новые.

Иконы были покрыты чистыми рушниками. Под помещенной в центр иконостаса матерью — богородицей плодородия, хотя ничего здесь давно не сеяли и богу негде было молиться, богородицу все равно чтили, под раскрошившейся по углам доской иконы светилась лампада. Поскольку елейное масло давно в доме вывелось, в лампаде чадно горело и трещало подсолнечное масло, привезенное сплавщиками в бочке. Среди круглой, широкой столешницы с обломанными зубцами резьбы в узорчатом деревенском блюде красовались нарядные, в отваре луковой шелухи крашенные, мелкие яйца инкубаторских куриц, привезенные газовиками. В Мурыжихе кур не было, и овец не было, и коров. Зато кошек в каждом дому по полдюжине. Люди, уезжая, бросали дома и вместе с ними кошек. Те подыхать не хотели, летами промышляли в лесу, к зиме забирались к старухам в дома — и не выживешь их никакой силой! Рожали кошки по три раза в год, котят прятали в пустых домах и приводили на люди уже зрячих, игривых. Ну как вот их выкинешь и куда?

Дружной, все более добреющей компанией разговелись газовики яичками, вспоминая, кто про что и считая, что краше, нарядней краски, чем от луковой шелухи, для пасхального яичка ничего нету, и, главное дело, три окраски от нее: первая — яйца почти орехового, густого, древнего цвета; второй цвет пожиже, и на яйце появляются круглые полоски, пятнышки на рыльце и на донышке; ну, а третий — совсем жидкий, вываренный уж — яйца желтенькие, как одуванчики, получаются — всё одно хорошо, всё одно красиво!

Прежде чем стукнуть о столешницу, расколоть скорлупу и облупить яйцо, я подержал его в ладони — и в зажмуренных глазах увидел деревенскую улочку в мелкой травке, нарядных ребятишек, катающих по ней крашеные яички. У кого расколется яйцо, тот и проиграл — тут умение нужно, сноровка, и куриц своих знать надо, из-под которой брать яйцо: у какой рано покраснел гребень после зимы — у той яйца крупнее, желток ярче, скорлупа крепче. Бабушка знала, из-под какой курицы давать мне яички. Везло мне в игре. Обчищу, бывало, ребятню, набью карманы яйцами: коричневыми, розовыми, фиолетовыми, желтыми, голубыми — хожу гоголем, а кругом слезы и горе. Но праздник же! Весна, тепло, святой дух праздника, сама природа и душа пронизаны им, взывают к милосердию и состраданию, и, потиранив «жертвы», возвращаю им расколотые яички. И вот уже радость, прыганье малышей от счастья, и размягчение души моей, сотворившей милостливое дело, и желание творить его еще и еще, делать себе и всем тоже только радость, полниться счастьем и ощущением доброты...

Что с нами стало?! Кто и за что вверг нас в пучину зла и бед? Кто погасил свет добра в нашей душе? Кто задул лампаду нашего сознания, опрокинул его в темную, беспробудную яму, и мы шаримся в ней, ищем дно, опору и какой-то путеводный свет будущего. Зачем он нам, тот свет, ведущий в геенну огненную? Мы жили со светом в душе, добытым задолго до нас творцами подвига, зажженным для нас, чтоб мы не блуждали в потемках, не натыкались лицом на дерева в тайге и друг на дружку в миру, не выцарапывали один другому глаза, не ломали ближнему своему кости. Зачем это все похитили и ничего взамен не дали, породив безверье, всесветное во все безверье. Кому молиться? Кого просить, чтоб нас простили? Мы ведь умели и еще не разучились прощать, даже врагам нашим...

Бригада подняла по чарке — под уху. Хозяйка принесла из залы маленькую старинную рюмочку отемнелого серебра:

— Ишшо бабушки моей, царство ей небесное! Христос воскрес, мужики!

И те, кто еще помнил в застолье, как отвечать, разрозненно пропели:

— Воистину воскрес! — и отчего-то по-детски засмущались.

Почмокивая, хозяйка высосала вино из рюмочки и припала к чашке с ухой, повторяя:

— Дай вам бог здоровья, мужики! Дай вам бог здоровья! Вот праздник-то сладили... и мне, старухе!..

Гриша, повязав хозяйкин фартук, разливал уху по чашкам и тарелкам. «Ну, как?» — спрашивал и, получив одобрение, сиял пуще святого спаса, который помещался рядом с богородицей плодородия и вроде как поддерживал ее под ручку с тайной лаской, с намеком на вечное блаженство и спасение.

Дошло дело до песен. Жора звонким, на морозе и ветрах сожженным голосом, вздувая жилы на горле, изо всех сил кричал:

Эх, бей, винтовка, метка-ловка,
Без пощщады по врагу!
Я тибе, моя винтовка,
Вострой саблей подмогу-у-у-у...

Газовики, не зная старых боевых песен, охотно подхватывали: «У-у-у-у...». А вот Жора знал городские песни, выучил по радио и помогнул бригаде, когда она грянула: «К сожаленью, день рожденья только ра-а-аз в го-оду-у-у-у».

Нахлебавшиеся солнца, воздуха, ухи, рыбаки скоро сморились, расползлись кто куда — в залу, на полати, на печь, на пол под божницу. Изба наполнилась боевым храпом. Помогая Грише убрать со стола, хозяйка трясла головой, смеясь: «Какие тараканы были, дак в лес убегут, помельче — примерли...»

Жора отчего-то домой не поспешал, и его не гнали. Он затяжелел, пытался рассказывать про войну. Я понял, что был он на войне очень мало, может, и вовсе не был, может, по пути на фронт разбомбили эшелон. Наслушался радио и плетет байки о войне Жора, какие охотно слушают и верят им ребятишки в детсадах, школьники младших классов и память утратившие пенсионеры.

Я вызвался проводить Жору, на что хозяйка сказала: «Да он и сам дойдет. Ему што день, што ночь...»

На дворе мы остановились, послушали, как шевелил струпьями бурьян, сбивая старое семя и колючки, как шумели в ночи весенние воды. Ночь была теплая. Густой от влаги воздух наполнил все вокруг горьковатой свежестью почек, пробуждающейся травы, выпирающих из-под травы кореньев. И тонким слоем, сладко, нежно струила медовый запах ива. Из лесов слабой волной накатывал холодок размытых, дотлевающих снегов, неся с собой дух липкой прели, наполняющий душу легким сожалением о преходящей жизни, о кратковечности ее и неизбежности обновления.

В сенках Жориного дома горел керосиновый фонарь, в самом же дому свету не было. Жора осторожно разулся и не пошел, а прокрался в избу, прижав палец к губам, чтобы и я держал себя тихо. Но, как только приоткрылась дверь, на кровати воспрянула фигура в белом и зашарила рукой в поисках спичек.

— А-а, слепошарая пьяница! Алкоглотик пропашный, яви-и-илса-а! — чиркая, ломая спички, в рубахе китайского шелку, косолапая, широкоротая баба соскочила с кровати и зажгла лампу. Не подбирая слов, разряжала она свой в потемках скопленный гнев, яростно ходила кулаками возле Жориного лица. — Опеть за старое! Опеть? И коды ты здохнешь? Коды захлебнешься? Я тя подобрала... обмываю, обшиваю, кормлю, а ты...

— Нюша! Нюша! — слепо хватая руки жены, лепетал Жора. — Не бей меня. Я больной. Я скоро помру. Успокойся... Я понимаю... Все понимаю. С товаришшами, с городскими... пасха седни... Ради святого праздника. Не губи себя, не рви мою душу. В инвалидку ушел бы, да далеко. Помру скоро. А рубель я не пропил. Вот он, вот. Товаришшы сознательные, советские люди, не взяли ево... вот, товаришш скажет...

— А-а, товарищ! Такой же алкоглотик! Такой же бродяга подзаборная!

Я подсадил Жору на печку и вышел из избы под крики хозяйки, постепенно переходящие в причет: «Да с кем же я связалася, окаянная! Да погубила я свою жизню! Да какая же моя доля разнесчастная. Да подохнуть бы мне скоряя аль скрыться в лесу темном... Говорила мне мама-покойница, упреждала...»

Здешних баб я не любил. Низкозадые, ягодицы при ходьбе бьют по пяткам, бесцветные, плоские, малообиходные, они от рождения осатанелы, бранились между собой, загрызали старичонок и мужиков. Но на тысячу или две являлась вдруг миру беловолосая красавица с небесно-голубыми глазами, добрая нравом, родливая, как бы показывающая, что и эта забытая богом и людьми земля может еще творить

чудеса, только вот чего-то ей для этого недостает, может, и охоты нету: ведь плодить худое, злое — проще и легче, тут ни ума, ни старания, ни любви не надо.

Долго сидел я на крыльце избы, из которой глухим рокотом, будто раскаты далеко занимающейся грозы, доносило храп газовиков, слушал весеннюю ночь, внимал земле, наполненной тихим дыханием и дальним, неумолчным гулом пробуждения. Ни о чем не думалось, ничего не хотелось. Душа доверчиво внимала этой вешней, ночной, неспокойной тишине, наполняющей душу светлыми надеждами, ожиданием перемен. Верилось, что всякий человек не может не внять такому уже вековому спокойствию земли этой, ее покорной, деловитой готовности любить, рожать, плодиться. Хотелось тоже покорно довериться всему, что свершается в ночи, в пространствиях подзвездных: услышь, человек, уверенное шествие весны, присоединись к нему, — нельзя далее поперек природы идти, нельзя себе вперерез, иначе запустеет все вокруг, зарастет бурьяном и сам человек в себе выродится, запаршивеет, лишится силы и последнего разума.

На утре притихли дальние леса, приглохли воды, легкое шуршание по прошлогодней, сухой дурнине, по тесу старой крыши; дошло до меня — шепот в ивах и ольховниках возник, я ощутил нежное прикосновение к губам первого весеннего дождя, в котором ивовой цветочной пыли было больше, чем влаги.

Я отодвинулся под козырек навеса, прижался спиной к треснутым бревнам старой избы и глубоко уснул под все густеющий шорох благодатного дождя, после которого где-то еще сеют пшеницу, ячмень, овес и промыто сияют зеленью озимые на полях. Травы и цветы, воспрянув ото сна, идут споро в рост: сдобную, окропленную небесной благодатью землю пашут и боронят — весна набирает ходу, леса наполняются листом, гнезда птиц — яичками; в хлопотах и заботах, в работе не проходит — прямо-таки пролетает долгожданная весна.

Ночью на озерах залило лед тонким слоем несомой из тайги Вороновкой снеговой воды. Перебирались рыбачить на плотике, оббивали пешнями рыхлые края ноздристых, истончившихся льдин, вспухших серой пеной.

Пришел на берег мятый ото сна Жора. «Ну, как?» — спросили его. «Да ничего, привычно»,— махнул он рукой и... велел убираться со льдины; слышу, говорит, как покатила большую верхнюю воду в озера Вороновка, кабы беды не было.

Вода и в самом деле задышала в лунках, запенилась: зашевелило мусор в проранах и в заберегах, вдруг надавленно выбурила из прорубей вода, будто из пожарных брандспойтов ударила, все закружилось, зашумело, поплыло, переворачиваясь и ныряя, народ заахал, заулюлюкал, на ходу собирая рыбу и удочки, шало ринулся со льда. Двое газовиков черпанули сапогами в забереге и свалились на землю, задрали ноги, выливая холодную воду из обуви.

С другого берега, все более отдаляемого стремительным разливом, на глазах ширящегося озера, лед на котором обмыло, очистило от мусора, подровняло, взмыли табуны уток. Снеговая стремительная вода все толще покрывала горбину льда. Осталось лишь мерцание погружающейся в небытие зимней брони, исчезающей под толщей бесшабашной воды. Мысли о новом вечном потопе, об исчезновении всего, что было еще живо в пашенном побережье, в запустелом краю, теснились в присмирелом сердце. Птицы, особенно вороны, галки и грачи, оравшие от возбуждения, добавляли смуты и беспокойства в сердце.

Из заозерья, с устья распахнувшейся настежь в озеро Вороновки,

нам все махала и махала шапкой отдаляемая разливом фигурка одинокого рыбака. При выезде из Мурыжихи, за окраиной села, нашу машину оттеснило на обочину стадо молодого скота, голов в двести. Парни на лошадях с молодой, дикарской безжалостностью секли в кровь бессловесную скотину, как секли пленных иноземцев-русичей раскосые воины, налетевшие в уремье из пыльных степных земель. Телята и бычки, выросшие под крышей, к табуну и приволью непривычные, лезли в кусты, в грязь, прячась от кнутов, сбивались в кучу, всплывали друг на дружку, а бестолковую скотину лаяли, лупцевали, налетая конями на грязную кучу копошащегося, задохшегося, хрипящего стада. Особенно свирепствовал старший, видать, среди пастухов, в клоунски вздутой на спине куртке, в нарядной вязаной шапочке с иностранным словом по красному полю. У него в ременный кнут была вделана маленькая гайка, и он уже выбил ею глаз беленькому, покорному теленку, от рогов до хвоста обляпанному грязью так, что из белого теленок превратился в пестрого.

Парни остановились покурить и охотно пояснили, что гонят молодой скот на откорм, на заброшенные пастбища, пустующие луга, покосы, и если первый опыт по откорму удастся и снизится стоимость килограмма мяса, тогда отремонтируют дороги, жилье, может, даже построят комплекс на тыщу голов, откроют постоянный магазин и даже клуб, пахать снова начнут, сеять рожь, овес, ячмень, чтоб не завозить корма скоту.

Возле упавшей поскотины, как в старые добрые времена, скотину встретило все негустое население Мурыжихи. Наша хозяйка, Адольфовна, уже кормила телушку с выбитым глазом кусочком хлебца и ругала регочущего перегонщика. «Самого бы в плетки,— говорила,— поглянулось ли бы?»

— А ты оближи, оближи телку, бабка,— науськивал старую женщину парнишка школьных лет с прыщавым лицом и жидкими волосами до плеч. На брюхе у него болталась сверкающая огнями машинка, мурлыкая что-то иностранное.

Обутая наскоро, на босу ногу, в огромные стоптанные сапоги, оставленные до зимы Кир Кирычем, хозяйка наша одной рукой вытирала слезы умиления, другой обирала с телочки грязь и как бы высвечивала ее.

— И оближу! И оближу! — кричала, дрожа голосом.— Чего скалишься? Не сидел в пустой-то избе, не слушал ветру в трубе, не оплакивал убиенных на войне...

Длинноволосый намеревался высмеивать Адольфовну дальше, но подъехал старший, в фасонной шапочке, и замахнулся кнутом с гайкою:

— Кончай! Эй, бабки, кто на хватеру пустит?

— Эких-то бесов? Эких-то разбойников! — всплеснула руками Адольфовна и хотела топнуть, да только сронила сапог с ноги, и пока, прыгая на другой ноге, нашаривала его узко, в кулачок сведенными, кривыми пальцами, траченными ревматизмом, другая старуха, высокая, скуластая, в мужицком треухе и с цигаркой в обкуренных пальцах, велела парням заворачивать к ней.

Чувствуя, что постояльцев перехватывают на лету и прибыток, живой прибыток ускользает из рук, Адольфовна закричала:

— К ей не ходите! Она курит! У ей изба холодна... А у меня — вон мужиков спросите...

— А-ах, так вашу!..— по-черному облаялся волосатик с транзистором.— Вам не подраться, нам не посмотреть!

— Эй ты, молокосос! — воззрился на него из открытой двери нашего «салона» Кир Кирыч.— Еще раз обматеришься при людях, я выбью тебе зубы! Все! И сразу!

— Какой выбива-ало наше-олся! — начал было волосатик. Но, когда Кир Кирыч всплыл в двери, загородил ее собою, понял, что ко-

нем такого не стоптать: хлестанул одного, другого телка, ткнул пальцем в брюхо, и из машинки на весь вороновский край завопило: «Пр-ра-а-асти, земла-а-а, пр-расти на-фэ-эк, тебя об-бидел че-лофэк...»

— Во, бабка! — примирительно сказал волосатик, нагло тыкая себя как бы ненароком ниже пояса. — Машина времени поет, бабка. Нашего времени. Твое отпелось.

— Это поет? Это поет?! — Ведя в обнимку телочку, все обирая ее, очищая от грязи, ощупывая голову с набухшими рожками и давним, крестьянским опытом — по шишкам на голове, по губам и языку — определяя породистость, молочность и даже норов будущей коровки, перечила бабка. — Орет лихоматом, будто осенесь ево выложили...

— Выложили?! Ха-ха-ха! Го-го-го! А ну, скотина, шевели ногами! Гоп! Гоп! А то магазин закроют. Па-аследний пар-ря-ад наступаиит... Гуд-бай, дяханы! — И врубил другую кнопку. Из-под нее еще дичее заорал кто-то бараньим голосом: волосатик умело подтянул: — Гуд-бай, гёрлс, бойс, грениэнд антс! Тил нью митингс энд партс! Дин ачес! Партингс!

— Это оне по-какому? — пугливым шепотом вопросила Адольфовна.

— По-бусурманскому! По какому! А ты, ты... на других бочку не кати! Не кати!..

Адольфовна сделала вид, мол, никого не слышит и не видит, гладила телочку, наговаривала, может, и в самом деле никого не слыша и не видя.

— Бил он тебя, ирод! Бил. Научили их на свою голову! Последние крошечки собирали... В городу он рос, в городу, и заместо сердца у его кирпич, где голове быть — чигунка... Я вот те! — погрозила она кулаком вблизи гарцующему всаднику. — Мы тоже, было время, не жалели ничё, не пасли, не берегли. Полюбуйся теперя на хозяйство наше. Все профукали, просвистели да разбазарили...

— Ак чё теперь сделашь? Назадь не поворотишь, — вздохнула курящая старуха и вдруг с дребезгом, отчаянно завопила: — Да уж побегали мы с факелочком! — Выплюнув цигарку в грязь, она еще громче и решительней продолжала: — Долой церкву, опиюм народа! Давай клуб! Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживем! И остались вот на кочке жить.

— «Пр-р-расти-и-и, землла-а-а-а-а!..» — до умора точно передразнивала Адольфовна транзистор, видать, была она когда-то большой артисткой в Мурыжихе. — Есь ли кому прощать-то, а? И ково прощать? Нас? Вас, окаянных? — воззрилась на перегонщиков. — У-у, бесы! У меня штоб при иконах не курить, в избе не матюкаться. Лампу долго не жечь — карасин завозной.

Гриша нажал на стартер, машина сразу же сыто захрапела и резко взяла с места. Когда мы выскочили на холм и начали удаляться в размякшие обочь дороги, сорно лохматящиеся поля, в открытую дверь «салона» увидели, что средь заполневшего озера, расталкивающего высокую воду вверх по оврагам, рытвинам, буеракам, логам, по всем углам и щелям, белой луною всплыла льдина, серебрясь под солнцем. Над нею, колеблясь, плясало солнечное марево и дробился яркий свет лучей о края льдины. Чайки реяли над озером в дремотном, сладком сне. И вдруг обозначилось что-то на льдине, заметалось и ухнуло, разбив лед на куски, словно в немом кино. «Лось! Лось!» — донесло крики. Кир Кирыч вынул из-под сиденья бинокль, подержал у глаз и мрачно уронил:

— Теленок. Загнали, мошенники! Поворачивай, Григорей.

Машина взревела, разворачиваясь в грязи. От Мурыжихи на берег озера бежали бабы с жердями и досками. Перегонщики оттесняли конями одичавшее стадо, готовое ринуться вслед за первым тел-

ком в воду, на лед. По ту сторону озера, от бывшего хутора, мужик, у которого ветром трепало рубаху, и баба, тоже в белом, катили по бревешкам старую лодку к воде, чтоб помочь народу спасти скот и вообще узнать, что за движение открылось в заозерье, в Мурыжихе, откуда шум, многолюдствие, чем оживился умолкший было уголок покинутой земли.

Ловля пескарей в Грузии

Адольфу Николаевичу Овчинникову

Было время, когда я ездил с женою и без нее в писательские дома творчества и всякий раз, как бы нечаянно, попадал в худшую комнату, на худшее, проходное место в столовой. Все вроде бы делалось нечаянно, но так, чтобы я себя чувствовал неполноценным, второстепенным человеком, тогда как плешивый одесский мыслитель, боксер, любимец женщин, друг всех талантливых мужчин, в любом доме, но в особенности в модном, был нештатным распорядителем, законодателем морали, громко, непрекословно внушавший всем, что сочиненное им, снятое в кино, поставленное на театре — он подчеркнуто это выделял: «на театре», а не в театре! — создания ума недюжинного, таланта исключительного, и, если перепивал или входил в раж, хвастливо называл себя гением.

Когда в очередной раз меня поселили в комнате номер тринадцать, в конце темного сырого коридора, против нужника, возле которого маялись дни и ночи от запоров витии времен Каменского, Бурлюка, Маяковского, имеющие неизгладимый след в литературе, но выжитые из дому в казенное заведение неблагодарными детьми, Витя Конецкий, моряк, литератор, человек столь же ехидный, сколь и умный, заметил, что каждому русскому писателю надобно пожить против творческого сортира, чтобы он точно знал свое место в литературе.

В последний мой приезд в творческий дом располневшая на казенных харчах неряшливая поэтесса, в треснувших на бедрах джинсах, навесила, почти погрузила кобылий зад в мою тарелку с жидкими ржавыми щами, разговаривая про Шопенгауэра, Джойса и Кафку с известным кинокритиком, называя его Колей, и вот тогда я, как и всякий русский человек, упорно надеющийся пронять современное общество покладистостью характера, смирением неприхотливого нрава, окончательно решил больше не утруждать собою дома творчества, а придерживаться отечественной морали: «Хорошо на Дону, да не как на дому».

Но то, о чем я хочу поведать, произошло в ту наивную пору, когда я еще не терял надежды усовестить литфондовских деятелей, думал: хоть однажды они ошибутся да и расположат меня по-человечески. Нет, ни разу не ошиблись! Забалованный лестью, истерзанный гениями и истерическими писательскими женами, директор Дома творчества поместил нас с женою в комнате с видом на железную дорогу, где жили родственники писателей, какие-то пьющие и поющие кавказцы, начальник похоронного бюро Союза писателей, разряженный под Хемингуэя, и другие важные деятели творческих организаций. На солнечном Кавказе нас с женою так ловко и в такую дыру законопатили, что солнца, как в зимнем Заполярье, совсем не видно было, разве что на закате — чтоб мы его вовсе не забыли; вожделенное море располагалось под другими окнами, возле других корпусов.

С тех пор, вот уж лет двадцать, живу и работаю я по русским

деревням, не потребляю более в домах Литфонда бесплатную капусту, свеклу и морковку, способствующую пищеварению и развитию умственности.

Так вот, когда я «отбывал срок» в комнатке окнами отнюдь не на утреннюю, свежестью веющую зарю и не на море,— внизу, в вестибюле административного корпуса, поднялся скандал. Я подумал, что явился очередной гений и требует апартаментов согласно своему таланту. Каково же было мое изумление, когда я увидел внизу двух разгневанных людей кавказского происхождения: один — директор Дома творчества, в другом я узнал своего сотоварища по Высшим литературным курсам — свана Отара. Человек с тяжеловатым лицом, со сросшимися на переносье бровями, молчаливый, почти не пьющий, но всегда всех угощающий, он единственный из всех курсантов носил галстук зимою и летом, в непогоду и в московскую пыльную жару, всегда был опрятен, вежлив и раз — единственный раз — сорвался, показав взрывную силу духа и мощь характера сына кавказских гор.

В нашей группе учился армянин, выросший в Греции. Возвратившись в отчий край, он считал, что, коли был приобщен к культуре древней Эллады, стало быть, может поучать людей круглосуточно и занимал собою большую часть времени, выступая в классе по вопросам философии, искусства, экономики, соцреализма, русского языка, европейской культуры. В это время курсанты занимались кто чем, большей частью рисовали в блокнотах головки и ножки девочек, читали газеты. Алеша Карпюк, тоже говорун беспробудный, листал польские журналы с полуприличными карикатурами; сидевший от меня по левую руку азербайджанец Ибрагимов писал стихи, справа налево, упоенно начитывал их себе под нос. Были и те, что играли в перышки и спички, писали короткие, информационного характера, письма домой и пылкие, порою в стихах,— своим новым московским возлюбленным. Но большей частью курсанты дремали, напрочь отключившись от умственных наук и от голоса оратора, аудитория нет-нет да и оглашалась храпом, тут же испуганно обрывающимся.

И один, только один человек, как оказалось, в классе внимал пришельцу из Эллады и, внимая, накалялся, в сердце его накапливался взрыв протеста. В середине урока философии, совсем уж черный от тяжкого гнева, Отар громко захлопал партою, с вызовом взял стопку книг под мышку, высокий, надменный, дымящийся смоляным дымом, отправился из аудитории, громко, опять же с вызовом, топая башмаками.

Народ проснулся, оратор смолк. Преподаватель философии, добрейшая старая женщина, обиженно заморгала:

— Ну, товарищи! Ну, я понимаю... может, я недостаточно глубоко освещаю вопросы философии, но я — преподаватель... я, наконец, женщина. Если вы заболели или что, так спросите разрешения...

— Извините! — мрачно уронил Отар и, вернувшись на середину класса, тыкал пальцем в пол, не в состоянии что-либо молвить дальше, глаза его сверкали из разом обросшего бородою лица: — Я приехал... Я приехал...— наконец вырвалось из стесненной груди.— Я приехал Москву из радной, далекой Грузыя слушат профессор, слушат акадэмик, слушат преподаватэл, но не этот...— далее последовали непереводимые слова.

С этими словами Отар грохнул дверью и удалился.

Слушатели Высших литературных курсов упали под парты. Певец Эллады пытался что-то сказать, но, так как был кроме всего прочего еще и заикой, сказать ему ничего не удавалось.

Какое-то время на занятиях он не появлялся: болел или ходил в проректорат — жаловаться на национальный выпад. Отар, еще более смурной, но прибранный, сидел непоколебимо за партой и реденько сгибался, чтобы занести в блокнот глубокие мысли и умные высказывания преподавателей.

И вот этот самый Отар, собрат по курсам, с руками в оттопыренных карманах смятых брюк, со спущенным почти до пупа галстуком, обнажившим волосатую грудь, со шляпою набекрень, с цигаркою в зубах, пер на директора Дома творчества грудью. А тот, привыкший, чтоб с него пушинки снимали, пер на Отара брюхом и все орал, брызгая слюной. Они уже брались за грудки, когда я вклинился меж ними, растолкал их, и Отар, гордый сын высоких заснеженных гор, начал орать на меня:

— Ты зачэм здэс живешь?! Зачэм? Ты зачэм не убьешь этого дурака? Зачэм? Тебе мало моего дома? Мало тэсят комнат! Я построю тебе одыннадцат. Я помешшу тебя луччий санаторий Цхалтубо! Тебе не надо Цхалтубо? Надо этот поганый бардак?.. Знакомься: мой брат Шалва,— показал он на скромно стоявшего в отдалении молодого человека.— А это моя жена,— махнул он на женщину, одетую в темное, в еще большем отдалении стоявшую, совершенно бледную от испуга.— Я приехал за тобой. Хочу, чтоб ты увидел Грузыя нэ в кино, грузын нэ на базаре...

Я поскорее повел, да что повел, потащил гостей вверх по лестнице, в свое «помещение». На ходу затягивая галстук, отыскивая, куда бы бросить окурок, Отар оглянулся и погрозил пальцем директору, которого тут же окружили щебечущие дамочки, одна из них вытряхивала валидол на ладонь. Но директор, все еще трясясь от гнева, капризно отстранял руку благожелательницы.

— Мы еще встрэтимся с тобой, образина! — крикнул Отар сверху. Не зря он два года вкушал московский хлеб, толкался среди русских — какое точное, разящее слово почерпнул из кладезя нашего великого языка.

— У тебя, конечно, нечего випыт? — войдя в нашу комнату и упавши в кресло с протертой творческими задами, грязной обшивкой, произнес Отар и, не дожидаясь моего ответа, приказал: — Шалва!

У меня было, как я считал, хорошее грузинское вино «Псоу».

— Это сака, ее пьют курортники! — небрежно отмахнулся гость от моего угощения.

Было что-то неприятное в облике и поведении Отара. Когда, где он научился барственности? Или на курсах он был один, а в Грузии другой, похожий на того всем надоевшего типа, которого и грузином-то не поворачивается язык назвать. Как обломанный, занозистый сучок на дереве человеческом, торчит он по всем российским базарам, вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением обдирая доверчивый северный народ подгнившим фруктом или мятыми, полумертвыми цветами. Жадный, безграмотный, из тех, кого в России уничижительно зовут «копеечная душа», везде он распоясан, везде с растопыренными карманами, от немытых рук залоснившимися, везде он швыряет деньги, но дома усчитывает жену, детей, родителей в медяках, развел он автомобилеманию, пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать, для соблюдения моды, возит за собой жирных детей, и в гостиницах можно увидеть четырехпудового одышливого Гогию, восьми лет от роду, всунутого в джинсы, с сонными глазами, утонувшими среди лоснящихся щек.

Запыхавшийся Шалва приволок две корзины, и молчаливо сидевшая, опять же в отдалении, жена Отара тенью заскользила по комнате, накрывая на облезлый, хромой стол, испятнанный селедками, заляпанный бормотухой, съедающей любой лак, любую краску. Для приличности мы его прикрыли курортной газетой.

В несезонное время дома творчества писателей отдаются летчикам, шахтерам, машиностроителям, и они тут веселят сами себя чем могут, потому как нет в писательских заведениях ни массовика-затейника, ни радио в комнатах, ни громких игр, ни танцев, ни песен. Кино, да и то старое, бильярд с обязательно располосованным сукном, библиотека, словно в богадельне, с блеклой, вроде бы тоже из бога-

дельни, выписанной библиотекаршей, у которой всегда болеет ребенок и по этой причине она выдает и собирает книжки очень редко.

За столом, заваленным разной зеленью, была зелень даже чернильного цвета, которую наш брат и не знает, как и с чем едят; выяснилось, что столкновение Отара с директором произошло как раз из-за раздрызганного внешнего вида моего гостя. Увидев Отара, директор Дома творчества индюком налетел на него:

— Вам тут не притон!

— В притоне приличней! — Отар ему сквозь зубы.

Я сказал Отару, что ему, отцу четырех детей, уроженцу Сванетии, жителю сельской местности, не пристало держать себя развязно и что на сей раз начальник этого хитрого заведения прав, одернув его, но орать и за грудки браться не надобно бы ни тому, ни другому.

— Вот сядем машину, поедем по асфальту, потом сельскими дорогами, под нашим бодрым грузинским солнцем — распоясшешься и ты,— мрачно заверил меня Отар.

Через пару часов мы уже катили в сторону Сухуми и дальше. За рулем сидел и ловко, но без ухарства и удали вел машину Шалва — помнил он частые могилы по обочинам дорог, где нашли последний приют подгулявшие «мальчики», гоняющие машины на пределе всех скоростей, и обязательно в гуще движения, изображая потомков храбрых джигитов, павших, правда, не ради пустой забавы — за свою землю павших, за детей и матерей, за свой народ.

Отар, взявшийся показывать нам путь и рассказывать обо всем, что мы увидим, упорно молчал, пока мы мчались по курортному побережью, и только в Зугдиди, резко выбросив недокуренную цигарку в приоткрытое окно, произнес:

— Вот самый богатый город Грузии. Здесь можно купит машину, лекарство, самолет, автомат Калашникова, золотые зубы, диплом отличника русской школы и Московского университета, не знающего ни слова по-русски, да и по-грузински тоже.

Отар смолк и еще больше помрачнел. Мы были уже за перевалом, верстах в ста от моря. Ехали трудно и медленно, по пыльной и ухабистой дороге, с неряшливо и скупо засыпанными гравием ямами, колеями, выбитыми колхозными тракторами и машинами до глубины военных траншей, вымоинами, выбоинами, ну, прямо как на нашем богоспасаемом Севере, а по берегу-то моря все вылизано, почищено, прикатано, приглажено, музыка играет, девочки гуляют, цветы цветут, джигиты пляшут, птички поют...

По обе стороны дороги трепались остатные лохмотья кукурузы, табака и ощипанных роз, кое-где поля реденько загораживало деревцами, мохнатыми от пыли и инвалидно-сниклыми. Глупая, веселая мордаха стихийно и не ко времени выросшего подсолнуха-самосевки, нечаянно затесавшегося в чужую компанию, реденько радовала глаз. Набегающие на нас селения жили размеренной, несуетной жизнью. Сельские дома, строенные все больше из ракушечника и серого камня, были велики по сравнению с нашими, много на них было каких-то надстроек, террас, веранд, подпорок, а вот окон меньше, чем в российских домах, где солнце ждут и ловят со всех сторон, а здесь порой спасаются глухими стенами от зноя и света. Возле домов ворошились и сидели в пыли куры, злобно дергали головами и болтали блеклыми, вислыми гребнями и подбородками, напоминающими порченое сырое мясо, индюки. Шлялись по улицам волосатые, тощие свиньи с угольниками на шее да выдергивали из заборных колючек какую-то съедобную растительность, костлявые коровы со свалявшейся на спинах шерстью и с вымечком с детский кулачок. Собаки-ов-

чарки в нашей местности куда крупнее, статней и сытей грузинских коров.

Две-три магнолии средь селения; старая чинара с пустой серединой и вытоптанными наружу костлявыми кореньями; выводок тополей возле конторы и магазина с распахнутыми дверями; низкорослые, плохо ухоженные садики за низкими каменными оградами, ощетинившиеся ежевичником, затянутым ползучим вьюнком, вымучившим две-три воронки цветков; деревца с обугленно-черными плодами гранатов, треснутыми в завязи, похожими на обнаженные цинготные десны; усталые мальвы под окнами; колодец с серым срубом за домами; никлый дымок из каменного очажка, сложенного средь двора; зеленой свежестью радующие глаз ровные грядки чая по склонам гор; желтые плешины убранных хлебных полей или ячменя, какое-то просо или другое растение, из которого делают и везут к нам веники; древнее дерево, может, дуб, может, клен, может, бук, а может, реликтовое, со времен ледников оставшееся растение, облаком означившееся на холме и быстро надвигающееся на нас. Голуби, стайками порхающие по полям; меланхоличный хищник, плавающий в высоте, обесцвеченной до блеклости ослепительным солнцем.

Тихая, хорошо потрудившаяся, усталая от зноя и безводья пустынная земля, еще не вспаханная плугом, не исцарапанная бороной и не избитая мотыгой, миротворно отдыхала от людей и машин.

Ручьи, реки остались в горах и предгорьях, ручьи с намойными, отлогими косами, говорливые, даже яростные — в горах, в ущельях, с необузданно-нравными гривами пены,— они много пасли и питали возле себя по холмам и низинам всякой растительности, садовой и огородной роскоши, среди которой пышными золотистыми шапками цвело неведомое мне и невиданное растение.

— Амэриканский подарок! — во второй раз разжал рот Отар, услышав мои восторги насчет цветка, выкинул сигарету и, тут же закурив другую, снизошел до пояснения.

В сорок четвертом году в предгорьях формировался или пополнялся после героического рейда кавалерийский корпус. В Батуми поступал овес из Америки — для военных лошадей, и вместе с овсом прибыло вот это растение. Сначала на него никто не обращал внимания, потом им любовались и тащили по садам, потом, когда он, паразит, как и полагается янки, захмелел, задурел на чужой на кавказской стороне, начал поражать собою лучшие земли, сжирать поля, чайные и табачные плантации, сады и огороды, — спохватились, давай с ним бороться, но поздно, как всегда, спохватились: заокеанский паразит не дает себя истребить, плодится, щупальцами своими, которые изруби на куски — и кусочки все равно отрастут, ползет во тьме земли, куда растению хочется. Круглый год трясет веселыми кудрями, качает золотистой головой, пуская цветную пыль и ядовитые лепестки по вольному приморскому ветру, по благодатной земле, клочок которой тут воистину дороже золота.

Н-да, подарочек! То цветочек с овсом, то колорадский жучок с картошкой, то варроатоз на пчел, то кинохартиночку с голыми бабами-вампирками, то наклепка на форменные штаны переучившемуся волосатому полудурку с надписью отдельного батальона, спалившего живьем детей в Сонгми,— буржуи ничего нам даром не дают, все с умыслом.

А по Грузии катил праздник. Был день выборов в Верховный Совет, и по всем дорогам, приплясывая, шли, пели, веселились грузины, совсем не такие, каких я привык видеть на базарах, в домах творчества или в дорогих пивнушках и столичных гостиницах.

— Вот, смотри! — облегченно вздохнув, махнул мне на дорогу Отар и, откинувшись на спинку сиденья, как бы задремал, давши простор моему глазу.— Смотри на этот Грузыя, на этот грузын. Народ

по рукам надо знать, которые держат мотыгу, а не по тем, что хватают рубли на рынку. Тут есть генацвале, которые с гор спускаются на рынок, чтоб с народом повидаться,— два-три пучка зелени положит перед носом — чтоб видно было, не напрасно шел. Цц-элый дэн просидит, выпит маленько з друззам, поговорит, поспит на зелэн свою лицом, потом бросит ее козам и отправится за тридцать километров обратно и ц-цэлый год будет вспоминат, как он хорошо провел время на рынку...

Более Отар ничего не говорил до самой ночи, до остановки возле горного ключа, обложенного диким, обомшелым камнем с полустертыми надписями на нем и стаканом на каменном гладком припечке. И потом, когда мы уже в полной и плотной южной темноте одолевали перевал за перевалом, гору за горой,— всюду, как бы отдавая дань священному роднику, останавливались отведать чистой, из земной тверди сочащейся воды, и, кажется, именно тогда, у прибранных родников, с чужими, но всякому сердцу близкими надписями — на родниках не пишут плохих, бранных слов, не блудословят, не кощунствуют, излагая корявые мысли казенными стихами, как это случается порой на святом и скорбном месте, называемом могилой, даже братской,— именно тогда, у родников, проникла в мое сердце почтительность к тому, что зовется древним, уважительным словом — влага. Живая влага, живой плод, живые цветы — не они ли, напоив живительной влагой, остановили человеческое внимание на себе, заставили существо на двух ногах залюбоваться собой и освободить место в голове и в сердце для благоговейных чувств, а затем и мыслей, и к дикому зову самца к самке живым током крови прилило чувство нежности, усмиряющей необузданную страсть, и еще до появления огня, все и всех согревающего, но в то же время все и всех сжигающего, вселилось в человека то, что потом названо было любовью, что облагородило и окрасило его разум и чудовищный огонь превратило в семейный очаг, горящий теплым золотоцветом, ныне, правда, едва уже тлеющий.

И грустное, горькое недоумение охватило меня и охватывало потом у каждого ухоженного кавказского родника,— на моей родине, возле моего села родники давно умолкли, возле одного еще сохранился лоточек, но родник стих. Последний родник на окраине моего родного села был придушен лесхозовским трактором, мимоходом, гусеницей заткнувшим его желтый, песчаный, словно у птенца, доверчиво открытый рот. Так немилое, лишнее дитя прикидывала в старину по глухим российским местам подушкой и задушивала — из-за нужды, из-за блуда или боязни позора — родившая его матерь. Наверху, на утесах, под видом окультуривания леса, обрубили, оголили камень, издырявили бурами все вокруг, отыскивая дешевую, быстродоступную нефть или другие необходимые в хозяйстве металлы, минералы, руды. Уж и не поймешь, не разберешь, кто, чего и зачем ищет, рыская по Сибири. Но все при этом бурят, рубят, жгут, рвут, уродуют гусеницами, утюжат бульдозерами, пластают ножами скреперов и многорядных плугов кожу земли, крошат в щепу лес, делая на месте тайги пустоши, полыхающие пожарами даже весенней и осенней порою, бесстыдно заголяют пестренький летом, а зимой белый подол тундры; используют горные речки вместо лесовозных дорог и, разгромив, растерзав их, бросают в хламе, в побоях, в синяках, в ссадинах, будто арестантской бандой изнасилованную девушку, тут же поседевшую, превратившуюся в оглохшую, некрасивую, дряхлую старуху, всеми с презреньем оставленную, никому не нужную, забытую.

В селение Гвиштиби, под Цхалтубо, мы приехали на рассвете и проспали до обеда в просторном и прохладном доме, погруженном в тишину, хотя было в нем четверо детей да еще мать Отара, жена,

брат и сам Отар. Принадлежа к безмолвной расе, мать, жена и девочка Манана во время завтрака за стол не садились, как заспинные холуи, они тенями скользили вокруг стола, незаметно меняли тарелки, подтирали стол, наливали вино.

Я сказал Отару, что он все-таки писатель, в Москве учился, что не все кавказские обычаи, наверное, так уж и хороши, как ему кажутся, особенно это заметно сейчас, на исходе разнузданного двадцатого века. Во время обеда женщины оказались за столом, но они были так скованы, так угодливо-улыбчивы, так мало и пугливо ели и так спешили, пользуясь любым предлогом выскользнуть из-за стола, что я, на себе испытавший, каково быть впервые за «чужим» столом, когда из подзаборников превратился в детдомовца и прятал руки, порченные чесоткой, под клеенкой, боясь подавиться под десятками пристальных, любопытных глаз, более не настаивал на присутствии женщин за общим столом. Они с облегчением оставили нашу компанию и мимоходом, мимолетом, тоже «незаметно», питались тем, что оставалось от мужчин.

Мы побывали в гостях у очень приветливого, начитанного и серьезного человека — сельского учителя Отара, бывшего уже на пенсии и жившего в соседнем селе. Там я, чтобы поддержать вселюдную молву о стойкости и кондовости сибирского характера, выпил из серебряного рога такую дозу домашнего вина, что два дня лежал в верхней комнате дома, слушая радио, музыку, читал книги и по причине пагубной привычки своего народа не попал на стоянку динозавров, которую охранял дивный человек и ученый по фамилии Чебукиани; не попал также в гости к родственникам Отара, не ходил по многочисленным его друзьям и накопил силы к святому и древнему месту — в монастырь Гелати, затем в Ткибули, к дяде Васе, который завалил Отара телеграммами, осаждал звонками, угрожая, что если он, Отар, и на этот раз не побывает с русским почтенным гостем у него, у дяди Васи, тогда все, тогда неизвестно, что будет, может, он, дядя Вася, и помрет от горя и обиды.

Дядя Вася приходился как будто родней Отару или старым другом. Дочь дяди Васи была замужем за Георгием, который вместе с Шалвой служил в армии на Урале, сам дядя Вася работал когда-то в типографии наборщиком, где печаталась первая книжка Отара; может, жена Отара была его племянницей, одно ли из дитяток Отара было крестником дяди Васи, или что-то их еще связывало и роднило — я совсем запутался. Чтобы разобраться в грузинских друзьях и родичах, надо самому побыть грузином, иначе надсадишься, заблудишься в этой кавказской тайге. Иди уж без сопротивления, куда велят, езжай, куда везут, делай, что скажут, ешь и пей, чего подают.

Мы ехали долго, по уже богатой, даже чуть надменной земле, где реже попадались путники с тяжелыми мотыгами, в выгоревшей до пепельной серости черной одежде, реже видели согбенные женские спины на чайных плантациях, дремлющих на ходу, облезлых от работы осликов, запряженных в повозку с непомерно огромными, почти мельничными колесами, меж которых дремал, опустив седые усы и концы матерчатой повязки на голове, давно небритый генацвале, пробуждающийся, однако, на мгновение для того, чтобы поприветствовать встречных путников, как ни в чем не бывало звонко крикнуть: «Гамарджоба!» — и тут же снова погрузиться в дорожный сон на шаткой, убаюкивающей телеге; реже плелись с богомолья старые, иссохшие, печальные женщины, словно искупающие вину за всех нахрапистых, невежливых людей, они кланялись путникам до пыльной земли. Не бродили по здешним полям, не стояли недвижно средь убранных пашен костлявые быки, коровы, всеми брошенные клячи, бывшие когда-то конями, может, и жеребцами джигитов, да уже не помнили ни

они, ни джигиты об этом, но, глядя в синеющие на горизонте перевалы, может, и далее их, что-то силились вспомнить из своей судьбы покорные, сами себя забывшие животные.

Все чаще и чаще встречь нам с ошарашивающим ахом пролетали машины, волоча за собою хвосты дыма и пыли. Ближе к Кутаиси, в пыли, поднятой до неба, зашевелился сплошной поток машин. Меж ними, разрывая живую, грохотом оглушающую, чудовищную гусеницу, еще гуще, выше подняв тучу пыли, хрипели и рвались куда-то дикие мотоциклы с дикими молодцами за рулем, одетые в диковинные одежды из кожзаменителей, в огромные краги, в очки, изготовленные а-ля «мафиози», все чаще и чаще оглашали воздух древней страны сирены машин, расписанных или обклеенных иностранными этикетками и изречениями, с обязательной обезьянкой на резинке перед ветровым стеклом, с предостерегающе ерзающей по стеклу, вроде бы у дитя отрубленной рукой, с пестрым футбольным мячом, катающимся у заднего стекла, как бы по нечаянной шалости туда угодившим.

Среди многих остроумных и ядовитых анекдотов, услышанных в Грузии, где главными и самыми ловкими персонажами выступали гурийцы, населяющие как раз вот эту землю, как бы после вселенской катастрофы окутанную пылью, более других мне запомнился такой вот: большевик, по имени Филипп, в горном селе агитировал гурийцев в колхоз, и такой он расписал будущий колхозный рай, такое наобещал счастье и праздничный коллективный труд, что старейшина села, обнимая агитатора, с рыданием возгласил: «Дорогой Филипп. Колхоз такой хороший, а мы, грузины, такие плохие, что друг другу не подходим...»

Глядя на поток машин, на этот обезьяний парад пресыщенного богатствами младого поколения гурийского края, я тоже возопил:

— Дорогой Отар! Кутаиси — город такой богатый и такой роскошный, а мы, русские гости, такие бедные и неловкие, что друг другу не подходим.

Отар величественно кивнул головой, и мы миновали Кутаиси, и правильно сделали, потому что сэкономили время для священного места — Гелати, попав туда с неиспорченным настроением, с неутомленным глазом и недооскорбленной душой.

Мы долго поднимались в горы — сперва на машине, затем пешком по каменистой тропе, выбитой человеческими ногами. На тропе от ног получился желоб, и камень был перетерт в порошок: сюда много людей ходило и ходит.

Однако в тот день в полуденный час на горе возле монастыря оказалось малолюдно. Служка, седой, блеклый, с выветренным телом, одетый словно бы не в одежды, а в тоже изветренное, птичье перо, поклонился нам, что-то спросил у Отара и отошел на почтительное расстояние. Ничего нам растолковывать и показывать не надо, догадался он, или ему сказал об этом Отар, как скоро выяснилось, превосходно знающий историю Гелати.

Ничто не тревожило слепящим зноем окутанную горную вершину с выгоревшей травкой, обнажившей колючки, потрескавшийся камешник, скорлупки от белеющих древних строений из ракушечника. Ослепшее от времени, молчаливое городище с полуобвалившимися каменными стенами рассыпалось по горе и срасталось с горами, с естеством их. Вокруг городища и оно само — все-все почти истлело, обратилось белым и серым прахом, и только храм, как бы отстраненный от времени и суеты мирской, стоял невредимый среди горы, отчужденно и молчаливо внимая слышным лишь ему молениям земным и звуку горних, глазу недоступных пространств.

— Первая национальная академия,— пояснил нам Отар.— По давнему преданию, здесь, в академии, учился ликосолнечный, во веки веков великий сын этой земли Шота Руставели, значит, и молился

о спасении души своей, и нашей, в этом скромном и в чем-то неугаданно-величественном храме.

Высокие слова, употребляемые Отаром здесь, не резали слух, ничто здесь не резало слух, не оскорбляло глаз и сердце, и все звуки и слова, произносимые вполголоса и даже шепотом, были чисты и внятны.

Старые стены и развалины академии курились сизой, дымчатой растительностью, несмело наползающей на склоны гор по расщелинам и поймам иссохших ручьев. Бечёвки вьющегося, сплетенного почти в сеть растения свисали со стен, и могильно-черные ягоды, которые не клевали даже птицы, гробовым светом раскрошили и вобрали в себя белую пыль, заглушили и утишили все, что могло резать глаз, играть светом, цвести и быть назойливым.

Над всем поднебесным миром царствовал собор с потускневшим крестиком на маковице, собор, воздвигнутый еще царем Давидом-строителем в непостижимо далекие, как небесное пространство, времена. На плите тонн в пять весом, помеченной остроконечным знаком каменных часов, которую будто бы занес в горы на своей спине царь-созидатель и собственноручно вложил в стену храма, не было ни единой трещинки, щели, и казалась она отлитой из бетона вчера или месяц назад в каком-нибудь ближнем городишке, на современном заводе, работающем со знаком отличного качества.

Есть вымыслы, есть легенды, которые правдивей всякой правды, выше всех высоких речей, честнее и чище нашей суетной истины, приспосабливаемой к любому дуновению переменчивого ветра, к смраду блудных слов и грешных мыслей. Деяние творца, пронзающее небесное время и земное зло,— есть самое великое из того, что смог и может человек оставить на земле и что заслуживает истинного, благоговейного почитания.

Все замерло, все остановилось в Гелати. Работает лишь время, неумолимое, неостановимое, быстротекущее время, оставляя свои невеселые меты на лицах людей, на лике земли и на творениях рук человеческих, в том числе и на храме Гелати.

У входа в храм дарница — огромное деревянное дупло, куда правоверные, поднявшиеся в горы — поклониться богу и памяти родных,— складывали дары крестьянского труда: хлебы, фрукты, кусочек сушеного мяса, козьего сыра. Дупло источено, издолблено градом и птицами, изветрено, иссушено, однако все еще крепко и огромно, словно мамонтова кость, гулкое, с коричневыми и серыми щелями, похожими на жилы; дупло не меньше чем в пять обхватов, но произросло из того самого орешника, что прячется в тень больших дерев по логам да оврагам среднерусских лесов и годно лишь на удилища. Как сплелся целою рощею в единый ствол нехитрый кустарник? — секрет природы. Еще один! В лесу сотворилось чудо, его отыскали миряне и употребили во славу господню, во благо удивленных и благодарных людей.

Неподалеку от дарницы вкопан в землю огромный керамический сосуд — все для тех же подношений, но уже вином. Керамическая крышка куда-то запропала, накрыт он ржавою крышкой производства казенных умельцев нынешних времен. Сосуд был пуст, лишь на дне его маслянилась пленка дождевой воды и ужаленно из нее метнулась ударенная внезапным светом, словно бы переболевшая желтухой, слепая лягушка, метнулась и, беспомощно скребясь вялыми лапками о стенку тюрьмы-сосуда, обреченно сползла на дно, припала брюхом к мутной водице.

Я быстро захлопнул крышку чана и постоял среди двора, изморщенного тропами и дорожками. Трава-мурава упрямо протыкалась в щели троп, западала в выбоины, переплетаясь, ползла по человеческим следам, смягчая громкую поступь любопытного человека. Мурава в Грузии красновато-закального цвета, крепка корнями и стеблем,

обильна семенем. Сплетаясь в клубки, траве удается выстоять против многолюдства, приглушить топот туристов, сделать мягче почву под стопами старцев, перед уходом в мир иной крестящих себя, собор, целующих отцветшими губами священные камни Гелати, срывающих стебелек трудовой и терпеливой травы, чтобы положили его под подушку в домовину, чтоб унести с собой в мир иной земное напоминание о родине — единственной, неизменной, мучительной и прекрасной.

В чистом и высоком небе качался купол собора, над ним летел живым стрижом крестик, и вспомнилось, не могло не вспомниться в ту минуту: «Синий свет, небесный свет полюбил я с ранних лет...» — стихи, как этот крестик в вышине, легкие, всякому уму и памяти доступные — стихи Бараташвили,— современника и наперсника по судьбе русского поэта-горемыки Алексея Кольцова.

Кланяйтесь, люди, поэтам и творцам земным — они были, есть и останутся нашим небом, воздухом, твердью нашей под ногами, нашей надеждой и упованием. Без поэтов, без музыки, без художников и созидателей земля давно бы оглохла, ослепла, рассыпалась и погибла. Сохрани, земля, своих певцов, и они восславят тебя, вдохнут в твои стынущие недра жар своего сердца, во веки веков так рано и так ярко сгорающего, огнем которого они уже не раз разрывали тьму, насылаемую мракобесами на землю, прожигали пороховой дым войн, отводили кинжал убийц, занесенный над невинными жертвами. Берегите, жалейте и любите, земляне, тех избранников, которые даны вам природой не только для украшения дней ваших, в усладу слуха, ублажения души, но и во спасение всего живого и светлого на нашей земле. Быть может, им — более надеяться не на кого — удастся остановить руку современного убийцы с бомбой, занесенную над нашей горькой головой.

Где-то брякнуло и тут же сконфуженно замерло железо. Горы поскорее вобрали в себя, укрыли в немоте гранита этот неуместный звук. В настенных зарослях, среди черных ягод, пела птица-синица, вещая скорый дождь, и по-российски беззаботно кружился, заливался над одичавшим садом жаворонок да стрекотали и сыпались отрубями из-под ног в разные стороны, на лету продолжая стрекотать, мелкие козявки, похожие на кузнечиков...

Жизнь продолжалась, привычная, непритязательная, святая и грешная, мучительная и радостная — в Гелати верилось: никто ее погубить и исправить не может. Никто не смеет навязывать свою жизнь, свои достоинства, пороки, радости, слезы и восторги. У каждого человека своя жизнь, и если она не нравится кому-то, пусть он, этот кто-то, пройдет сквозь голод, войны, кровь, безверие, бессердечность и вернется из всего этого, не потеряв уважения не только к чужой жизни, но и к своей тоже, ко всему тому, что ей выпадает, а выпадает ей дышать не только дымом пороха, отгаром бензина, но случается подышать и святым воздухом, в святом месте, здесь ли вот, в Гелати, возле собора, в полупустом ли русском селе, возле бурной ли горной речки, на безбрежном ли море, в березовом ли лесу, возле журавлиного болота, среди зрелого поля, поникшего спелыми колосьями...

Медленно, осторожно вступил я в прохладный собор. Он был темен от копоти, и только верхний свет, пробивающийся в узкие щели собора, сложенные наподобие окон и бойниц одновременно, растворял мрак. В глубокой, немой пучине храма рассеянно, пыльно стоял свет, все, однако, до мелочей высветляя, вплоть до полос от метлы на стенах, до крошек щебенки в щелях пола, пятнышек от восковых свечей. С высокого, шлемообразного купола на стены собора низвергались тяжелые серые потеки, в завалах, трещинах и завихрениях потеков скопилась копоть, и в разрывах, протертостях, в проплешинах, в струях как бы остекленевшего дождя нет-нет и просверкивал блеск нержавеющего металла, проступали клочья фресок: то подол чистой, крестами украшенной хламиды, то окровавленная, гвоздем пробитая,

нога спасителя, то рука с троеперстием, занесенная для благословения, то голубой и скорбный во всепонимании и всепрощении глаз матери-богородицы, не погашенный временем и многовечной копотью свечей.

Выяснилось: густая, маслянистая копоть на стенах собора была не от сальных и восковых свечей, не от робких лучинок древлян — копоть осталась от костров завоевателей-монголов. Только копоть, только оскверненные храмы, уничтоженные народы, государства, города, селения, сады, только голые степи, мертвящая пыль да пустыни... ничего более не оставили завоеватели. Ни доброй памяти, ни добрых, разумных дел — уж такое их назначение во все времена. По дикому своему обычаю, монголы в православных церквах устраивали конюшни. И этот дивный и суровый храм они тоже решили осквернить, загнали в него мохнатых коней, развели костры и стали жрать недожаренную, кровавую конину, обдирая лошадей здесь же, в храме, и, пьяные от кровавого разгула, они посваливались раскосыми мордами в вонючее конское дерьмо, еще не зная, что созидатели на земле для вечности строят и храмы вечные.

По велению царя Давида меж кровлей собора была налита прослойка свинца. От жара диких костров свинец расплавился, и горячие потоки металла обрушились карающим дождем на головы завоевателей. Они бежали из Гелати в панике, побросав награбленное имущество, оружие, коней, рабынь, считая, что какой-то всесильный, неведомый им бог покарал их за нечестивость...

Все это тихим голосом переводил мне умеющий незаметно держаться и вовремя прийти на помощь Шалва. Грузины сохраняют собор в том виде, в каком покинул его содрогнувшийся от ужаса враг.

И думал я, внимая истории и глядя на поруганный, но не убитый храм: вот если бы на головы современных осквернителей храмов, завоевателей, богохульников и горлопанов низвергся вселенский свинцовый дождь — последний карающий дождь — на всех человеконенавистников, на гонителей чистой морали, культуры, всегда создаваемой для мира и умиротворения, всегда бесстрашно выходящей с открытым, добрым взором, с рукой, занесенной для благословения к труду, любви, против насилия, сабель, ружей и бомб.

Всевечна скорбящая душа Гелатского собора. Печальная тишина его хмурого лика одухотворенна. Память древности опахивает здесь человеческое сердце исцеляющим духом веры в будущность, в справедливость нами избранного, тяжкого пути к сотворению той жизни, где не будет войн, крови, слез, несчастий, зависти, корысти и ослепляющего себялюбия.

С опущенной головой, с приглушенно работающим, благодарным сердцем покинул я оскверненный, но не убитый храм, у выхода из которого, точнее, у входа, лежала громадная плита, грубо тесанная из дикого камня, и на ней виднелась полустертая ступнями людей вязь грузинского причудливого письма. «Пусть каждый входящий в этот храм наступит на сердце мое, чтобы слышал я боль его»,— перевели мне завет царя-строителя, лежащего под этой надгробной плитой. Отар, истинный грузин, не удержался и добавил, что царь Давид был на два сантиметра выше русского царя Петра Великого.

Я улыбнулся словам моего сокурсника — человеческие слабости, как и величие его, всегда идут рука об руку, и тут уж ничего не поделаешь. Быть может, этим он, человек, и хорош. Убери у него слабости — что он станет делать и как жить со сплошными-то достоинствами? Говорят, если питаться одними только сладостями, у человека испортится, загниет кровь, разрушатся кости, усохнет мозг и он помрет преждевременно.

Все вокруг Гелати приглушило дыхание. Здесь молчала вечность, внимая печальной мудрости творца, вникая в смысл нетленных слов, вырубленных на камне...

Жаворонок летал по небу, беззаботно вился, с упоением пел, и — рядом с ним, в голубой выси, все так же, стрижиком, летел куда-то крестик храма, тренькали синицы в гуще иссохшего бурьяна, все вещая дождь, и какая-то неведомая птица дребезжала в горах железным клювом, а может, куры служки колотили за жилой пристройкой в пустое корыто; над дальними перевалами призраком возник и плавал на почтительном расстоянии, в отдалении от святого места, горный орел, высматривая с высоты добычу.

Синицы не зря вещали дождь. С гор наползли и начали спускаться над долинами грузные облака, выволакивая за собой зачерненные в глубине тучи, еще рыхлые, закудрявленные по краям.

Мы быстро мчались вниз, к городку Ткибули, и, продолжая своим чередом идущие мысли, Отар рассказал, что в древности, когда еще была в Гелати академия, да и после, на протяжении многих лет, может, и веков, в Грузии существовал дивный обычай: каждому, кто заводил семью, на свадьбу дарилась книга «Витязь в тигровой шкуре». Книги в древности были дороги, крестьянам и горцам недоступны по средствам, и тогда родичи жениха и невесты или сельская община складывались и нанимали на собранные деньги писца и художника. Дивные есть в Грузии рукотворные издания бессмертной поэмы, и накопилось их так много, что если собрать только уцелевшие от войн, смутных времен, бездумного отношения к бесценным самописным реликвиям,— все равно наберется их целый музей! И какой музей! Единственный в нашей стране, может, и во всем мире, музей!

«Витязь! Витязь! Дорогой! До того ли многим твоим землякам, чтоб что-то бесплатно собирать и хранить?..»

Отар не знал, я не успел ему сказать в спешке, что из опостылевшей конюшни под названием Дом творчества я часто уезжал куда глаза глядят. Был и в Зугдиди, и в глубине Грузии, кое-что повидал и запомнил. Более других запала в память встреча с корреспондентом сатирического московского журнала, не умеющим писать по-русски и нанимающим разных «бездомо́вых» русских горемык, владеющих крепким пером, но загнанных на юг бедами и болезнями. Труженик обличительной прессы давал литрабу́ и то, и другое. Не свое, конечно, государственное, но получалось, как свое. Когда товарищ мой, много лет мыкавшийся по Северу, крепко поработавший на южного хозяина, попал в центральную газету, сатирический туз приглашал его к себе уже в качестве почетного гостя. Был и я приглашен в дом важной персоны «откушать в качестве поэта» вместе с какими-то иностранцами, будто бы французского и польского происхождения — французы те смахивали на уроженцев Бессарабии, поляки — родом из-под Рязани,— однако хозяин рассыпался перед ними мелким бесом, и два угрюмых джигита, преступники, видать, вытащенные могучим пером и не менее могучими связями из тюрьмы, волокли и волокли на стол поросят, дочерна испеченных на огне, с заткнутыми луком задами и торчащим из-под невинного детского пятачка чесноком, похожим на широкостеблую курскую осоку. Тут же состоялся быстрый и тихий торг: хозяин приобрел у «иностранцев» какие-то импортные тряпки и вместе с ними удовлетворенно закурил черную, испаренным банным веником пахнущую сигару, балакая с иностранцами о том о сем на каком-то языке.

— Это он по-какому? — спросил я у товарища.

— Ему кажется — на английском.

У хозяина была дочь десяти лет от роду. Товарищ мой имел красивого, хорошо воспитанного сына того же возраста. И хозяин, казалось мне, с юмором — в сатирическом же журнале работает — говорил, что он открыл в кассе счет на имя дочки и каждый месяц кладет деньги с таким расчетом, чтобы к ее совершеннолетию был миллион, кро-

ме того, он сулился купить молодоженам «мерседес» и отдать во владение дом в Гали.

— Моя дочь, мое богатство плус красота, ум и скромност твоего сына — какие будут у нас внуки!..

О «Витязе в тигровой шкуре» в качестве подарка молодоженам богатый хозяин уже не поминал.

Потом мы поехали во владения хозяина и оказались в районном селении Гали, почти сплошь занятом обитателями Черноморского побережья, выкачивающими из спрятанных за горами садов и усадеб капиталы.

— Я имею всего шестьдесят тысяч дохода в год,— жаловался хозяин,— мои соседи — двести, пятьсот. Это потому, что мои мама и папа старые. Я жалею их.

Две согбенные тени копошились во дворе возле непрестанного огня, на котором кипело и парилось варево для чачи — пятьсот деревьев сада были обвешаны зреющими плодами мандаринов и двадцать деревьев — каким-то скрещенным фруктом. Оранжерея-теплица была вскопана и засажена черенками роз, земля подымалась третий раз за сезон: сперва под ранние цветы, затем под помидоры, теперь вот под розы. Папа с мамой уже не могли работать на земле, для этого дела посылались рабочие из местных совхозов. Поработав в саду, они громко, с вызовом, чтоб слышно было гостям, потребовали по пятерке на брата и свежей чачи по стакану.

— Разбойники! Грабители! — приглушенным голосом возмущался хозяин.

— Нет! — дерзко возражали ему рабочие из совхоза,— мы — совецкие тружэныки, а вот ты разбуйнык и бандыт! — и, закинув мотыги за плечи, величественно удалились трудиться в другие частные сады и усадьбы.

Отправляясь спать в роскошный двухэтажный дом, в кровати, застеленные голландским бельем, я зашел во флигелек — пожелать доброй ночи старикам. Одетые в хламиды, среди сырых стен, прелых углов, на топчанах, сделанных из сухих ветвей фруктовых деревьев, утонув в пыльном, словно бы сгорелом хламье, на свалявшихся овечьих шкурах лежали старики и с бесконечной усталостью ответили на пожелание спокойной ночи, что хотели бы уснуть и не проснуться, что ежевечерне, ежечасно молят они бога, чтоб он успокоил, прибрал их простуженные, изработанные кости, прикрыл землею...

Я уже согрелся, засыпал в волглой постели — в Гали сыро, камни, строения, заборы покрыты плесенью,— как снова услышал приглушенный, злой голос хозяина.

— Что это он?

— Ругает стариков за то, что не погасили свет в туалете. Мы оставили невыключенную лампочку...

«Витязь! Витязь! Где ты, дорогой? Завезти бы тебя вместе с тигром, с мечом и кинжалами, но лучше с плетью в Гали или на российский базар, чтобы согнал, смел ты оттуда модно одетых, единокровных братьев твоих, превратившихся в алчных торгашей и деляг, имающих за рукав работающих крестьян и покупателей; навязывающих втридорога не выращенные ими фрукты, цветы, не куривших вино, а скупивших все это по дешевке у селян; если им об этом скажут, отошьют их, плюнут им в глаза, они, утираясь, вопят: «Ты пыл бэдный! Пудэш бедный! Я пыл богатый, пуду богатый!» Они не читали книжку про тебя, Витязь. Иные и не слыщали о ней. Дело дошло до того, что любого торгаша нерусского, тем паче кавказского вида по России презрительно клянут и кличут «грузином»...»

И Отар вот тоже дитя своего времени. Посмотрел я его книги, изданные в Москве, и меня поразило, что из сокурсников Отара и верных товарищей, переводивших его сложную прозу на русский язык, остал-

ся лишь один я, остальные все заменены грузинскими фамилиями — так выгодней. Да и я остался в переводчиках лишь потому, что попал в «обойму».

Неподалеку от Ткибули с черной, словно бы обугленной долины, с черными на ней кустами, пнями, деревцами и кочками, снялось и загорланило недовольное воронье; нанесло на нас стояло-гнилой вонью — хоть нос затыкай.

— Что это такое?

— Смотри!

А-а, знакомая картина. По России знакомая. И надоевшая. Водохранилище. Тут вернее его назвать — водо- и землегноилище. Широкая пойма реки, постепенно сужающаяся и ветвящаяся в недальних горах, с осени была покрыта толщей воды. За зиму воду сработали. Сел на притоптанную и притопленную землю лед, а подо льдом-то и у нас много чего остается и гибнет; здесь же, в благодатном климате, в прогретой воде, живет и растет всего так много, что от обсохшей, гниющей дохлятины стоит смрад, будто на поле битвы. Особенно вонько от грязных, кучей скрестившихся раков, что сползались в колдобины, лужи, под кусты — в сырое место,— тут их и придавило льдом, тут они и обсохли. Рыба, водоросли, лягухи и больные птицы, мыши и крысы, зайчата и норки — целая бойня на непролазном и непроездном кладбище живности и лучшей, веками сносимой в долину земли (а новые поля и плантации — на склонах голых гор, на свежезаголенной глине).

Скопленная за весенний паводок вода сработалась, а может, лето засушливое было, и водохранилище, угольничком располосованное на лоскутья в заливчиках, впадинах и водомоинах, стекленело вдали, подпертое обнажившейся и оттого высокой стеной плотины. Сюда, в предгорье, вода придет осенью, с затяжных дождей, а может, и не придет, не покроет эту грязную, омертвело-темную долину.

Мы проезжали по брусчатому мостику через приток запруженной мутной речки, с тоже черными, ослизлыми берегами и очумелым от грязи кустарником, все же пробившим кое-где лист. Сквозь сохлый панцирь грязи местами украдчиво светились пучки травы на черных кочках, как бы не верящие, что им удалось вырасти, даже цветки цикория по обсохшему кое-где бережку, припоздалой мальвы и неведомые мне колючки с мелким рассыпчатым цветом рдели и лезли на бугорки, на бровки бережка, цеплялись друг за дружку полуголыми стеблями, похожими на кости птичьих лап.

— Стой! — заорал я.

Шалва ударил на тормоза. Машина клюнула носом, задрала зад так резко, что открылся багажник.

— Я буду рыбачить в этой речке!

Спустившись с мостика, я выламывал побег гибкого орешника. Отар, перегнувшись через перила, курил, стряхивая пепел с сигареты в не просто мутную — в непроглядно-грязную воду речки.

— Какая тут рыба? Она что, такая же дурная, как ты? Есть только одна у нас рыба — фарэл называется. Она там, за девятью горами, в моей Сванетия.

Шалва тоже улыбнулся снисходительно, будто смотрел на прихотливые шалости неразумного племяша. Но оба они перестали острить и насмехаться надо мной, когда после первого заброса в темные пучины речки казенный пластмассовый поплавок на казенной, мимоходом мною купленной леске повело в сторону и разом утопило.

— Сэйчас он выташшыт вот такой коряга! — раскинул руки Отар.

— Нет! — возразил брату Шалва.— Старый сапог или колесную шину...

Но я выкинул на брусчатку моста темно-желтую, усатую рыбину

и по сытому пузу, всегда и везде туго набитому, тут же узнал беду и выручку всех младых и начинающих рыбаков, мужика водяных просторов, главным образом отмелей, едока и неутомимого работника — пескаря. Начал было удивляться: пескарь любит светлую воду, но некогда было удивляться.

— А-ах! — закричали братья и в форсистых пиджаках, в глаженых брюках упали на мост — ловить рыбину. Когда поймали, долго рассматривали ее, что-то кричали друг другу на своем языке. Отар опамятовался первым. Вытирая чистым платком руки и отряхивая штаны, все еще не сдаваясь, стараясь удержаться на ехидной ноте, не мне, а брату или пространству родных гор молвил:

— Была адна рыба, и та бежала из тюрьмы. Может свободная, умная рыба забраться в такое?!

Он не успел договорить — на досках бился, прыгал второй пескарь, был он крупней и пузатей первого. И пока братья ловили пескаря на брусьях, пока думали, что с ним делать и куда девать, я вытащил из мутной воды пятерых пескарей и белую, неожиданно белую плоскую рыбу, которую, захлопав в ладоши, как в театре, братья назвали «цверкой», и я догадался, что это означает — щепка.

Червяка у меня было всего два, я их вынул из-под брошенного возле моста бревешка, и от червяков осталась одна, на малокалиберную пульку похожая голова. Тоном полководца я приказал братьям найти банку, накопать мне червей — и они со всех ног бросились выполнять мое приказание, потеряв всякую степенность, не жалея форсистых остроносых туфель и брюк.

На голову червяка я выхватил еще несколько пескарей, вздел их на проволоку, отмотанную от перевязи моста, и, потрясенные моими успехами, братья сломленно попросили сделать и им по удочке. Когда я отвернул лацкан пиджака и братья увидели нацепленные там крючки и когда я из кармана вытащил запасную леску, они в один голос сказали:

— Какой умный человек!

Скоро братья, как дети, носились с гамом и шумом по берегу речки, выбрасывали пескарей в грязь, и если у меня или у одного из братьев срывалась добыча и шлепалась обратно в речку, орали друг на дружку и на меня тоже:

— Ты чего делаешь? Ты почему отпустил рыбу?!

А когда Отар зацепил за куст и вгорячах оборвал удочку, то схватился грязными руками за голову и уж собрался разрыдаться, но я сказал, что сей момент налажу ему другую удочку, привяжу другой крючок, и он, гордый сын сванских хребтов, обронил сдавленным голосом историческое изречение:

— Ты мне брат! Нет, болше! Ты мне друг и брат!

На проволоке моей уже было вздето до сотни пескарей и с десяток цверок. Братья заболели неизлечимой болезнью азартного, злостного индивидуалиста-рыбака, каждый волочил за собой проволоку с рыбинами, хвалился тем, что у него больше, чем у брата, и подозрительно следили братья один за другим, чтоб не снял который рыбеху с его проволоки и не вздел бы на свою.

Уже давно накрапывал и расходился дождь, мы могли застрять в грязной пойме с машиной, я взывал к благоразумию, но одному русскому с двумя вошедшими в раж и впавшими в безумство грузинами справиться непосильно.

А тут накатило и еще одно грандиозное событие. Я, уже лениво и нехотя побрасывающий на берег пескарей, заметил, что моя проволока, тяжелая от рыбы, привязанная к наклоненному над водой кусту, как-то подозрительно дергается, ходит из стороны в сторону, и подумал, что течение речки колеблет мою оснастку, да еще рыбы треплют

кукан. Однако настороженность моя не проходила, и холодок надвигающейся беды все глубже проникал в мое сердце.

Я воткнул в берег удочку, пошел к кукану, поднял его над водой и чуть не умер от разрыва сердца: весь мой кукан, вся рыба были облеплены присосавшимися, пилящими, раздирающими на части рыбин раками, ухватками и цветом точь-в-точь похожими на дикоплеменных обитателей каких-нибудь темных, непролазных джунглей. Раки-воры, раки-мародеры шлепались обратно в речку, в грязь растоптанного берега, но иные так сладко всосались, вгрызлись в добычу, что и на берегу не отпускались от бедных, наполовину, а то и вовсе перепиленных пескарей и цверок. Мне бы еще больше удивиться — рак еще шибчее пескаря привередлив к воде, мрет первым в наших реках с испорченной, мутной водой, но это ж Грузия! Чем дальше вглубь, тем менее понятная земля.

— Это что? — наступал я на потрясенных больше меня братьев.— Это что у вас в Грузии делается, а? Грабеж! Да за такие дела в войну...— Я, совсем осатанелый, поддел грязным ботинком пятящегося с суши в воду рака, не выпустившего из клешней превращенного в ил пескаря, со скрежетом продолжающего работать челюстями и всеми его неуклюжими, но такими ухватистыми, безжалостными инструментами. И теперь уже смиренный Шалва, весь растрепанный и грязный, заорал на меня:

— Ты что делаешь, а? Зачем бросаешь обратно рак? Его варить. С соллю... М-мых! Дэликатэс!

— Да мать его туды, такой деликатес! — не сдаваясь, бушевал я на всю грязную, к счастью, безлюдную пойму речки-ручья.— Он рыбу сожрал, падла! Он — вредитель!

Шалва, разбрызгивая грязь, уже бежал от машины с ведром и с пяток «не смывшихся» обратно разбойников здешних темных вод успел побросать в посудину.

— Мало,— сказал Шалва.

— Мало, да? — подхватил я свирепо.— Сейчас будет много! Счас!.. Счас!.. — Я стянул со всего проволочного кукана и ссыпал в ведро остатки рыбешек, узлом привязал к концу проволоки половину несчастного, недожеванного пескаря и опустил его в мутную воду, под тот куст, где висел кукан. Проволоку тут же затеребило, затаскало.

Братья перестали удить, наблюдали за мной, испуганно переглядывались: уж не рехнулся ли дорогой гость? Собрав остатки своего мужества и терпения, я дождался, чтобы проволоку не просто потеребило — чтоб задергало, вихрем выметнул на берег трех присосавшихся к рыбине раков, да еще с пяток их на ходу отвалились и шлепнулись назад в речку. Братья и говорить не стали, что я умный. Это было понятно без слов. Я был сейчас не просто умный, я сделался первый и последний раз в жизни «гэниальный». Отар, сбросив в ведро раков, совсем уж робко обратился ко мне как к повелителю и владыке:

— Стэлай нам так же, дарагой!

И я привязал им по недоеденному пескарю к проволоке, и они начали притравлять, заманивать и выбрасывать на берег раков, мстительно крича какие-то слова, которые и без переводчика я понимал совершенно ясно: «А-а, разбуйнык! А-а, мародер! Ты что думал? Думал, что тебе так даром и пройдет?! Кушал наша рыба! Тепер мы тебя кушат будем!»

Братья — южный народ, горячекровный. Забыли про удочки, про дождь, все более густеющий, про жен, про детей, про дядю Васю — про все на свете. Их охватило такое неистовство, такой восторг, который можно было зреть только на тбилисском стадионе «Локомотив», когда Месхи слева или Метревели справа, уложив на газон фантастическими финтами противников, делали передачу в штрафную площадку, центр нападения Баркая просыпался и, не щадя блестящей что куриное яйцо

лысины, с ходу, в птичьем полете, раскинув руки, в гибельном прыжке, в падении, бодал мяч так, что вратарь «Арарата» и глазом моргнуть не успевал, как он уже трепыхался в сетке. И тогда все восемьдесят пять тысяч болельщиков (это только по билетам! А поди узнай у грузин, сколько еще там и родных, и близких — без билетов!) вскакивали в едином порыве, прыгали, орали, воздев руки к небу, целовались, плакали, слабые сердцем, случалось, и умирали от восторга чувств.

Вот с чем я могу сравнить ликование и восторг братьев-добытчиков, которых лишь надвинувшаяся темнота и дождь, перешедший в ливень, смогли согнать с речки. За все радости, за все наслаждения, как известно, приходится расплачиваться «мукой и слезой». До слез, правда, дело не дошло, но намучились мы вдосталь, почти на руках вытаскивая машину из глубокой поймы по глинистому, скользкому косогору ввысь, и когда подъехали к дому на окраине Ткибули, нас встретил с криком и плачем старый человек, у которого оказалась снесена половина лица,— это и был дядя Вася. Он так нас заждался, так боялся, что эти сумасшедшие кутаисские автогонщики врежутся в нас, что у него случился сердечный приступ, он упал на угол старинного сундука, зачем-то выставленного на веранду.

Дядя Вася всю жизнь проработал под землей Ткибули шахтером, и у него плохое сердце от тяжелой работы, сердце, надорванное еще в войну, когда стране был так необходим уголь. Наборщиком же, который печатал первую книжку Отара, в Цхалтубо работает совсем другой дядя — не Вася, а Реваз, по фамилии Микоберидзе.

— А-а, все понятно! Почти все...

Ах, как это замечательно, когда в жизни встречаются такие добросердечные дома и люди, как дядя Вася. Как чудесно быть гостем, значит, и другом, пусть мимолетным, недолгим, у людей, умеющих без задней мысли жить, говорить, радоваться простым земным радостям, ну хотя бы встречному человеку, новому ли светлому дню, улыбке ребенка, говору ручья, доброму небу над головой.

Застолье было невелико, скромно, однако так радушно, что мы засиделись за столом до позднего, почти предутреннего часа, не чувствуя усталости, скованности, и мне казалось, что я и без перевода слышу и понимаю все, что говорят и поют люди другого языка и нации, приветившие и обогревшие путника едой, вином и душевным теплом.

Главным заводилой за столом был Георгий, тот самый, что служил с Шалвой на Урале и был зятем дяди Васи, но в родстве с моими друзьями не состоял, однако и того, что служили люди вместе, хватило им для родственной привязанности друг к другу. Георгий тоже работал под ткибульской землей в шахте, добывал уголь стране. Жена его преподавала русский язык в школе и не только ловко меняла посуду, наливала в рюмки вино, но и переводила мне разговоры и песни, когда забывал это делать Отар, увлекшись беседой, куревом и вином.

Дядя Вася за столом сидел мало. Он себя плохо чувствовал. Он лежал все на том же сундуке, об который своротил свое лицо, но, превозмогая себя, нет-нет да и поднимался, ковылял в дом, смотрел на стол — все ли в порядке, говорил что-то руководящее женщинам, и те, снисходительно улыбаясь, уверяли его, что ни о чем не надо заботиться, они все понимают, зорко за всем следят, храня учтивость и скромность, никому не мешают, и будет так, как всегда было у женщин их рода, а он, дядя Вася, знает же, что по гостеприимству, умению бдить и потчевать гостей никакие женщины ткибульской округи с ними сравниться не могут.

Дядя Вася немного успокаивался, просил налить ему бокал вина, подняв его над головой, старался говорить патетические тосты, но дыхание его рвалось, он хватался за сердце, глазами, в которых стояли благодарные слезы, смотрел на нас:

— Как я счастлив! Как я счастлив! У меня пятнадцать лет не было гостей! Пятнадцать лет! Пойте громче! Пойте, чтоб все соседи слышали, что и у Василия, у бэдного пэнсионера Василия, тоже могут быть гости!..

И зять его, рано начавший седеть в шахте, где, он сказывал, уголь черный, но мыши живут белые и слепые, тряхнув рассыпчато-кудлатой шевелюрой, сразу высоко начинал: «О-о-о-ой-её-оо-ля-ля-ле-ле-о-о-ой-я-а-але-ля-ляо-о-о-ой...» — И мы подхватывали песню, в которой слов было совсем мало, да и те вроде бы ни к чему. Дядя Вася от чувств, его переполнявших, кусал Георгия за щеку и отправлялся на свой сундук.

Было много раз пито за здоровье хозяина — дяди Васи, который, рассказывала нам тихим голосом дочь, в войну часто отдавал шахтерский паек эвакуированным детям, своя семья, случалось, ложилась спать голодной. Вот тогда часто, очень часто бывали у них гости, ели, пили, спали, и однажды затесался к ним дезертир, неделю жил, всех объел, потом его арестовали. И дядю Васю тоже. Но все люди Ткибули знали доброе, слабое сердце дяди Васи, и суд пощадил его, вернул обратно в шахту, только премиальных денег и пайка премиального его лишили да послали из забоя на опасные отпальные работы с проходчиками. Но дядя Вася и там не пропал, вышел в стахановцы, угодил на городскую Доску почета. Она, та доска, до сих пор висит возле шахтоуправления, может, забыли снять с нее карточку старого шахтера, может, рука не поднимается это сделать, может, фанеры нет новую Доску почета сделать. Но как бы там ни было, такого работника, такого отца, такого хозяина дома нет больше на всем белом свете!

Рассказывая все это, дочь заплакала, прикрывшись концом темного платка, а Георгий закричал:

— Оооо-лёооо-оле-ё-ооолё-оо-аа-аа-аа...

— Выппем еще раз за нашего любимого отыц! — воззвала к застолью учительница русского языка. Она все-таки сносно говорила по-русски. Бывает, которые почти ни одного слова не знают, но учат или учатся на «отлично» и даже учебники пишут по вопросам языкознания.

— Ты... ты — лючий дочь... муш твой — лючий шахтер и певец! — рыдал на веранде дядя Вася, но и рыдая, не впадал в крайности, не говорил, что у ее дочери лучший муж, угадывалось — ба-альшой спец по женской части был Георгий, и, когда принял вина изрядно, бдительность его притупилась, он, зажмурив глаза, отуманенные мечтательной мглой, унесся в сладость воспоминаний:

— Когда я служил на Урале... армия... рядом с нашей часть было женское общежитие пеницилынного завода... тэвять эташей!.. Уральские девушки... польни дом! О-о-ой, рябына кудр-ря-авая, сэрдцу па-адскажи, кто из них ми-ы-лэ-э-эй! — завел он, и стало ясно, что «лучших дней воспоминанья» он до сих пор «носил томительно с собой».

— Мои гости... люччие гости Савецкаго Саюза! — кричал с веранды дядя Вася.

Поздним утром, когда солнце стояло уже почти над головой, в грязной долине, скрывая хламье, все еще плавало сизо-серое облако — туман не туман, скорее, нефтяные испарения, местами прорванные скелетами деревьев, которые наподобие музейных ископаемых упорно брели из долины в горы, вдаль, куда-то в недвижимый морок, в немоту

времен. За круглым столом, в центре которого во время пира стояла чугунная сковорода с жареными пескарями и красовалась фарфоровая суповница с наваленными в нее красными раками, обреченно выбросившими за борт посудины недвижные клешни, с вареными тыквами цвета червленого золота; за столом, белеющим сырами, непременной курицей отнюдь не колхозного выгула и осанки, заваленном зеленью и фруктами; за столом, на котором все время появлялось что-то острое и горячее — то лобио, то сациви, то еще какое-нибудь раздробленное мясо или птица с такими жгучими приправами, с таким перцем, что они сворачивали набок слабые славянские челюсти и скулы, но женщины откуда-то, скорее всего от братьев, узнали, что я не могу есть слишком острое, мне подавали и лобио, и горячее, приготовленное в щадящем режиме,— за круглым столом, прибранным столом, покрытым свежей скатертью, мы попили чаю, кто мог — вина или компота да поели фруктов. Я от всего сердца благодарил этот дом и хозяев его за гостеприимство, за деликатность, поклонился женщинам. Георгия не было, он ушел на работу.

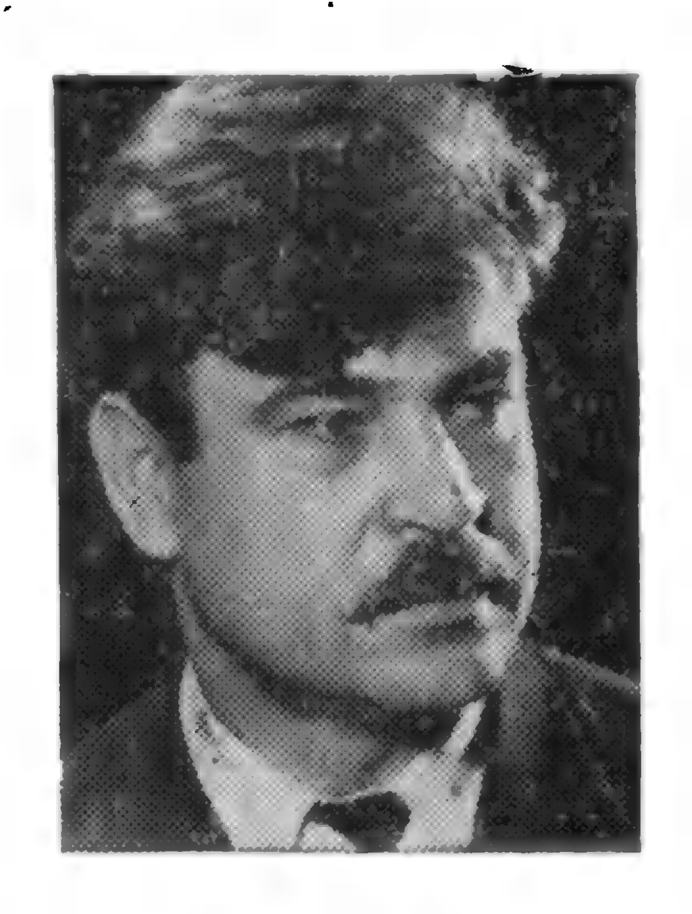
Дядя Вася от волнения совсем сдал. Зажимая разбитую, посиневшую часть лица — неприятно же гостям смотреть! — он с мольбой вопрошал Отара:

— Хорошо было, скажи? Хорошо?

Отар обнимал дядю Васю, легонько хлопал его по спине и успокаивал, но успокоить не мог. Тогда и я обнял дядю Васю и громко, чтобы женщины тоже слышали, произнес:

— Только у вас, да еще в Гелати я почувствовал, что есть настоящая Грузия и грузины! — И еще раз, древним русским поклоном — рука до земли — поблагодарил гостеприимных хозяев, чем окончательно смутил женщин, а дядю Васю снова вбил в слезу.

— Если тебя... если тебя...— заливаясь слезами, молвил он,— торогой мой русский гость, кто обидит у нас, Грузия, того обидит бог...



Борис КУЛИКОВ

Гусли-самогуды

Стихи, написанные в больнице

Заиграйте, гусли-самогуды,
Гусли-самогуды-провода!
Ходят суды,
Ходят пересуды,
Ходят слухи, прям-таки беда.
Слышу я:
«Он стал ленив и нежен.
Недруги — теперь его друзья.
Постарел. И финиш неизбежен —
В затхлое болото
забытья.
Жалко... Выступал велеречиво,
Был ведь «из прославленных
рубак»,
А теперь — добряк.
Мусолит чтиво.
Был казак, а заболел —
слабак...»

Гей вы, гусли!
Струны-оплеухи!
Ну-ка, вдарьте,
правдою звеня,
Чтоб слыхали неслухи.
А слухи
Отскочили сами от меня.
Болен я. И лет, считай, —
полсотни.
Грешен...
Пошумел...
Повоевал,
Но стихи по-прежнему —
по сотням
С рифмами-клинками —
наповал!

Недруг втайне молится:
«Загнется.
Вон болезней — целый легион».
Ну а мне немрется.
Мне неймется —
Выпускаю шуток эскадрон.
Вот он я!
И повестью в журнале
Язвою у недруга сижу.
Вот он я!
И в темном кинозале
Я с экрана
на друзей гляжу.
Радио включаю —
все в порядке,
Как и обещали,
слышу сам:
С Дона и — до голубой Камчатки
Голос мой летит по проводам.
Я пока что Родине полезен,
Не пристанут мнимые грехи.
Вот — назло и слухам,
и болезням
Пишутся и проза, и стихи.
Так живу и так дышу Россией,
Не поддамся лести и врагу.
Все свои болезни пересилю!
Ну а если...
Если не смогу, —
Поклонюсь земле... Уйду отсюда
В черное и вечное —
туда...

И заплачут гусли-самогуды.
И застонут в поле провода...

Побасенки

Что запели косари на заре?
«От росы стоит трава в серебре,
Пчелки потчуют майским медком,
А река поит парным молоком,
В рощах звонко поют соловьи,
Мы им, люди родные, свои.
Поработаем в радость и всласть,
Нынче наша воля и власть.
(А где косилки и косы-то хорошие? Черт-те куда они подевались!..)»

Что во кузницах поют кузнецы?
«Мы, ребята, право слово, молодцы!
Уж куем мы, куем мы, куем,
Словно громкие песни поем.
Будут бороны, будут плуга.
Если надо — скуем на врага
Пику ужасную,
Шашку опасную...
(Только не из этого железа. Оно же мнется, как тесто!..)»

Что мурлычет председатель с утра?
«По всему видать — сеять пора.
Поспевает хорошая зябь...
А где трактора?
Поугробили в осенне-зимнюю хлябь!
Где тот злодей, что перевел лошадей?
Выгнали взашей?
А мне от этого не легче.
Командуют: то сей, это не сей.
Будто я не хлебороб — ротозей.
И скажи, какое вредное явление!..
(Почему не выполняют правительственные постановления?)»

Что поет соловьихе соловей?
«Ты, любимая, гнездо покрепче свей,
Ты мне выведи побольше соловьят,
Пусть, родименькие, радостно пищат,
Я, клянусь, работать буду горячо,
Чтобы детки не нуждалися ни в чем!»

Чу! Коршуны в небе кружат —
Надо кормить коршунят-салажат.
И... — ах, соловушки, мягкие перышки,
Вкусные горлышки!
(А они — брык с ветки. И в траве затаились. Ищи-свищи!)

Что запели девчата в садах?
«Ванька Шишкин уже в женихах.
И пригож, и силен, и речист,
И один на село гармонист.
Да на нас-то совсем не глядит,
В город все укатить норовит.
Не согласны мы с таким его движеньем —
Ваньку мы на Таньке Красовой оженим!
— Ох, девоньки, муторно без парней...
Вот горе-то!

— Ничё! Скоро станет жить веселей, —
Студенты приедут из города.
— Они приехали да уехали,
А мы — с прорехами.
Так вить?
А хочется гнездо свить...»

Что с утра кричит кукушка на суку?
«Обмануть бы мне кого-нибудь, ку-ку!
Свои яйца глупым птахам подложить,
Беззаботно лето красное прожить.
Труд и детки — это вовсе не про нас.
Жизнь кукушке ведь дается только раз.
На коротком на кукушечьем веку
Вся и радость, что кукуешь на суку...»

А тут мальчишка гадкий —
Трах! — ее из рогатки.
И оборвалось ку-ку.
Радостно сопляку.

Не осталось ни детей, ни плетей...

Пели девки, косари и соловей!

Бывальщина

(ПО НАРОДНЫМ МОТИВАМ)

Где мы спали, трали-вали!
Нам постлали бычий пшик,
А на завтрак, слышь, подàли
Петушиный жирный крик.
К чаю — быть ему-де сладку —
Вволю сахару... вприглядку.
Мы их отблагодарили,
Лежа к дому уходя, —
Звоном денег заплатили
За три жареных гвоздя.

Наш Иван, прораб который,
День-деньской торчал в конторе,
Выбивал проект объекта...

Получил проект проекта!
И к нему совсем немало
Всякого стройматерьяла:
Воздух дали на фундамент,
Колер поля на орнамент,
Триста тысяч ча-ча-ча! —
Дали звуков кирпича;
Привезти издалека
Обещали дым песка,
Посулили и цемента —
Триста
тридцать
три
Момента.

Напоследочек — впритирок
Натолкали тыщу дырок
Неимеющихся труб.
Заказали строить клуб...

Всю мы зиму, трали-вали!
С медведем в обнимку спали,
Воздух бодро трелевали *.
А весною
под сосной
Белок
удили
блесной.
Летом ставить мы не стали
Ни кола да ни двора —
В холодочке загорали,
Под навесом забивали
Бородатого «козла».
А когда заосенило,
Сразу всех нас осенило:
Собственно, чего мы ждем?
Чтобы мокнуть под дождем?
Черт ли с ним, с проектом с тем!
Шифер подняли повыше —
Возвели над степью крышу
Без фундамента и стен.

В декабре дождем и снегом
Утеплили потолки,
Застеклили окна небом,
В ступе воду потолкли —
За получкой потекли.
Тут-то к нам и прискакали
Те, что клуб нам заказали.
Что тут было... Трали-вали!
Не побили нас едва.
«Отдадим под суд!» — кричали,
Мы им тоже угрожали,
Все доделать обещали.
Сели.
Пили-пировали...

Подписали
«Форму два»! **

Спрашиваешь: — А дворец? —
Году, слышь-ка, был конец.
С них бы денежки-то сняли
И на новый год не дали.
Говоришь, нелепость?
Факты!
Так-то...



* Трелевать — на языке строителей — перемещать.
** «Форма два» — документ о приеме объема заказанных и выполненных работ для получения денег подрядчиком.

Продовольственная программа — забота общенародная

Иван УХАНОВ

РЫБАК В СТЕПИ

Решительно улучшить организацию рыбоводства и рыболовства во внутренних водоемах, расширить работы по созданию прудовых рыбных хозяйств, повсеместно использовать их возможности для снабжения населения живой и охлажденной рыбой.

Из Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года.

Сняв оранжевую робу и высокие резиновые сапоги, мы, усталые и немного озябшие — только что с ветровой волны, — усаживаемся возле доброго костерка. Над ним, в широкой кастрюле, пофыркивает уха. Степной вольный дух ее смешивается с дикими запахами чебреца и прибрежной осоки. И совсем неуместно, какой-то нечаянной насмешкой звучит из полевого вагончика голос повара: приглашает отведать котлет с вермишелью. Нет уж! Котлеты, биточки, марципаны... — все такое-этакое в городе. А тут уха с дымком, на берегу, у костра, под тихим закатным небом... Сами рыбаки ухе предпочитают любую пищу, будь то даже чай с сухарями. Мне же, новичку в бригаде, она в охотку, и, видно, учтя это, старый рыбак Рафаил Ильич Нагаев сготовил ее не на газовой плите в вагон-кухне, а на костерке, сотворенном из сухих вязовых поленцев. За компанию и себе налил в чашку, и бригадиру, черноглазому, подвижному Владимиру Авдееву, с которым мы только что пришли с воды. Вскоре, однако, Владимир откланялся, сел в «Жигули» и помчался в поселок, на центральную усадьбу рыбколхоза — горючее добывать. Путина в разгаре, а для лодочных моторов бензина опять не хватает!..

— Устал? — негромко спрашивает Нагаев, окидывая меня сочувственно-ободряющим взглядом.

— Да... Хорошо устал, — отвечаю благодарно. Как вчера и позавчера, работал весь день на воде, на сетях, попеременно то с одним рыбаком, то с другим, жадно утоляя накопившуюся в городской квартире тоску по грубой физической работе. Наломал себя до той чугунной усталости, когда, добравшись до подушки, засыпаешь мгновенно и сладко, как в детстве.

— Если желаете, можно завтра на мои сети... Приглашаю. — Рафаил Ильич вскинул рыжеватые кустики бровей. — Но уговор: подъем в пять ноль-ноль.

— Согласен. В пять...

Где там! Сладок зоревой сон. Очнулся я оттого, что Рафаил Ильич тормошит меня.

Вскакиваю, быстро облачаюсь в рыбацкий костюм и, поеживаясь от рассветного холодка, шагаю следом за Нагаевым к лодке. Дружно налегаем на нее и, столкнув в воду, заводим мотор.

Над нами и под нами бессолнечное еще, в лилово-красных облаках, какое-то фантастическое небо. Разрезая неспешные волны, мчимся в затуманенную даль, где едва приметно маячат на темной воде белые треугольнички буйков.

Подруливаем к крайнему и, заглушив мотор, поднимаем с многометровой глу-

бины сеть. Перехватывая веревку ловкими руками, Рафаил Ильич вытаскивает из воды грузный якорь. А вот завиднелась и сама сеть, помеченная пунктиром желтых поплавков. Нагаев сноровисто выбирает из нее рыбу. Моя забота — не спеша подгребая веслами, при любой волне держать лодку перпендикулярно сети.

В зеленоватой толще воды слитками серебра блестят сиги и рипусы. Поднятые с десятиметровой глубины, они шально бьются, еще надеясь вырваться из капроновых ниток. Запах живой рыбы, ее обилие возбуждают в нас особый рабочий настрой, дух удачи.

Переходим к соседней ставке сетей, рыбы в ней меньше.

— В середине июня вода здесь была холодная, — поясняет Нагаев. — А теперь прогрелась, и рипус ушел в более прохладный слой — на глубину. Вот и мы вслед давайте-ка опустим сеть метра на четыре.

Сети двух соседних ставок снимаем и вместе с якорями складываем в лодку.

— Грязные, только отпугивают рыбу. Нужно прополоскать и заново поставить, — поясняет Нагаев.

Сеть у рыбака — главный его инструмент. Одна и та же сеть у одного ловит, у другого нет. Тут важно, как, где и когда ее поставить: вдоль берега или поперек, в ясную погоду или в ненастье, в теплую воду или в холодную. Не забыть учесть направление и силу ветра, глубину и ширину тони, ее подводный рельеф, время суток и года...

В прошлом Нагаев — геологоразведчик. Затем был на партийно-хозяйственной работе, а вышел на пенсию и заскучал. Праздная жизнь удручала. Попросился в рыбаки. К нему не кинулись с распростертыми объятиями. Брать пенсионера в бригаду, где в основном 30—35-летние, — дело рискованное. По плечу ли пенсионеру натяжной канат невода? И все-таки Нагаева приняли: вырос он на берегу Урала, хорошо знал водохранилище. И вот он рыбачит. Пожалуй, верно замечено: старость начинается тогда, когда в мужчине умирает отвага.

Поначалу Нагаев работал на мелкоячейных сетях, ставил их невдалеке от берега, добираясь к ним на весельной лодке. Ловил в основном окуня и сорожку, которую охотно берет в магазине покупатель. В рыбацком же обиходе она считается мелкой, сорной. Ловить ее и сдавать — дело кропотливое, трудоемкое и маловыгодное. Маститый рыбак обычно с ней не возится — и время упустишь, и в заработке потеряешь, и все руки до крови исколешь, выпутывая из мелкоячейной сети воинственных окуней. Но Рафаил Ильич терпеливо выбирал «матросиков», так шутливо называют рыбаки полосатых окуней, аккуратно сдавал их, с каждой неделей увеличивая уловы. Все дальше уходил он от берега, все больше сетей расставлял в хорошо изученных тонях.

С весельной пересел уже на лодку-моторку, ловил не только плотву и окуня, но и судака, леща, сига. Раз, другой перекрыл личный план сдачи рыбы, а в конце второго года работы в бригаде портрет его поместили на Доске почета Ириклинского рыбного производства.

Не всех поначалу устраивала требовательность Нагаева. Его гневные выступления на собраниях, его борьба за порядок и дисциплину в артели. Он не мог и не хотел мириться с тем, что рыба разбазаривалась, много ее уходило «налево» — сбывалось за наличные частным лицам. Требовательность Нагаева заставила многих взглянуть на себя строже. Вскоре коммунисты колхоза избрали его своим партийным вожаком, а после отчета переизбрали, потом оставили еще на один срок...

Прошлый мой приезд в колхоз «Волна» совпал с трудной для хозяйства ситуацией — снимали с поста и исключали из членов артели председателя, зачастую путавшего свой карман с государственным. По его велению рыба нередко сбывалась, минуя колхозный склад. Да и со склада реализация ее шла не по накладным, а по запискам председателя или старшего бухгалтера. С этой запиской «покупатель», внеся деньги в кассу, шел на склад и получал рыбу. Когда таких записок набиралось изрядно, отписывалась общая накладная в каком-нибудь продовольственном магазине и туда же вносились деньги за якобы проданную с прилавка, а фактически растранжиренную по «нужным» людям рыбу. Население же крупного рабочего поселка Энергетик, расположенного на берегу водохранилища, а также близлежащих городов Орска и Новотроицка свежей рыбы не видело.

Нагаев, опираясь на колхозных активистов, организовал и возглавил авторитетную комиссию, которая провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ар-

тели. Недостатков вскрыли немало. О них парторг доложил коммунистам колхоза, а также районному комитету партии.

Крепко и долго сопротивлялся снимаемый председатель. Как ни странно, нашлись у него в многих инстанциях, даже в областном суде, заступники... Но правда взяла свое.

Когда бывший председатель уходил из колхоза, то зашел к Нагаеву попрощаться и стал его... жалеть. Из-за этой драчки, говорит, ты ведь и себя издергал, старина. Столько нервов попортил, даже в больницу попал... А зачем?! Зачем тебе это было нужно? Чего не хватало? Пожилой человек. Рыбачил бы потихоньку, здоровьишко свое тешил — для того ведь к нам пришел. Ан нет! Всюду лез, нос совал... Но кто ты такой, чтобы брать на себя все и вся?

— Коммунист, вот кто я такой,— спокойно ответил Нагаев...

Рыбу из последней ставки Рафаил Ильич доверяет выбрать мне. Торопливо выпутываю из сети скользких рыбин.

— Осторожно,— остерегает Рафаил Ильич.— Рыбу надо выбирать быстро, но не спеша.

— Как это «быстро не спеша»?

— Значит, терпеливо. А то кое-кто из наших хлопцев ее из сети выдирает. И летит она в корзину без жабр, окровавленная, помятая... Отчего спешка? Спать некоторые любят. Мы вот сейчас уже заканчиваем проверку сетей, а некоторые рыбачки только выходят на воду. Вон поглядите,— Нагаев показывает в сторону далеких, издали игрушечных, уже хорошо освещенных солнцем вагончиков.

Глухо доносится оттуда, с бригадного стана, рокот лодочного мотора, черная точка отделяется от берега. А солнце уже поднялось, и ветер проснулся.

— Сейчас заиграет волна, попробуй тогда подойти к сетям. Не вдруг-то... Вот тот рыбак, что проспал, начнет спешить, догонять упущенное время. Рыбу он будет выбирать, может, и быстро, но кое-как, не заботясь о ее товарном виде. Некогда ему быстро да аккуратно работать — к девяти часам к берегу машина за рыбой подъедет. И будет ждать его, соню-засоню... Почему рыболов-любитель выходит к воде на зорьке, а рыбак-колхозник спит до семи? Если мы хотим сдавать рыбу хорошего качества, надо пораньше и дружно на воду выходить. Чтобы сократить разрыв между выемкой рыбы из сетей и сдачей ее на склад-холодильник. Тут каждая минута дорога...

Сложив весла, Нагаев помогает мне собрать в корзину разбросанную по дну лодки рыбу. Сиги, судаки, лещи...

Удовлетворенно говорит:

— Вот в таком бы виде ее покупателю на стол! Порадовался бы, нас добрым словом помянул... А то что получается: мы корзины к берегу подвезем и, взвесив, вытряхнем рыбу в кузов автомобиля. Тонны полторы-две в кузове в конце концов наберется. Везти ее до склада-холодильника километров десять, а от пятой бригады — все сорок. Машина идет по проселочной тряской дороге, рыба давится, мнется. Судак и лещ — те покрепче, а вот рипус, сиг — очень нежная рыба, много ее при такой транспортировке портится... Дальше — разгрузка. Рыбу черпают совковыми лопатами и сбрасывают из кузова в ящики, снова взвешивать, затем несут в склад и вываливают на холодный цементный пол. От рыбацкой сети до холодильника рыба путешествует часов пять-шесть, травмируется, теряет в качестве.

— Что вы предлагаете?

— Для удобства транспортировки надо сделать алюминиевые посудины емкостью 40—50 килограммов, которые можно будет брать с собой. Потом из лодки они легко переносятся прямо в кузов грузовика, и тот доставит рыбу на склад. Быстро, удобно, без потерь...

Как и предсказал Нагаев, в десятом часу незаметно объявился ветер. Он усиливался с каждой минутой. И вот уж от горизонта к берегу покатились крутые, железного цвета валы. Лодку все труднее удерживать перпендикулярно к сети, да и сама сеть вырывается из рук, тащит за собой в воду. Наконец рыба выбрана из последней ставки. Лицо Нагаева в бисеринках пота, на руках и робах наших монетками поблескивает чешуя. Нагаев садится к мотору:

— Попробуйте-ка сейчас поработать на такой волне... О том молодым и говорю: знайте, хлопцы, цену утреннему часу... Тут уместно им и о горючем напомнить. Бензин надо экономнее расходовать. Ведь по тихой воде, на зорьке, плыть — один рас-

ход, по такой вот волне — совсем другой. А горючего, повторяю, у нас в обрез. Того количества литров, что ежемесячно выдается на лодочный мотор, и на неделю не хватает.

— А на чем же тогда работает моторка?

— Чаще всего бензин вымениваеТся на рыбу. Рыбак отдает часть своего улова первому попавшемуся шоферу.

— Но ведь рыба-то не его личная, а государственная?

— Да. Но и лодка-моторка не его личная, а колхозная.

— Тогда пусть колхоз и обеспечивает рыбака бензином! Выделит ему горючего столько, сколько нужно для выполнения плана. Есть же разнарядка, лимиты,— говорю я и встречаю снисходительно-улыбчивый взгляд Рафаила Ильича.

— И я так считал. И считаю. Ставил этот вопрос и на партсобраниях, и в рыбокомбинате, и в райкоме партии, но... пока имеем то, что имеем.— Нагаев извинительно разводит руками.— А ведь наш колхоз «Волна» — это 60 мощных лодочных моторов, 15 грузовых автомобилей. Только за один сезон они «съедают» примерно 180 тысяч литров бензина. Три четверти его рыбаки добывают сами, вынужденно проявляя находчивость — меняют рыбу на бензин. Не трудно подсчитать, сколько ценной рыбы уходит «налево», минуя колхозный склад! А в конце года мы еще и умиляемся, называя большие денежные суммы, полученные якобы за счет экономии горючего. Какая же это экономия?! Сами себя дурачим!

Нагаев заводит мотор и правит к берегу, озабоченно-хозяйски оглядывая всю водную ширь. Далеко справа и слева видны крохотные силуэты рыбаков. Чуть погодя некоторые из них, закончив проверку сетей, вслед за нами движутся к берегу.

— Область-то у нас о какая! Двумя орденами Ленина за хлеб награждена. А могла бы еще и за рыбу награду получить,— перемогая ровный шум мотора, кричит мне на ухо Рафаил Ильич.— Да, да. Если по-хозяйски дело организовать. Ведь кроме реки Урал, ее притоков и вот этого водохранилища в области имеются сотни прудов и озер. Оренбургский областной комбинат объединяет несколько рыбартелей. Однако — не странно ли? — план комбинат выполняет в основном за счет переработки океанического полуфабриката.

Вдруг он сбавляет газ, останавливает лодку и, перегнувшись через борт, вынимает из воды две черные коряги: не в наши сети, так в соседние попадутся, замучаешься выпутывать.

— Это всплывают сучья, ветки затопленных кустарников, деревьев... Более двадцати пяти лет прошло со времени зарыбления Ириклинского водоема. Но урожайность голубого гектара с тех пор не увеличилась.

На 26 тысяч гектаров размахнулось это огромное степное море возле стен Ириклинской ГРЭС. Не случайно называют его морем, водной копилкой Урала. Это — одно из самых глубоких водохранилищ (до 45 метров), самых чистых водоемов России. Я видел, как рыбак пил из него, будто из родничка, вкусную пресную воду. Без опаски пил не раз эту воду и я. Особенно в верховьях водоема.

Сиг, лещ, судак, сазан, сом, окунь, жерех...— около тридцати видов рыб населяют Ириклинское море. Жаль, что добыча этой ценной речной рыбы ведется вяло, убыточно. Хотя, по подсчетам специалистов и самих рыбаков, при умелом, заинтересованном промысле уловы уральской рыбы могут быть увеличены втрое. Что же мешает этому?

— Поживите, понаблюдайте, послушайте — и многое само откроется,— уклончиво говорит Нагаев, не желая навязывать свое мнение.— Вообще-то с приходом в колхоз нового председателя Егора Егоровича Даричева дела у нас пошли веселей. А было тут... За пять лет три председателя сменилось.

Пригласив Даричева в кабинет, секретарь Новоорского райкома партии разговор начал с вопросительного упрека:

— Что же так, огромный водоем, а рыбы нет?

— Рыба есть, порядка нет,— подумав, сказал Даричев.

— Вот мы и поручаем вам навести порядок в рыбколхозе.

— Почему мне? Как вам известно, я работаю начальником отдела строительного управления ГРЭС. К рыбе давно не имею никакого отношения.

— Хотите сказать — вам она безразлична? Вам! Бывшему начальнику Ириклин-

ского рыбцеха, руководителю всего нерестово-выростного хозяйства! Человеку, вложившему немало труда для зарыбления этого водоема! Неужели вы равнодушны к его нынешней судьбе?

— Нет. Потому и ушел с берега на стройку, чтобы... понапрасну не терзать душу.

— Спокойной жизни захотелось?

— Стройка — не тихая заводь...

— Речь идет о серьезном партийном поручении,— с легким нажимом заговорил первый секретарь райкома.— Я побывал в рыбколхозе, где недавно,— слышали небось? — снят председатель. Беседовал с людьми. Знают, помнят вас, Егор Егорович, на берегах...

Общее собрание тружеников рыбартели «Волна» единодушно избрало Даричева председателем. Сдав на стройке снабженческие дела, весной 1982 года он приступил к новой работе. Артель работала с большим отставанием, план первого квартала выполнила всего на 36 процентов. Даже передовые рыбаки не были обеспечены хорошими орудиями лова, работали на старых лодках, не хватало сетей. В бригадах забыли о распорядке дня, на некоторых рыбаков по два-три месяца не представлялись табеля выхода на работу. Вместо социалистического соревнования между бригадами шли распри, каждая норовила занять выгодное место в водоеме и любым способом дать план, вовсе не заботясь об охране и воспроизводстве рыбы. Промысловые звенья, разбросанные на берегу на сотню километров, не имели даже радиосвязи. Не было гаража, мастерских, холодильника, склада... Контора колхоза размещалась в двух вагончиках, возле которых стояло под открытым небом несколько грузовиков — почти все без резины.

Такой слабой, неокрепшей артель была не только потому, что ей не везло на руководителей, но и конечно же по причине своей молодости: здравствовала она всего только пятый год. А до этого промысел здесь вели бригады гослова, колхоз, цех по переработке рыбы, Ириклинский государственный рыбопитомник... Затем решено было создать на водохранилище вместо разных рыболовецких хозяйств одно — колхоз «Волна», сосредоточив в нем всю технику и людей. Решили — сделали. Но ни район, ни область, к сожалению, не постарались найти для молодой артели толкового вожака. И она, едва родившись, стала хиреть и разваливаться...

Начал Егор Егорович с того, что проехал по всем бригадным станам, приказал собрать, сосчитать и вывезти порожние водочные бутылки. В пяти бригадах их набралось около тысячи штук.

— По нескольку килограммов рыбы, я слышал, рыбак-хапуга отдает частным лицам за бутылку водки. Как видите, рыба разбазаривается десятками тонн. А она должна быть на колхозном складе. И она будет там! — резко заявил председатель на первом же совещании бригадиров.— И если я увижу на стане хоть одну, даже порожнюю водочную бутылку,— пеняйте на себя: бригадир будет уволен, а бригаду лишим премии...

Послышались голоса:

— Этак и бригадиров не наберешься!

— О какой премии речь? Премиальные-то мы только во сне видим.

Фонда материального поощрения колхоз не имел, его еще нужно было создать. Для этого следовало наладить учет трудовой отдачи каждого рыбака и специалиста, повысить эту отдачу. Вскоре между бригадами были заключены социалистические договоры, каждый рыбак взял еще и личное обязательство на конкретный срок. В бригадах вывесили доски показателей, на них аккуратно проставлялись проценты выполнения рыбаком каждодневных заданий. Каждый ясно видел, как он сработал вчера, сегодня, сколько центнеров рыбы предстоит ему сдать до конца месяца, квартала, года. Памятным для труженика стал день, когда он перевыполнил норму. Фамилия его крупными красными буквами писалась на «молнии», которая вывешивалась на бригадном вагончике, одновременно в семью передовика направлялась приветственная телеграмма, подписанная руководителями колхоза. В красном уголке заработала «фотодоска», на ней крупные портреты новаторов производства заняли достойное место.

Коммунисты Владимир Васильевич Авдеев, Павел Николаевич Агеев, Василий Иванович Захаров, Рафаил Ильич Нагаев в полтора-два раза перекрывали месячные нормы вылова рыбы. На них равнялись другие. Даричев позаботился, чтобы удос-

товерение ударника коммунистического труда, грамота, ценный подарок лучшему рыбаку вручались в торжественной обстановке и обязательно в присутствии его семьи, близких. И не по праздникам, а сразу же по совершении им трудового рекорда.

Уже к концу первого года председательствования Даричева колхоз впервые за пять лет имел 30 тысяч рублей чистой прибыли. Сумма, конечно же, невеликая, но у людей появилась вера в свои силы, в возможность работать с прибылью, с доброй перспективой. Прошел еще год, и доход колхоза возрос уже до 100 тысяч рублей. Руководство получило возможность поощрять лучших тружеников не только морально, но и материально: передовая бригада стала получать вместе с переходящим красным вымпелом по 250—300 рублей премии за квартал.

— Спасибо за премию, но лучше бы сети новые за хорошую работу выдавать. Будет чем ловить рыбу — деньги сами заработаем,— подсказал однажды председателю бригадир Авдеев.— Вы поглядите, на какой обшарпанной посудине я рыбачу. И лодки старые, и сети рваные. А многое ли сделаешь на одном энтузиазме?!

Даричев и сам понимал: без обновления технической базы — колхозу не будет ходу. И хотя рыбы ловили и сдавали теперь намного больше прежнего, себестоимость каждого центнера ее оставалась высокой. Однако кое-какие деньги в колхозной кассе уже появились. Даричев почти все их пускает на приобретение мощных лодок «Днепр», моторов «Вихрь-30», нескольких автомашин. К концу третьего года руководства хозяйством Егору Егоровичу удалось снабдить каждого рыбака новой моторной лодкой, комплектом разноячейных сетей, улучшить в бригадах условия труда и быта. Из старых вагонов и палаток люди на прибрежных станах перебрались в утепленные коттеджи, новые вагончики, в которых имелись газ, электричество, телевизоры, радиолы, книги. Правление приобрело рацию «Лен-Б», и она связала промысловые бригады.

На все нужды своих денег не хватало, брали ссуду. Построили гараж из кирпича, мехмастерские, заложили фундаменты жилого многоквартирного дома для рыбаков и административного здания колхозного правления. Стремясь как можно быстрее наладить в артели дисциплину и порядок, Даричев действовал подчас резковато, излишне горячился. Осмотрительный и строгий парторг Нагаев подсказывал ему:

— Полегче бы с рыбаками...

— Вы тут пять лет так ехали, что... ни с места. А теперь мы набрали скорость и давайте держать ее. Буксовать я не позволю.

— Так при большой скорости-то особо крепкие тормоза нужны. А они у тебя, погляжу, иногда не держат.

— Пьяниц и хапуг не потерплю. И говорить с ними мягким дружеским тоном не считаю нужным...

Однако в служебных беседах с людьми председатель, по совету парторга, поубавил немного громкость голоса и сразу же почувствовал, что его стали лучше слышать и слушаться. Однако с прогульщиками и пьяницами он не мог разговаривать спокойно. Негодовал. С помощью правления уволил одну треть членов артели, среди них несколько бригадиров. Сурово, круто?.. Нужно было решительно покончить с разгильдяйством, с хмельным панибратством в бригадах, со старыми привычками, оставленными прежними руководителями, которые сами порой не стеснялись в кругу рыбаков усидеть за ужином несколько бутылок спиртного и, уезжая домой, сунуть в багажник автомобиля кошелку или рюкзачок со свежей рыбой.

...Вообще вопрос кадров в артели — открытый. Не так-то просто заменить уволенного бригадира, даже хорошего рядового рыбака раздобыть — проблема. Не всякий в рыбаки годится, хотя страсть к рыбалке дремлет почти в каждом, кто живет на берегу большой реки или моря. Но вряд ли в артели примут новичка, прежде не знавшего рыболовецкого ремесла. Не было здесь и такого случая, чтобы рыбак пришел к председателю и показал аттестат, где указывалась бы его квалификация: какой у него разряд, высокий или низкий — этого никто не знает. Это проверят и удостоверят лишь море, работа на сетях. Какие уловы — таков и рыбак. Нет пока ни школы, ни училища, где готовили бы речных рыбаков. Готовит их сама жизнь рыбацкого поселка, молодые учатся у старших, по-своему перенимают и обогащают их опыт. В рыбаки идут лишь по большой охоте.

Саша Каныгин, например, с которым я вчера весь день работал на сетях, самый

молодой в бригаде. До вступления в колхоз слесарил на местной гидроэлектростанции, а летние отпуска проводил у рыбаков, подсобничал, никакой работы не чурался. Потом его пригласили в артель, снабдили орудиями лова.

Родители отговаривали паренька: «У тебя есть работа, постоянная зарплата, а рыбаки лишь в сезонные месяцы зарабатывают, зимой и весной же почти без дела сидят. Водку пьют со скуки и тебя научат».

Да, к сожалению, кое-кто так именно и думает: если рыбак, то выпивоха.

Саша без утайки рассказывал мне:

— Некоторые у нас закладывали за воротник. Их быстро вытурили, хотя и рыбачить они умели. Но какой толк — рыбу на водку переводить?!. Бригадир у нас строгий. Авдеев. Абсолютный трезвенник. Не поверите, вот недавно ему день рождения отмечали. Вечером собралась бригада в столовой. Владимир Васильевич выставил на стол две бутылки шампанского, трехлитровую банку вишневого компота и пирог с судаком, что жена приготовила. Все выпили по стакану шампанского, кроме именинника... Говорят, когда-то давно он баловался... А потом решил: ни грамма! Сказал, как отрубил. А по нему и другие выровнялись. Не потому ли наша бригада четвертый сезон первое место в колхозе держит...

И не только поэтому, добавлю я, вспоминая вчерашние разговоры с Каныгиным. В бригаде много молодых рыбаков. Энергии, здоровья им не занимать. Бригадиру важно лишь рационально организовать их труд, обеспечить им оснастку, создать настроение. А ведь бывает так: придет новичок в бригаду, ему вместо хороших сетей дадут старые. Поковыряется, поковыряется он в латаном-перелатаном рванье да и махнет рукой — ни удовольствия, ни заработка от такой рыбалки. Когда в бригаду пришел Александр Каныгин, то бригадир не только раздобыл для него девять новых сетей, но и помог их поставить в рыбных местах...

— Идут к нам и «трудные» ребята. Где-то отбились от чьих-то рук, не вытерпели равнодушия, черствости. Не прижились на заводе, ушли со стройки,— вслух размышляет о кадровом вопросе Даричев.— Нет, не от работы ищут они укрытия здесь, на дальних берегах степного моря, не вольной жизни им пожелалось. У каждого своя, если внимательно рассудить, веская причина, своя тонкая душевная драма: конфликт с цеховым начальством, разлад с девушкой, разочарование в трудной, но малооплачиваемой работе... И вот для такого разноликого контингента мы стараемся создать благодатный психологический климат, врачующую атмосферу...

Братья Виктор и Валерий Ланеевы работали машинистами экскаваторов на строительстве ГРЭС. Когда стройка закончилась, дел поубавилось, решили податься в рыболовецкую артель: в сезонные месяцы трудятся на сетях, а зимой помогают строить колхозные производственные помещения. Сергей Сауров ушел с ГРЭС, где работал дежурным слесарем. То ночная, то дневная смена. Никакого режима. Бессонница стала донимать, головные боли. Пошел по врачам. Советовали в санатории-профилактории полечиться. Сергей же, с детства приохоченный к рыбалке, подался в артель и уже через год почувствовал себя вполне здоровым.

— Рыбаки каждого, кто приходит в бригаду, меряют трудом,— делился многолетними наблюдениями Даричев.— Но уважают не всякого, кто спор в работе. Бывает, ловит умело, много, а рыбы сдает мало. Значит, рыбка на сторону сбывается... Редко, но еще встречаются рыбаки-шабашники. К нам приходят, чтобы скорее да побольше заработать. Одним днем живут. Сезонники.

— А того, кто рыбу на сторону сбывает, наказываете?

— Если будет замечен, пойман с поличным, что не всегда легко. У рыбака с браконьерской повадкой много всяких каналов для сбыта рыбы «налево». Тут не угрозы и наказания больше действуют, а разъяснение... Особенно для молодых, которых «покупатели» стараются втянуть в гнусные отношения, в эту пресловутую игру: «Ты мне — рыбу, а я тебе — то да се». Прямо-таки подкарауливают рыбаков в потаенных местах и выпрашивают рыбу. Возвращается рыбак с сетей на лодке, а по берегу параллельно мчится, словно волчья стая, стадо «Жигулей». И стоит рыбаку подрулить к берегу, как те выскакивают из машин, суют деньги, водку...

— И какое же разъяснение тут поможет? Что и кому вы разъясняете?

— Рыбакам, конечно. Вот недавно у нас один опытный рыбак в беседе с молодыми личным опытом поделился, разъяснил доходчиво, что рыбак приобретает и что теряет, когда помимо сдачи рыбы в колхоз он еще и «налево» ее сбывает. Это ком-

мунист Павел Николаевич Агеев. Человек он прямой, так и сказал: прошел я, говорит, все колдобины, все ухабистые дороги к рыбацкой сознательности. С детства тут рыбачу, всякое бывало, даже и браконьерничал по молодости. Некому меня было вразумить. Вот Саша Каныгин недавно спросил: почему у меня в последние годы стабильно высокие заработки, в среднем 600—700 рублей в месяц? Отвечаю: потому что все уловы я сдаю на колхозные весы. Что я имею от этого? Во-первых, сплю спокойно, совесть меня не терзает. Во-вторых, всегда имею хорошие премиальные — квартальные и годовые. В-третьих, я почти всегда работаю на новых сетях. Выдаются они в конце года вместо списанных. Выдаются с учетом количества сданной рыбы. Слаба у тебя сдача — значит, и сетей новых не получишь. В-четвертых, свои уловы я не транжирю даже в таких, как у нас говорят, безвыходных положениях, когда некоторые рыбаки бензин выменивают на рыбу. Лично я предпочитаю купить талоны на бензин, нежели доставать горючее у проезжего шофера. Тут я и себя и шофера уберегаю от воровской сделки. А главное — материально выигрываю, когда весь свой улов колхозу сдаю. Ведь за 20 литров бензина я плачу всего пять рублей, покупая талоны. А рыбы мне пришлось бы отдать за этот бензин 20 килограммов, то есть почти на 30 рублей. Выходит, рыбой рассчитываться в пять раз дороже. Арифметика простая, но некоторым рыбакам недосуг вникнуть в нее. Они думают, что взять из водоема рыбу, часть своего улова, и незаметно сплавить «налево» — значит получить быструю и прямую выгоду. Фактически же это не выгода, а самообкрадывание, двойной обман — и себя, и государство эти хитрецы надувают.

Передав рассказ Агеева в жестах и интонациях, Даричев, помолчав, добавил:

— Вот так и разъясняем. Доходит. Случаи хищения, разбазаривания рыбы встречаются реже. План сдачи ее государству в прошлом году колхоз выполнил на 140 процентов...

В горячую пору летней путины Егор Егорович, контролируя работу промысловых бригад, хлопотал уже и о зимнем лове. Обзванивал промышленные предприятия, писал запросы, слетал в областной рыбокомбинат, в министерство... Зимой, в бездорожье, по глубокому снегу к бригадным стоянкам невозможно пробиться даже на тракторе. Каждой бригаде нужен вездеход или специальные снегоходы «Буран». Не хватает и мощных ледобуров.

Плохи дела с горючим. Бензина, который выделяется колхозу на год, хватает всего на полтора-два месяца. Однако машинно-моторный парк работает ежедневно, и конечно же не на воде, а на бензине, который, как уже было сказано, приобретается рыбаками в обмен на выловленную рыбу. Тысячи центнеров рыбы таким образом сплавляется на сторону, преступно разбазаривается.

— Как же вы, Егор Егорович, миритесь с этим? — спросил я его.

— Я не мирюсь, а борюсь. Звоню, требую, но... с бензином теперь везде туговато. И нам советуют экономить... рыбачить не на моторных лодках, а на весельных.

— А план-то спускают в расчете на моторные?

— Конечно. И в расчете на выловленную рыбу.

— Вам бы написать в райком партии, в областной рыбокомбинат или в министерство, поставить вопрос ребром: так, мол, и так, намеченный план колхоз не выполнит из-за отсутствия горюче-смазочных материалов.

— Писал и звонил... Вместе с парторгом в разные инстанции обращались, но... свыклись с этим, смирились всюду.

— Ну а если приедет ревизор и без труда установит, что горючее колхоз добывает нечестным путем, что тогда? Вас же под суд отдадут!

— Пожалуй... Но на суде том я попрошу зачитать все мои прошения по поводу горючего и... на скамье подсудимых мне, увы, не будет одиноко,— с горькой улыбкой сказал Даричев и, помолчав, добавил: — Лично я не разрешаю приобретать бензин на рыбу, но проконтролировать и пресечь это явление не имею возможности. Тут и на бригадиров нельзя положиться, лукавят ради дела: никто же не хочет допустить простоя лодок, завалить план... Конечно, с таким положением дальше мириться нельзя. Видимо, поеду в Москву, к министру нашему попробую попасть.

В тот день Даричев не на машине, а водным путем объезжал бригады и пригласил меня. В белой форменке он, плотный, осанистый, стоял на палубе катера, изредка подносил к глазам большой бинокль и под мерный негромкий шум дви-

гателя рассказывал о своих ближайших заботах, о водохранилище, о резервах увеличения его рыбопродуктивности.

— В целом колхоз сейчас настроился на хорошую работу. Хотя неувязок, разных проблем у нас предостаточно. Не отлажена как следует доставка, передача рыбы с берега в торговые точки. В колхозе хранить ее негде. А своего перерабатывающего цеха пока не имеем... И хотя транспортировка рыбы не наше прямое дело, все же сердце кровью обливается, когда видишь, сколько ее пропадает у торгующих организаций. Едут они к нам зачастую на обыкновенных бортовых машинах. Но далеко ли увезешь свежую рыбу при летней жаре?

По синей глади наперерез нам мчалась моторка. Даричев навел на нее бинокль:

— Строгий человек едет. Старший ихтиолог Алла Родионовна Еременко. Побаиваются ее рыбаки, особенно нарушители правил ловли.

К катеру подрулила моторная лодка, черноволосая маленькая женщина с обветренным сердитым лицом что-то торопливо рассказывала Даричеву, перегнувшемуся через борт катера. Спустя две-три минуты лодка отчалила: Егор Егорович, поморщившись, поделился:

— Вот опять двоих рыбаков подстерегла. Штрафовать будем, а возможно, снимать с лова: ихтиолог на их сетях самодельные бирки обнаружила. То есть химичили ребята: помимо зарегистрированных колхозных сетей, свои личные рядом понаставили, значит, и рыбу с них снимали бы в личную корзину... Да-а, от нашей Родионовны никому ничего не утаить. Даже под водой все видит. Советую встретиться с ней. Столько она вам детективных историй порасскажет.

— На какую тему?

— На тему совести... ну, в общем, о том, что рыбу не только ловить, но и выращивать, охранять нужно. Заботливо воспроизводить... Наш водоем нуждается в постоянном оздоровлении, в хорошем посадочном материале. Работников Ириклинского рыбопитомника, то есть нерестово-выростного хозяйства, нужно бы поставить в прямую экономическую зависимость от плодов своего труда. А этого пока нет. Значит, нет и персональной ответственности за дело. Есть рыба в водоеме или нет ее — работники рыбопитомника аккуратно получают оклады и даже премии.

— Так не передать ли заботу о воспроизводстве рыбы колхозу? Ведь если он ловит рыбу, значит, больше всех заинтересован в ее разведении и охране,— попробовал я подсказать председателю.

— Не так-то просто — передать.— Даричев развел руками.— Ведь рыбопитомник-то государственное учреждение.

— Но что-то же нужно делать. Ведь на содержание нерестово-выростного хозяйства государство расходует 120 тысяч рублей в год. А где, какая отдача от него?

Помолчав, председатель сказал:

— Недавно у нас на базе теплых вод ГРЭС начал работать еще один рыбопитомник — Новоорский тепловодный. Я с надеждой смотрю на это предприятие, которое ведет Анатолий Степанович Олефир. Советую вам познакомиться...

После обеда я выехал за город и быстро нашел юное хозяйство Олефира.

На степной равнине сверкают зеркала тринадцати прудов. Площадь каждого не более двух гектаров. Мощная насосная подает в них теплую воду от ГРЭС. Посадочный материал сюда доставляется на самолетах из Краснодарского края, Сибири, Нижнего Поволжья. Зарыбление прудов личинками начинается в мае. За время летнего сезона мальки вырастают, набирают до 15—20 граммов веса. В начале осени их отправляют в рыбные хозяйства области.

— За этой малышней, как и за младенцами, уход нужен внимательнейший,— рассказывает техник-водовод Люба Лебедева, всматриваясь в прозрачную воду, тут и там прочеркиваемую серебристыми лезвиями рыбешек.— Их нужно вовремя накормить, уберечь от болезней, в срок отсадить на доращивание, затем отловить и в хорошем состоянии отправить заказчику.

Начальник Новоорского рыбопитомника Анатолий Степанович Олефир, загоре-

лый синеглазый крепыш лет сорока, рассказал, как непросто было подыскать места для прудов. Глинистый и песочный грунты не подошли, на первом рыбы не смогли бы иметь какую-либо естественную кормность, на втором, песчаном, трудно поддерживать уровень воды. Оказывается, как растениям, так и рыбе донная почва нужна плодородной, насыщенной питательными организмами, микрофлорой. И это помимо того, что мальки регулярно получают гранулированные комбикорма, жмых, лечебную рыбную муку, биостимуляторы. В течение сезона им выдается более трехсот тонн подкормки.

Как и всякое новое дело, обустройство рыбопитомника потребовало от рыбоводов упорства, находчивости, энтузиазма. Достать полноценный и разнообразный по видовому составу рыбопосадочный материал, снабдить пруды кормами, наладить в них гидробиологический и гидрохимический режим, подобрать при наличии скромных окладов заинтересованных помощников, убедить начальство ГРЭС в надобности строительства рыбопитомника — все это суть и содержание вчерашних и нынешних каждодневных хлопот Анатолия Степановича.

— Неужто дирекция ГРЭС не осознает ту пользу для района, для области и прежде всего для самой себя, ту выгоду, которую даст рыбопитомник, работающий на готовых теплых водах? Не нужно сооружать специальные котельные и в них подогревать миллионы тонн воды для прудов...

— Помощь мне дирекция ГРЭС оказывает, но неохотно. С рыбными делами обращайся-де в свой областной рыбокомбинат. А у того денег кот наплакал... Вот сейчас рыбопитомнику нужен инкубационный цех с зимовалкой. Хожу, прошу, пишу...

— Анатолий Степанович, не мне вам говорить, как пригодна теплая вода для разведения толстолобика, леща, белого амура, карпа... Эти травоядные рыбы поедают растительность в активной зоне станции, отчего вода, которая идет на охлаждение агрегатов ГРЭС, быстрее теряет тепло, что повышает коэффициент полезного действия паросиловых установок. А значит — экономит десятки тысяч рублей. То есть не только рыбаки, но прежде всего энергетики должны бы заинтересоваться тем, чтобы в водохранилище жили травоядные рыбы. Помогая вам обустроить рыбопитомник, они тем самым еще и компенсировали бы тот ущерб, который наносят при водозаборах, засасывая и губя мелкую рыбу.

— Да, это верный выход — разводить мальков больше, чем их гибнет.

— И в этом деле ГРЭС просто обязана с вами взаимодействовать.

— Тактические ведомственные интересы у них пока на первом плане. А мыслить стратегически — значит жить завтрашним днем. Но это всегда хлопотно... Вообще для них рыбные проблемы — лишние тревоги, обуза. Есть у них свой прудик, где к праздникам вылавливается несколько тонн карпа. Для нас, работников станции, дескать, хватит. А если по-хозяйски взглянуть? Не с ведомственной колокольни?..

В тот день мы — Олефир, колхозный парторг Нагаев, старший ихтиолог водоема Еременко и я — побывали на Ириклинской ГРЭС, затем вдоль водосбросного отводящего канала спустились к водоему. Длина канала километра два с половиною, ширина метров сорок, глубина до пяти метров. Для охлаждения восьми блоков ГРЭС требуется около семи миллионов кубометров воды в сутки. Этот стремительный поток подогретой в зимнюю пору до 15 градусов Цельсия, а в летнюю — до 30 градусов, несется в рукотворное море, повышая его температуру в обширной зоне водосброса, вызывая ускоренное зарастание водорослями дна и берегов канала и водоема, создавая многие препятствия для нерестовой миграции холодолюбивых (главным образом сиговых) рыб. Словом, пользы от этой теплой воды практически нет почти никакой. А пользу она могла бы дать огромнейшую.

— Даже в наш рыбопитомник подогретую воду качают мощные насосы. Это немалые расходы. Здесь же, в районе канала, она сама пойдет в пруды, самотеком. Использовать ее тут можно круглый год в колоссальном количестве,— поделился своими мыслями Анатолий Степанович, когда мы остановились на мыске большого мелководного залива, который далеко вдавался в берег, дробясь на маленькие, заросшие камышом озерца и прудики.— Всю эту прибрежную площадь и основную часть залива можно обиходить, обустроить под пруды. Это будет сказочно дешевый способ разведения рыбы.

— У меня даже чертежи есть, как и что тут строить, — заговорил Рафаил

Ильич Нагаев, вынимая из нагрудного кармана пиджака листок бумаги.— Я, правда, не геодезист, не инженер-мелиоратор, но проект нарисовал с точными расчетами... Вот видите: синяя стрела — это канал. От него десять ответвлений — это водозаборные рукава-трубы. Тут заслонки, счетчики. Гофрированные прямоугольники — пруды. Вот нерестовый, а этот выростной пруд, затем товарный и так дальше по назначению. Как уже сказано, термальная вода благодаря удачному рельефу самотеком наполнит их. Успевай лишь заслонки открывать да за температурой воды поглядывать... Зарыбляй эти пруды и расти.

— А это что за башня? Раньше ее тут не было.— Анатолий Степанович придирчиво-ревниво заглянул в чертеж, вопросом своим выдавая соавторство в его создании.

— Это консервный завод,— пояснил Нагаев.— Я его недавно тут пририсовал. Ведь если вступят в дело все эти пруды и будут давать самое малое по 20 центнеров с гектара, то мы сможем снимать здесь до 300 тонн свежей рыбы в год! И сразу же ее — на завод, на переработку: консервировать, коптить, замораживать.

Алла Родионовна Еременко взглянула на чертеж — проект Нагаева с точки зрения старшего ихтиолога водоема:

— Пруды эти помогли бы заиметь нам собственную стационарную базу для плодотворного нерестилища и для расширения видового состава нужных нам рыб. Как ни горько, в нашем водоеме в последние годы меньше стало леща, судака, сига, плотвы, окуня. План колхоз выполняет в основном за счет рипуса. Доля его в общем улове нынче — 73 процента. А ведь размножение рипуса идет стихийно, бесконтрольно. Будет печально, если он заполнит весь водоем, вытеснив такую прекрасную исконно уральскую рыбу, как лещ, судак, сазан.

В канале купались ребятишки, на берегах недвижными скобками темнели рыбаки. В последнее время их уловы заметно поуменьшились. Две зорьки провел и я с удочкой на берегу канала и поймал всего три язька и плотвичку. А ведь лет семь назад здесь, на стыке канала и водоема, так хорошо ловилась разная рыба. Посидишь часа два с удочкой — и пожалуйста, готовь уху из окуней и сорожек. Куда же она подевалась?

— Ну, об окуне и сорожке никогда тут не заботились, считали эту рыбу сорной. А ведь она во многом определяет жизнь водоема. Без окуня, к примеру, очень голодно живется судаку. Все тут взаимосвязано. Переведется сорная рыба — не станет и ценной. Всякий лес красив и крепок, к примеру, не только могучими соснами и дубами, но и подлеском,— отвечая на мой вопрос, поделилась Алла Родионовна и, потянув носом воздух, предложила:

— Понюхайте. Чем пахнет?

От канальной воды исходил запах рыбьего мяса, некой рыбной окрошки. О своем ощущении я сказал старшему ихтиологу.

— Да, примерно такой запах бывает на кухне, когда, приготовив рыбный фарш, начинаешь промывать мясорубку. Для охлаждения своих агрегатов станция ежесуточно забирает миллионы кубометров воды, почти 80 процентов объема водохранилища. Сложный, трагический в большинстве своем последний путь совершают мальки, рачки, мелкие рыбешки, проходя в потоке воды через станцию. Часть их сразу же травмируется под воздействием всасывающей силы насосов. Далее они встречают на пути сороудерживающие решетки. Планктонные организмы и мелкая рыбешка свободно проходят через отверстия решеток, но рыба чуть повзрослее ударяется о них, застревает, повреждается или гибнет, прижатая к железным ячеям. Далее вода вовлекается в мощные насосы и под высоким давлением вгоняется в узкие горячие трубки конденсатора, где планктон и молодь рыб подвергаются внезапному термическому и механическому воздействию. Нагретая вода затем с большой скоростью вырывается из железных лабиринтов станции и с высоты нескольких метров падает в бетонное чрево водосбросного канала. Редкой рыбе удается выйти живой из этой адской круговерти.

Несколько минут мы стояли молча, опустив головы и почему-то не глядя друг другу в глаза.

— Картина вынужденного и как бы узаконенного преступления типична для многих гидростанций. Ученые пока не нашли, не придумали надежного средства борьбы с этой бедой,— словно оправдываясь, сказал Анатолий Степанович.

— А у вас есть какие-либо творческие контакты с учеными? Бывают ли они здесь? — спросил я Аллу Родионовну.

— Бывают тут студенческие экспедиции из Оренбургского НИИ охраны и рационального использования природных ресурсов. Что-то наблюдают, экспериментируют, но в их деятельности я не обнаружила пока чего-либо конструктивного... А, например, из Свердловского отделения «Сибрыбниипроекта», куда мы не раз обращались, так никто к нам и не приехал. Оправдываются: со своими водоемами не управляемся...

Алла Родионовна почему-то не вспомнила, и, видимо, для этого были свои причины, не назвала представительную научно-практическую конференцию на тему «Влияние подогретых вод Ириклинской ГРЭС на гидрохимический и гидробиологический режим водохранилища», прошедшую несколько лет тому назад здесь, в городке рыбаков и энергетиков. Выступали на ней доктора, кандидаты наук, профессора из уральских и центральных научно-исследовательских институтов, представители бассейновой и рыбной инспекций, инженерно-технические, партийные и советские работники.

Конференция обсудила итоги трехлетних экспериментальных исследований, которые провели на водохранилище гидробиологи Оренбургского медицинского института. Суть и содержание ее работы нельзя оставить без внимания, поскольку конференции такой тематики проходят в стране крайне редко, хотя целесообразность их в наше время возрастает с каждым днем. Не секрет, повсеместное развитие теплоэнергетики породило новую экологическую проблему — влияние на жизнь рек и водоемов тепловых и атомных электростанций, использующих для охлаждения ценную пресную воду. Увеличение числа и наращивание энергомощностей этих станций понуждает соответственно уделить неотложное внимание исследованию того, как сбрасываемые воды воздействуют на биологию водоемов.

По мнению гидробиологов, воздействие это носит противоречивый характер. С одной стороны, тепло — положительный для жизни фактор, он способствует развитию, росту, размножению, питанию, обмену веществ, миграции и другим проявлениям жизнедеятельности подводных организмов. С другой — подъем температуры выше естественной отрицательно действует на весь органический мир водоема.

Конференция выработала конкретные рекомендации. Вспомним некоторые из них и заодно проследим, как они выполняются.

Конференция настоятельно рекомендовала:

1. Усовершенствовать систему рыбозащиты при заборе воды из водохранилища.

Проблема до сих пор не решена.

2. Регулярно проводить исследования, связанные с повышением рыбопродуктивности водоема. В частности приступить к коренной реконструкции Ириклинского нерестово-выростного хозяйства и расширению его за счет строительства Новоорского рыбопитомника с использованием в нем теплых вод.

Как вяло, с каким скрипом подвигается это дело, мы уже знаем из грустных рассказов А. С. Олефира и Е. Е. Даричева.

3. С целью улучшения санитарного состояния водоема запретить хозяйствам распахивать его прибрежную зону, высадить на всей ее протяженности кустарниковые и плодово-ягодные деревья...

За это дело взялись с интересом, широкая лента юных деревцев оцепила восточный берег водоема, правда, не везде, а лишь в районе поселка и дачного городка. Западный же берег по-прежнему остается лысым.

4. Для правильной эксплуатации водохранилища ракомендовать дирекции Ириклинской ГРЭС, чтобы она совместно с бассейновой и рыбной инспекциями и метеостанцией «Ирикла» вела постоянное наблюдение за водоемом. И в целях сохранения и увеличения его рыбных запасов, хотя бы раз в два-три года, доводила уровень воды в нем до максимальной отметки, без согласования с рыбоводами не сбрасывала воду весной и осенью в пору нереста леща, судака, сига, язя, щуки.

— Как я помню, — сказала в раздумье Еременко, — нормального уровня воды здесь не было с 1977 года. Он постоянно меняется, и нерестящейся рыбе трудно приноровиться... Скажем, лещ уходит на нерест в верховья водохранилища — на мелководье и откладывает там икру на водоросли, траву. И представьте себе картину: вдруг в самую пору нереста энергетики спускают воду. Нерестилища оголяются, икра красноватыми гроздьями повисает на кустах и сохнет под солнцем.

Такую печальную картину я наблюдала весной 1978 и 1985 года, да и всякий раз, когда открывались шлюзы плотины и уровень воды в хранилище резко снижался. По этой причине только за время с 1978 по 1980 год рыбьему стаду был нанесен такой урон, что его не удалось восстановить в течение всей последующей пятилетки. Это невосполнимые потери, — резко подытожила Алла Родионовна. И я понял, почему она умолчала о солидной научно-практической конференции, где было высказано много ценных мыслей, конструктивных рекомендаций, но которые в большинстве своем остались невыполненными.

Взглянув на часы, Алла Родионовна пригласила меня:

— Идемте в контору, там у меня все справки, таблицы, цифры. Побеседуем, так сказать, имея все факты на руках.

На водоеме Алла Родионовна Еременко служит почти с самого начала его зарыбления. Знает его историю не с чужих слов. Любит водоем как главное поле своих трудов и забот. Недаром ей присвоено звание лучший ихтиолог «Уралкаспрыба». И хотя сама она рыбу не разводит и не ловит, в ее небольшом рабочем кабинете сосредоточена богатая информация о жизни рукотворного Ириклинского моря. По должности Алла Родионовна старший ихтиолог-наблюдатель, но никогда она не была сторонним наблюдателем. На водохранилище и в округе ее знают как зоркого стража его уникальных богатств, как опытного рыбовода, всегда готового ответить почти на все «почему».

— Спрашиваете, почему славного уральского леща здесь стало маловато? — говорит она и переводит взгляд на висящую на стене диаграмму. — Ну, во-первых, потому, что, как я уже сказала, ему мешают или вовсе не дают нереститься. Вот поглядите на эти цифры. Так, в 1977 и в 1985 году уровень воды в хранилище после сброса снизился аж на семь метров! Ни лещ, ни сиг не смогли отнереститься... Во-вторых, несмотря на строгие запреты ловить леща бреднем и неводом, его зачастую ловят именно этими орудиями лова, причем в верховьях водохранилища, то есть в местах его нерестилища. К тому же неводом рыбаки загребают все подряд — и взрослых лещей и подлещиков, то есть рыбу неполовозрелую. Ведь лещ-самка начинает икромет лишь с пятилетнего возраста. К этому сроку длина рыбы достигает 30 сантиметров. Вот и нужно дать ей дорасти до полового созревания, не ловить преждевременно. Мы долго боролись за это — установить промысловую меру на леща 31 сантиметр. Не единожды направляла дирекции Оренбургского рыбокомбината убедительнейшие письма-просьбы за подписью районного инспектора рыбоохраны, нашей Ириклинской рыбной инспекции и моей. Вот копии... Комбинат отвечал, что увеличение промысловой меры не повысит-де продуктивность промысла, а лишь сократит уловы, снизит объем и темпы рыбодобычи, что, естественно, ударит по экономике комбината.

— Пресловутая страсть: «План — любой ценой!» И чем же кончилась эта переписка-перебранка?

— Года четыре она тянулась. Тем временем уловы лещей в водоеме сократились почти вдвое. Горько и смешно: ведь дирекция в итоге сама себя же наказала... Голос наш наконец услышали в Главрыбводе и разрешили установить промысловую меру лещу не 31 сантиметр, как мы просили, а 30. Что ж, и на том спасибо.

Алла Родионовна внимательно заглянула мне в глаза, решаясь доверить что-то очень сокровенное, и решительно продолжила:

— Честно и прямо сказать вам, комбинат использует Ириклинский водоем, как дойную корову, хотя не кормит ее и не поит. Мало того, что живет за его счет, но живет одним днем: сегодня урвали план, значит, и деньги, а завтра как бог даст. Ни малейшей заботы о будущем, ни прогнозов, ни перспектив... Правда, недавно там сменилось начальство, назначен новый директор, говорят, знающий специалист.

Говоря о каналах утечки рыбной продукции, я вспомнил о несметной армии любителей, густо заселяющих берега водоема, особенно в выходные дни. Вспомнил о беседе с руководителями областного рыбокомбината, которые по этому поводу в один голос заявили: ради воспроизводства в водохранилище рыбьего стада нужно ввести лет на пять полный запрет ловли для рыбаков-любителей. Даже по грубым подсчетам, они вылавливают рыбы в три раза больше, чем весь колхоз «Волна».

— Такой запрет, конечно, необходим. Но он должен быть выборочным, — заметила Алла Родионовна. — К нам сейчас едут из Башкирии, Оренбурга, Казахстана, даже из Москвы прилетают. Вот для приезжих и нужен запрет. А ввести запрет для населения, живущего в прибрежной зоне водоема, значит, по-моему, не уменьшить, а увеличить число браконьеров. Сами посудите, жить у воды и не рыбачить — кто ж с этим смирится?.. Мы проводим с населением определенную работу. Воспитываем, через радио и газету разъясняем, когда и чем можно ловить рыбу, когда нельзя. Не слушаются — штрафуем. Рейды проводим. Вот результат последнего рейда. Провели его управление внутренних дел облисполкома и органы рыбоохраны. В нем участвовали десятки людей, 18 автомашин, несколько моторных лодок, вертолет. Задержать современного браконьера с поличным трудно, он вооружен хитроумными и, как правило, хищными орудиями лова, у него быстроходные катера, огнестрельное оружие... Особенно страшен браконьер, когда пытается уйти от погони. Более сорока грубых нарушений правил дорожного движения совершено браконьерами только во время проведения последнего рейда. У них отобрано сотни сетей, бредней, многокрючковых снастей. Жаль, что такие рейды у нас на водохранилище, а также в водных зонах рыбартелей Илекского, Ташлинского, Орского районов проводятся в порядке кампаний. Уже традиционным стал рейд в октябре—ноябре: время нереста сиговых. Проведут, пошумят, погоняют браконьеров — и до следующей осени. Браконьеры уже привыкли к этим облавам, адаптировались, приспособились.

— Значит, органам рыбоохраны нужно бы выработать новую действенную «вакцину»?

— Есть 163 статья Уголовного кодекса РСФСР, которая предусматривает строгие меры: попался браконьер с поличным — лишать его свободы на срок до одного года, второй раз поймался — на срок до четырех лет. Но... — Алла Родионовна глубоко вздохнула, — за браконьерство у нас тут никого еще пока не посадили... Либеральничаем, да ведь и не так-то просто порой доказать состав преступления, хотя и застанешь браконьера с поличным. Бывает, начнешь составлять на него акт и вдруг выясняется, что он — это «сам» Петр Петрович Петров! И начинается такая нервотрепка, инспектору рыбоохраны такой круговой нажим устроят, что дело о Петрове в конце концов спустят, так сказать, на тормозах... Однажды подъезжаю к водоему и вижу: на берегу стоят «Жигули», возле две женщины сидят, закуску готовят, а в заливчике двое мужчин с бреднем лазают. Подзываю их, достаю бумагу, чтобы акт составить: рыбалка ведется в зоне нереста запрещенными орудиями лова. Мужчины подходят, достают из кабины милицейские фуражки, надевают и, с улыбкой козырнув, говорят, что у одного из них день рождения и что им всего-то нужно килограммов пять рыбы для ухи и что будет очень хорошо, если я присоединюсь к их застолью или уеду и не стану портить им праздник... Какой тут составишь акт, если рядом нет ни одного свидетеля?! Одна зацепка — номер машины. По нему-то я и выяснила, что ее владельцы — сотрудники соседнего Кваркенского районного отделения милиции...

Слушая Аллу Родионовну, я подумал о том, что и наши органы юстиции, и органы рыбоохраны относятся к браконьерам еще без той строгости, к которой призывает закон. То юридические формальности трудно соблюсти, то браконьер оказывается слишком авторитетным лицом в округе и ради чести мундира его неудобно «рассекречивать», то браконьер прикидывается незнайкой, невинной жертвой собственной неосведомленности о правилах рыбной ловли... В рассказах бывалых рыболовов матерый браконьер порой награждается даже некой симпатией за его зломудрое лихоимство ушкуйника, ловко ускользающего от всякой грозной погони, выходящего целым-невредимым из самых опасных ситуаций. В народе издавна к браконьеру относились инертно — без уважения, но и без особого осуждения, как к вольному промысловику-анархисту, живущему охотой и рыбалкой. Людей он не грабил, в их дома и карманы не залазил, ничего не крал. Он лишь ловил, добывал то, что свободно бегало, прыгало, плавало, летало. Людям же зла он вроде бы и вовсе не делал. Но теперь в наш век, когда экологическая проблема обострилась до предела, когда умом своим и всеми своими чувствами человек осознал, ощутил, прочувствовал, подсчитал, что ресурсы природы не безграничны, что ее нужно беречь как основное условие дальнейшей жизни на земле, когда многие звери, птицы, деревья и рыбы почти поштучно сосчитаны и взяты на учет, — теперь у нас не

может быть никакого снисхождения к тем, кто не хочет понять это, кто желал бы жить варваром в органически неделимом мире людей и природы, кто решил пренебречь святыми законами этого мира.

— Но частный браконьер не самый главный враг рыбы, — прервала мои размышления Алла Родионовна. — Более массовому уничтожению она подвергается со стороны промышленных предприятий, совхозов, колхозов, у которых неисправны очистные сооружения или их нет вообще, не налажен учет водозабора... Но рассказывать об этом — не моя прямая компетенция. Будете в областных организациях, поспрашивайте — там информация пошире...

Поливальная установка с размахом «крыльев» почти в сто метров медленно двигалась по капустному полю, уливая его навесным дождем. Вдруг механизатор, управляющий ею, заметил, что следом с вожделенными криками летит, порхает, скачет большая стая сорок и воронья. «Что бы это значило? Капуста — не помидоры, не ягоды, чем же она привлекла птиц?» — озадачился механизатор и, остановив мотор «поливалки», зашагал вдоль капустных рядков. То, что он увидел, поразило его: на мокром черноземе и в лужицах блестели чешуей крохотные рыбешки, свежие, двух-трехсантиметровые мальки, сеголетки. Словно не по капустному полю, а по оголенному дну водоема шагал механизатор...

Он набрал в карман рыбешек, сел на мотоцикл и помчался в контору совхоза «Овощевод», что находится в пригороде Оренбурга. Из начальства в конторе был только главный механик. К нему обратился рабочий:

— Что ж мы делаем? Живой рыбой капусту поливаем!

— Видимо, опять решетка водозабора где-то порвалась. Посмотрим, починим, — спокойно ответил главный механик и, взглянув в напряженное лицо механизатора, спросил: — А поливалка в исправности?

— В порядке.

— Ну если техника в исправности, значит, поезжайте и работайте. Кто вам разрешил самовольно прекращать полив?! Не видите, какая жарища?.. А о рыбе без вас есть кому думать...

Механизатор спорить не стал, на выговор не полез, вернулся на совхозный огород и продолжил полив. А вечером, мучась навалившейся бессонницей, позвонил знакомому, посоветовался...

Работники облводхоза рассказали мне, что было дальше. Вместе с представителями рыбоохраны они выехали на овощные плантации совхоза. Проверили работу нескольких водозаборных установок. Во всех канавах огорода текла вода, которую качали сюда из Урала мощные насосы. Опустили в мутный поток ловушки, и тотчас в них попало несколько десятков 5—6-сантиметровых сеголеток. С вещественным доказательством поехали к директору совхоза «Овощевод» и попросили для составления акта представителя хозяйства.

— Я качаю воду так двадцать лет, вас же здесь вижу впервые. И никакого представителя я вам не дам, — отрезал директор.

— На установках водозабора, которыми вы качаете, нет механизма рыбозащиты. У вас не только мальки, акула проскочит.

— Воду я беру не для личного огорода, а для государственного. И вода эта тоже государственная, сколько надо, столько и берем. А если вам, товарищи рыбозащитнички, не нравятся наши насосы, поставьте свои, хорошие, если они у вас есть. А мне некогда вникать в эти нюансы, мне план нужно выполнять, город овощами кормить.

Инспекция рыбоохраны совместно с представителями облводхоза составила акт и направила его директору совхоза. Тот возвратил этот акт, отказавшись платить штраф. Снова направили — и опять никакой реакции со стороны совхозных руководителей. Точнее сказать, директор прореагировал странно: взял и спрятал акт в свой сейф, чтобы его не нашла бухгалтерия. И только после вмешательства райкома партии и народного контроля директор и главный инженер совхоза заплатили по 50 рублей штрафа. Основная же многотысячная сумма штрафа была выплачена из совхозной кассы.

Этой истории уже несколько лет и вроде бы незачем ее вспоминать, тем более что в настоящее время и директор в «Овощеводе» новый, и оросительная система там поставлена на кардинальную реконструкцию. По соседству вводится Оренбург-

ский оросительный комплекс с новейшим рыбозащитным устройством. Однако приведена она здесь как типичная: отношение к воде и рыбе, вообще к задачам охраны природы у многих партийных и хозяйственных руководителей, особенно сельских районов, остается настолько косным, рутинным, инертным, безнравственным, что умолчать об этом недопустимо, преступно.

Более двухсокилометровый путь пробегает среди оренбургских равнин и пологих холмов степная речка Чаган — один из притоков Урала. В переводе с калмыцкого Чаган — светлая или белая вода. О чистоте этой некогда полноводной рыбной речки еще в XVIII веке писали исследователи природы оренбургского края профессор Паллас и ученый географ Рычков, по-доброму отзывался о ней Лев Толстой, приезжая в степи Причаганья на кумысолечение, упоминал о Чагане и Сергей Есенин в поэме «Пугачев».

Теперь наши предки, взглянув на Чаган, горестно бы вздохнули, пожалуй. Речка сузилась, обмелела, кое-где на перекатах ее можно перейти по камушкам, не замочив обуви. Теперь вряд ли кто рискнет, как бывало, взять из нее водицы, чтобы напиться. Вода мутная, грязная, с отблесками масляных пятен... Кто же сделал речку такой? Конечно же те, кто ныне живет на ее пологих безлесных берегах. Люди, наши современники. И ведь никто же не принуждал, к примеру сказать, руководителей колхоза «Красный колос» Первомайского района строить животноводческие фермы в двухстах метрах от реки. Круглогодично в них содержится более двух тысяч голов крупного рогатого скота. Навоз складируется на берегу, водополица и дожди смывают его. Летние строения для скота — «карды» соседнего поселка Луч и вовсе расположены прямо на Чагане. Около семи тысяч коров здесь пользуются так называемым коровьим пляжем. Ребятишки, купаясь чуть ниже по течению, подолгу терпеливо ждут, когда утечет зловонная, будто вырвавшаяся из городской канализации жижа.

В совхозе «Красногвардеец» Бузулукского района давно уже действует огромный, на 20 тысяч голов, свинарник, но очистных сооружений здесь не имеется, все стоки от свинарника сбрасываются в речку Самарку, которая в последние годы неузнаваемо обезрыбела. Систематически загрязняют реку Урал свиным навозом совхоз «Ильинский» Кувандыкского района и колхоз имени Ленина Тюльганского района. А во что превращена речка Териса, протекающая возле автобазы города Абдулино?! По какому-то негласному сговору водители автомобилей устроили на ее берегах моечные станции. Пахнущая керосином, автолом и ржавым железом, Териса давно потеряла прежнюю красоту и неброское очарование сельской речки. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в ней, по данным областной гидрохимлаборатории, превышает норму в 140 раз!

Печальный этот перечень бесхозного отношения к природе родного края можно продолжать очень долго. Помимо Урала и Самарки в Оренбуржье протекает 290 малых рек (имеются в виду реки протяженностью более десяти километров). И почти все они загрязняются, захламляются сверх всяких пределов. Причем вроде и неумышленно, а по необходимости, в силу сложившихся обстоятельств или зачастую просто по халатности и равнодушию. И хотя конкретно в каждом хозяйстве работают партийные и советские органы власти, которым известны все конструктивные постановления ЦК КПСС и Советского правительства о мерах по усилению охраны природы и улучшению использования ее ресурсов, эти постановления, как ни странно, игнорируются на местах под всяческими благовидными предлогами. Некоторые хозяйственные руководители, привлеченные к ответственности за варварское отношение к природе, краснеют зачастую от стыда не за свои безобразия, за ведомственную слепоту и бодряческое легкомыслие, а от возмущения тем, что кто-то мешает им безобразничать и дальше. Оправдываются, гневаются, всячески норовят уйти от ответственности.

Несколько лет загрязняет реку Елшанку Соль-Илецкий молокозавод. После неоднократных предупреждений старший госинспектор рыбоохраны «Уралкаспрыбвода» Валерий Константинович Ермолаев направил обоснованный документ-распоряжение в бухгалтерию молокозавода: удержать штраф с директора и заведующего производством. Когда добровольный срок уплаты штрафа истек, рыбинспектор дважды письменно напоминал бухгалтерии об этом, но, вместо того чтобы извиниться и уплатить штраф, директор обратился с иском в народный суд района, который отклонил заявление правонарушителя об отмене возложенного на него штрафа.

За систематическое загрязнение реки Зубочистки стоками от свинофермы областная рыбинспекция вынуждена была оштрафовать директора и зоотехника совхоза «Переволоцкий». Но те отказывались платить штраф. Работники рыбоохраны снова побывали в хозяйстве, сделали на местах несколько фотоснимков, раскрыли руководителям глаза на бегущие от свинофермы потоки навозной жижи, которые местная власть почему-то не замечала.

Часто подвергается штрафу злостный загрязнитель уральской воды колхоз имени Пугачева Переволоцкого района, причем штраф руководители этого хозяйства выплачивают обычно лишь в принудительном порядке.

В многочисленных письмах, направляемых областной рыбинспекцией в органы прокуратуры, партконтроля с просьбой призвать нарушителей природоохранных законов к порядку, очень часто встречается формулировка: «Поскольку срок добровольной уплаты штрафа истек, просим оказать содействие...»

Возникает вопрос: кто же позволяет этим штрафникам вольничать, бесцеремонно нарушать законы природопользования, почему после многочисленных безобразных акций по отношению к родной природе они продолжают занимать свои служебные посты и как ни в чем не бывало хозяйничать на земле? Чем, как объяснить их поведение, мотивы их ретивой служебной наглости?

— «Сколько надо воды, столько и берем!» Этот размашистый жест бывшего директора совхоза «Овощевод», о поведении которого мы начали нашу беседу, рожден тем обстоятельством, что в области нет настоящего водомерного счетчика. Учет забора воды ведется кое-как, на глазок, что позволяет хозяйствам-потребителям пользоваться водой бесконтрольно и уж, конечно, меньше всего при этом думать о рыбе, — рассказывал мне старший рыбинспектор областной госинспекции рыбоохраны В. К. Ермолаев. — Эти «штрафники» чувствуют себя вольготно, отмахиваются от нас как от мух потому, что им покровительствует сама существующая в области система: если, к примеру, совхоз или колхоз не выполнит план по хлебу и мясу, то их руководителей строго накажут, могут даже снять с работы. Если же они при выполнении плана производства, скажем свинины, умертвят едкой навозной жижей местную речку или отравят озеро за околицей своего же села — за это им никакого наказания. Вот почему сотни рек и озер у нас не зарыблены, запущены, захламлены. А мы еще и удивляемся: почему нет рыбы? И даже начинаем утешать себя, оправдываться: в области нет воды, нет, дескать, рядом больших рек и морей, откуда же в степи взяться рыбе? Но это ведь наивные рассуждения...

— Совершенно верно. Наивные, — подтвердил участник нашей беседы Александр Александрович Чибилев, заведующий лабораторией охраны природы при Оренбургском сельскохозяйственном институте. Лаборатория занимается изучением природной среды, паспортизацией ее ресурсов и всего рыбохозяйственного фонда. — Помимо огромного Ириклинского искусственного водоема, в Оренбуржье имеются еще Боровское, Елшанское, Домашкинское, Черновское, Крутеньковское водохранилища. Тысячи голубых гектаров! Но они не зарыблены, хотя для рыбоводства здесь благодатнейшие условия: водоемы неглубоки, насквозь прогреваются солнцем, имеют хорошее кормное дно...

А ведь есть еще и пруды, принадлежащие колхозам и совхозам, — всего 11 тысяч гектаров. Средняя статистическая цифра рыбопродуктивности таких прудов 20 центнеров с гектара. Умножим эти две цифры и получим... несколько железнодорожных эшелонов свежей рыбы! Ее могут добывать здесь ежегодно, но не добывают. Не хотят.

Немало у нас воды в искусственных водоемах и запрудах, находящихся в распоряжении ТЭЦ, биофабрик, газзаводов и других промышленных предприятий. Эти обширные резервуары пресной воды также можно зарыбить. А 290 малых рек? А 317 пойменных озер?..

— Есть своя вода еще и у нашего областного рыбокомбината. Это пруды, не подведомственные сельскохозяйственным организациям, — рассказ Чибилева дополнил В. К. Ермолаев. — Но среди них, честно говоря, нет ни одного образцового. Заилены, нечищены, используются частично, как, например, Илекский пруд. А Сакмарский рыбхоз, некогда славившийся карпом и сазаном, вообще перестал существовать.

— Успешное рыбоводство — это прежде всего борьба за чистоту уральской воды, всех местных водоемов, — продолжил А. А. Чибилев. — После введения в

строй в 1974 году Оренбургской станции аэрации и очистных сооружений во многих городах области качество воды в Урале и его притоках намного улучшилось. В настоящее время воду загрязняют в основном не города, а сельские населенные пункты, где очистные сооружения строятся вяло, неохотно, хотя на эти цели отпускаются большие деньги. Но они не осваиваются. В прошлом году сорвали план пуска очистных сооружений Сорочинский, Соль-Илецкий, Оренбургский и другие районы. Всякую речку на селе используют почему-то как сточную канаву, не берегут свежую речную воду, пользуются ею нерационально, бесхозно, с наивной детской беспечностью.

На реке Урал лишь в Оренбургской области насчитывается более четырех с половиною сотен водозаборов. Их эксплуатацию хозяйства — потребители воды не согласовывают с органами рыбоохраны. Но Урал — не бездонный колодец. И тем более не просто водный резервуар, а рыбный водоем, живая часть природы. И разве же каждому хозяйству для ферм и полей нужен именно водозабор, каждому ли надо тянуть двух-трехкилометровую дорогостоящую нитку канала? Иным ведь, пожалуй, сподручно обойтись плотиной-запрудой. Другим гораздо проще и выгоднее пробурить у себя в хозяйстве несколько скважин, так как почти на всей территории области водоносный слой залегает неглубоко. Есть и другие способы заменить водозаборы. А вот живую рыбу нельзя заменить ничем.

Увы, некоторым хозяйственным руководителям трудна для понимания эта простая истина, прямо на берегу водохранилища они возводят птицефермы, свинарники, хотя есть специальный указ, запрещающий использовать, распахивать прибрежную зону. Но вот, к примеру, совхоз «Зауральный» свои земельные угодья раздвинул вплоть до воды. И однажды, опыляя его поля, самолет сделал неуклюжий разворот и опылил не только посевы, но и рыбу. В тот же день на поверхность всплыли вверх белыми животиками сотни тысяч мальков судака и леща. Органы рыбоохраны предъявили совхозу иск — 49 тысяч 194 рубля. Но если бы даже сумма штрафа была увеличена втрое, возместить ущерб, нанесенный водоему, все равно бы не удалось.

Да, рыбы в Урале становится все меньше и меньше. Если лет двадцать тому назад средний план улова колхозного рыбака составлял 10—12 тонн в год, то теперь он снижен вдвое, хотя площадь водной поверхности в Оренбуржье за это время не уменьшилась, а увеличилась за счет создания новых прудов и больших искусственных водоемов. Но используются они плохо. Не зарыблены, зарастают тростником и тиной. В том же Новоорском районе, на территории которого расположено огромнейшее Ириклинское водохранилище, есть еще девять больших прудов. Но они в запущенном состоянии, районным руководителям недосуг всерьез ими заняться.

А не настало ли время показатель добычи рыбы ввести как специальную графу отчетности в каждом хозяйстве, на территории которого имеются реки, пруды, озера? За рыбу надо бы с партийных и хозяйственных руководителей так же строго спрашивать, как за хлеб, мясо, молоко, другие виды продуктов. Это, бесспорно, повысит интерес руководителей хозяйств к богатствам родного уголка земли, укрепит заботу о сохранности здоровья каждой степной речушки, озерца, каждого рукотворного водоема, приучит использовать местные резервы.

Многие привыкли считать, что рыба — это дар природы, нечто стихийное, как, например, ягоды или грибы. Есть они — хорошо, нет — без них можно жить.

И не удивительно, что когда заходит речь о Продовольственной программе, то у нас говорят и пишут в основном о хлебе, мясе, овощах. О рыбе же вспоминают редко. А ведь в продовольственном балансе страны рыбная продукция занимает одну четвертую часть. Она обеспечивает более 20 процентов всего животного белка, вырабатываемого в стране. К 1990 году на душу населения будет приходиться 19 килограммов рыбной продукции.

Будет... но может и не быть, если заботу о рыбном промысле бесконечно отодвигать на самый задний план среди прочих насущных задач и проблем.

Человек в рыбацкой робе должен появиться нынче на берегу каждого степного озера, пруда, речного водоема. Даже на территории Оренбуржья имеются сотни озер и прудов. Приложить бы к ним хозяйскую руку — почистить, обиходить, зарыбить, удобрить, и пожалуйста, получай круглогодично по 15—20 центнеров рыбы с гектара.

В Оренбуржье есть все условия для ведения широкого и эффективного рыб-

ного промысла — такого, что население области сможет летом и зимой бесперебойно иметь свежую речную рыбу и даже щедро угощать ею соседей.

Поделился я как-то этими мыслями и планами с одним областным руководителем. А он взглянул на меня с вопросительным недоумением и говорит: «Да что вы взялись за эту рыбу?! Нету у нас ее в Оренбуржье и не было. Мы хлебом занимаемся».

Нет уж, позвольте! Река Урал испокон веков считалась уникальным промысловым водоемом. «Над этой светлой полоской, сверкающей в зелени лугов, кипела вековая борьба и лилась кровь», — писал В. Г. Короленко в очерке «У казаков».

Правый берег Урала издавна был казачьим, а левый степной принадлежал киргизским скотоводам, которые нередко переправлялись на западный берег, делали набеги на казацкую земельную и рыбацкую общину, угоняли скот и пленных. Но не менее грабительским оказалось прибытие к яицким казакам в середине XVII века астраханских купцов Гурьевых. Эти предприимчивые «гости» перегородили реку «учугом», сколоченным из деревянных свай, шестов и плетней. Поднимаясь с моря для нереста вверх по течению, осетры, белуги, сазаны натыкались на эту перегородку, теснились здесь большими стадами. Рыбу вычерпывали из воды специальными лопатами и сачками. Московское правительство, не вникнув в суть этого прибыльного способа рыбодобычи, опрометчиво выдало купцу Михайле Гурьеву грамоту, говоря сегодняшним языком, патент на его изобретение, и обязало построить на берегу защитный городок. В 1640 году он был построен и назван Гурьевом.

Гурьевский учуг был своего рода огромным браконьерским сооружением, красная рыба не могла подняться в верховья на нерест, река за какие-то десятилетия заметно обезрыбела. Яицкие казаки, встревоженные и озадаченные, обратились прямо к императрице с жалобою на то, что «астраханские гости оголодали все войско»... В 1752 году учуг был наконец передан в пользование казакам.

Можно привести и еще немало свидетельств былой славы уральской рыбы. Кипели из-за нее здесь большие страсти. Высок был ее авторитет у нас в стране и даже за ее пределами Да ведь и в сегодняшнем рыбном павильоне ВДНХ в Москве, к примеру сказать, красуется 17-килограммовый ириклинский судак. «Так то на выставке», — со вздохом ответил областной начальник, услышав мое напоминание.

Но что же мешает прекрасной речной рыбе всегда быть в продовольственных магазинах уральских сел и городов? Да и только ли в них?

А мешает одно: инертное и бесхозное отношение на местах к водным богатствам.

Суетная привычка жить одним днем, закандаленность бессмертной текучкой не дают, к сожалению, многим руководителям всерьез, творчески заняться промыслом, который издавна кормил и славил уральцев.

КРИТИКА

К VIII Всесоюзному съезду писателей СССР

Задачи, поставленные перед нашим обществом XXVII съездом КПСС, должны решаться совместными усилиями всех, и роль литературы здесь трудно переоценить. Естественно, на писательском съезде речь пойдет в первую очередь об участии тех, кто служит литературному делу, в делах всенародных.

Публикация под рубрикой «К VIII Всесоюзному съезду писателей СССР» — статья молодого критика Евгения Булина «Что нами движет?» — посвящена одному из наиболее острых вопросов литературного дела: писательской смене, молодым прозаикам, входящим в литературу. Образ нашего современника на страницах текущей прозы — каков он? Насколько совпадают его черты с живой жизнью? Похож ли он на своего сверстника — и способен ли воспитывать его в духе наших высших идеалов? Серию статей с этой генеральной мыслью открыл в первом номере журнала Владимир Куницын («Первые книги»). Евгений Булин продолжает разговор. Предполагаем, что тема о молодых, об их нравственном облике, о путях развития нашей прозы, о тех, кто через несколько лет так или иначе будет определять ее лицо, не может не быть на съезде одной из центральных.

Хорошие книги создаются, чтобы жить с нами и помогать нам в течение долгих лет, десятилетий, а в счастливых случаях — и веков. Поэтому на писательский съезд придут и займут свои места, по высшему праву им принадлежащие, те, кого уже нет среди нас, но чьи книги живут, а значит — работают. Придет и Владимир Алексеевич Чивилихин, известный писатель, ставший после выхода книги «Память» знаменитым.

Об истории создания «Памяти» мы рассказали в девятом номере журнала за прошлый год — в статье, предваряющей публикацию страниц о Грибоедове, не вошедших в роман-эссе. В канун съезда из архива Владимира Чивилихина мы подобрали материалы (извлечения из его публичных выступлений и писем к многочисленным корреспондентам), которые дают пример глубокого, обобщающего взгляда на литературные проблемы, показывают остроту, гражданственность писательского зрения. Мысли Владимира Чивилихина о литературе, литературной жизни, писательстве, критике, роли писательского слова в развитии общественной мысли представляются нам весьма злободневными, нужными сегодня общему делу.

Материалы для журнала подготовила вдова писателя Елена Владимировна Чивилихина. Составленная ею книга готовится к выходу в издательстве «Советская Россия».

Евгений БУЛИН

ЧТО НАМИ ДВИЖЕТ?

НАПРЯЖЕННО всматриваюсь в черты своего современника, и в жизни, и в литературе ищу типического героя моего времени. Мне важно рассмотреть его, и мне, и всем, кому небезразличен завтрашний день нашего общества. Кажется, именно нынешнее племя молодое явится свидетелем и движителем больших перемен. Впрочем, это ощущение присуще, вероятно, каждому нарождающемуся, сознающему себя поколению.

Пристально вглядываться в молодых писателей побуждает вот какая причина: в литературе, на мой взгляд, назрел очередной переходный период. Все наиболее выдающиеся произведения последних двух с половиной десятилетий осмысливали драматические и поворотные события нашей истории, освещали лик прошлого, уходящего и исчезающего под давлением историче-

ских обстоятельств. Произведения эти — при всем новаторстве их — были традиционны. Речь идет прежде всего о нравственной традиции. Именно под ее знаком жили и действовали лучшие, наиболее примечательные литературные герои. Традиция же была ответом и на многие вопросы.

Сегодня положение человека в мире очень сложно. В драматическое столкновение приходит относительная обеспеченность существования и угнетающая непрочность всей жизни на земле. Как вместить в себя трагический опыт истории войн XX века и непрекращающуюся гонку вооружений? Тысячи столкновений терзают и формируют сознание современного человека. Понимают ли молодые писатели, что книги, созданные ими, участвуют в реальной жизни и даже влияют на нее? Что с мыслями, высказанными книгой, может быть, сверяют свои мысли и убеждения многие тытячи людей. Впрочем, все мы наслышаны о чувстве ответственности, и ни для кого не секрет, что любой писатель мечтает, чтобы его творения произвели на публику как можно большее воздействие.

В какой же мере и в каких формах сознается эта ответственность? Из каких побуждений действуют молодые литераторы? Что питает их творчество? Эти вопросы направляли мои усилия в данной работе.

Многим может показаться по ходу статьи, что тон взят излишне суровый. Но приведу оценку молодых В. Быковым из анкеты «Что вы ждете сегодня от молодых?» («ЛГ» № 47, 1984 год).

«Всякий раз, когда читаешь произведения самых молодых, невольно сравниваешь их с начинающими литераторами моего времени. Должен признаться, что это сравнение не в пользу нынешних... В их творчестве чересчур видны следы литературного приспособленчества. Неудивительно поэтому, что литературная поросль молодых не рождает крупного дерева. У них нет лидера. Более того — психологически они все считают себя лидерами... Может быть, недостаточно, но я все-таки читаю книги молодых и должен сказать, что ничего выдающегося из-под их пера за последние годы не появилось. Так, на уровне, но не более того».

Я бы мог привести еще ряд таких нелицеприятных мнений, высказанных писателями, зоркости человеческого и художнического таланта которых я верю. Характеристику, данную В. Быковым молодой литературе, надо признать справедливой — так-то больше будет пользы. Однако она очень сжата и однозначна. В том разлившемся ныне по-весеннему потоке, что зовется «молодой» литературой, есть свое мелководье (как во всяком) и свои обратные и опасные течения, но есть и глубина, и живые, несомненно чистые источники, свидетельствующие о подспудных, неразвившихся пока что силах и о благодатной природе этих сил. А у критики ведь более широкий круг задач, чем взыскание, пусть и самое справедливое. Основная, подлинная радость критика — поддерживать, развивать, давать путь всему лучшему, чистому и здоровому, что возникает, нарождается в литературе.

Но и счет, предъявленный писателем, должен быть у всех на виду...

Однако все по порядку.

Герои книг молодых писателей Л. Бежина «Метро «Тургеневская» (М., 1979 г.), Ю. Вяземского «Шут» (М., 1981 г.), Ю. Козлова «Воздушный замок» (М., 1984 г.), с которых я начну разговор, живут в Москве. Эти книги получили сравнительно широкую известность, по крайней мере, у критики.

Московскую жизнь, ограничиваясь даже бытовым, житейским ее уровнем, следует рассматривать как явление особенное, имеющее во многом определяющее значение для жизни общества в целом. То же самое я хочу сказать и о литературных героях, живущих в столице: у них как бы привилегия на внимание, и житель Камышина или Большой Черниговки склонен увидеть в них особенные черты, уловить в них отблеск завтрашней жизни. Ведь в Москве, в столице, — университет и лучшие институты, театры, музеи, скопление высших культурных, художественных ценностей, концентрация замечательных умов, ярких дарований. В Москве — энергичная разнообразная жизнь, бесчисленные возможности для всестороннего развития человеческой личности, особенная столичная атмосфера. Почему бы не представить себе московскую жизнь именно так? Это взгляд исторически сложившийся и историей без конца подтверждающийся.

Тем более если на литературном герое счастливо сошлись все предпосылки для полнокровной жизни, для достижения любых, самых высоких целей: с пеленок окружен интеллектуальной атмосферой, не глуп, образован по высшей мере и единственное, о чем не имеет понятия, это о стесненных обстоятельствах. Вот совокупный портрет почти всех основных героев Л. Бежина, Ю. Козлова, Ю. Вяземского.

Да и сами авторы, судя по предислови-

ям сборников, все незаурядные личности: Л. Бежин — кандидат наук, имеет ученые труды по истории китайской культуры; Ю. Козлов спецкором центральных журналов изъездил всю страну, побывал на Северном полюсе, на всех комсомольских стройках; Ю. Вяземский окончил Институт международных отношений, также ездил много по стране, бывал в зарубежных командировках. И они писатели!

Словом, у читателя все основания рассчитывать на широкий умственный кругозор, на глубокие духовные интересы — читатель полон надежд, когда открывает такие книги.

Каким же предстает в сборниках молодой москвич, мой современник? Выбираю книгу с самым столичным названием—«Метро «Тургеневская» Л. Бежина. Читаю рассказ «Бедная Лиза». Герой — студент МГУ. Пишет курсовую работу — мечтает всех «поразить и выдать что-нибудь». Ухаживает за однокурсницами... Однако вот, пожалуй, и весь «круг» интересов героя. И кругом-то трудно назвать — не сойдется. Случайно герой знакомится с женщиной вдвое старше его, и связь эта становится самой яркой страницей в его судьбе — «Мы вели богемную жизнь». В конце концов родители возвращают под домашний надзор несколько ошалевшее от «богемной жизни» великовозрастное чадо и сватают за него генеральскую дочь.

В следующем рассказе — «Шарапова охота» — можно узнать под именем «Мити» нашего героя, чуть повзрослевшего: на нем уже «висит диссертация, не нужная ему совершенно, висит груз ничтожных обязанностей: отвезти подушки на дачу. Ни одного выходного дня не мог он забиться в угол с книжкой, перечитать Дюма». Однако вот вдруг оживает ум и чувства скучающего в Москве Печорина наших дней. Что же их оживило? Жена друга...

Из содержания третьего рассказа, «Портрет жены в сером», узнаем, что герой выбрался наконец из кризисного состояния духа и почувствовал некоторый вкус жизни, придя к выводу, что не все еще в ней исчерпано. «Любили ли вы когда-нибудь жен ваших друзей? О, это мучительный вид любви, уверяю!» — будто постигая последнюю истину, говорит герой. Но не ждите ни мук, ни трагедий — их и следа нет. Есть мелкая, легкомысленная интрижка.

Я не идеализирую современные нравы. Но если круг друзей и женщин, в котором вращался герой и который он приспосабливал исключительно к своим нуждам и удовольствиям, был действительно таким и жил лишь теми чувствами и интересами, о которых рассказал писатель, то и тогда ясно, что герой катился под гору быстрей, чем окружающие его люди. Чтобы достичь кратчайшим путем исполнения своих желаний, он вынужден искусно приспосабливаться, чуть не ежесекундно лгать, изображать то приятельство, то дружество, то нежную любовь, ничего подобного не испытывая.

Остальные произведения сборника дополняют биографию кочующего из рассказа в рассказ одного и того же образа. Даже в школьном цикле «Из истории нашего «Б» без труда узнается именно он.

Я не думаю, чтобы Л. Бежин желал изобразить молодого интеллигента воплощением духовного ничтожества, эгоизма и грубых страстей. Рисовал-то он внутренний мир изящного, тонкого скептика и мученика своей сверхнатуры, познавшего суету сует, имеющего свое представление о жизненных ценностях. Писатель будто говорит нам: так уж складывается в наше время сознание образованного человека, что условности патриархальной морали, так называемые высокие чувства, нравственные законы занимают в его структуре далеко не первые места.

Но скажите: разве нет сейчас таких односторонних интересов, таких измельчавших помыслов, таких плоских чувств — такого мировосприятия, какое представлено в книге «Метро «Тургеневская»? Здесь ничего не выдумано, убеждает критик М. Гуревич. «Проза Бежина вообще богата точными и проницательными деталями и соответствующими им мелкими и психологическими движениями». Так что же, верно или неверно изображен в книге Л. Бежина современник?

Неверно.

На чувства, характеры, взаимоотношения между людьми, на всю жизнь человеческую брошен однотонный серый свет, скрадывающий глубину и все естественные цвета жизни. Да, автор знает те ситуации, тот уровень взаимоотношений, что, варьируя, описал, положил в основу своих произведений. Но это «узкая специализация». Она искусственно ограничивает сознание читателя, отгораживает и заглушает для него остальной бесконечный мир, замыкая его на избранном писателем пятачке. Такой усеченный мир — лишь иллюзия достоверности.

На пятачке тесно и душно.

Человек — сложное существо, в нем светлые добрые чувства, благие порывы соединяются и борются с темными желаниями и эгоистическими инстинктами, подав-

лять которые он обязан научиться. Порою на это тратится вся жизнь. Спекулировать же на любопытстве к темным желаниям и инстинктам легко, но это грех писателя перед людьми. Искренность и откровенность — большие добродетели, но они не искупают необходимость нравственных обязанностей и не отменяют ответственности писателя перед обществом.

Следует отметить, что само стремление к правде жизни, творческая нацеленность на нее, заметная у молодых писателей, внушает большие надежды. Но настораживает установка на заранее заниженный масштаб этой правды. Об этом не так давно писал в журнале «Наш современник» Владимир Бондаренко.

Персонажи книги Ю. Козлова «Воздушный замок», как и герои Л. Бежина, — потомственные интеллигенты, учатся или окончили институты, университеты, живут в столице.

С главным действующим лицом повести «Воздушный замок» (самая крупная вещь в книге) мы встречаемся в критическую пору: он подводит итоги первой половины жизни. Это тем более интересно, что архитектор Андрей познал «райскую жизнь» на земле. Безоблачное ли детство, материальный достаток ли, преданная жена и красавица дочь стали причиной этого стойкого и редкого среди людей ощущения, однако поверим автору, что такая жизнь возможна. Но в последнее время «холодный ветер все чаще проникал в райский сад, тревожил Андрея». Вздыхает по поводу его нынешних архитектурных проектов жена, утеряно, позабыто чувство опьянения работой, «желанный покой» возвращается чаще выпивкой, и вообще: стало скучновато жить. Словом, налицо всесторонний кризис. Что же, очень актуально. Узнать причины, диалектику спада жизненной и творческой энергии просвещенной личности было бы современному читателю весьма полезно. Правда, духовную катастрофу свою сама одаренная личность поначалу воспринимает вяло — без терзаний, без сожалений, без особых раздумий. Необходимо встряхнуть героя. Что же может глубоко затронуть чувства современного интеллектуала, потерявшего вкус к жизни? Что может послужить толчком к самопознанию и вынесению приговора себе?

Для героя Ю. Козлова таким решающим толчком послужила непредвиденная сцена — целующаяся со своим поклонником дочь-восьмиклассница. «Горечь прожитых лет внезапно ощутил Андрей, точно дымом пахнуло». Ожили тут чувства и память сорокалетнего архитектора. Вспомнилась своя одноклассница, первая любовь, закончившаяся разрывом. И в этой разлуке по его вине он обнаруживает теперь начала всех неудач и пустоты теперешней его жизни. «Не девочку-школьницу бросил тогда Андрей, а впервые предал тогда живую человеческую душу! Впервые вступил тогда в тень и со временем сам превратился в тень».

Следует успокоить читателя: ничего исключительного в той давней истории не произошло. Просто выяснилось, что до Андрея у Анюты была другая любовь, и когда Андрей узнал об этом, любовь (его и Анюты) кончилась.

Что же, это и есть весь накопленный жизненный багаж, и ничего более значительного и памятного не было за душой у стареющего деятеля искусства? Выходит, что так.

Вообще я испытываю большое затруднение, демонстрируя интерес к главному герою повести. Потому что с самого начала вырисовывается довольно пошлая личность.

Если нечаянное столкновение с пошлостью ощущается нами порою весьма мучительно, то каково приходится, если такая личность начнет тебе исповедоваться, станет излагать свои виды на жизнь? Тут и посыплются зажигательные эклоги замшевым курточкам, «французским, мягким, цвета бискайского песка», вперемешку с именами модных философов, с выпячиванием собственных феноменальных способностей, благодаря которым были одержаны победы над «многими женщинами». И все это непременно завершится обнаженной девицей, танцующей перед героем на зеленой лужайке, или другой подобной картинкой.

Теперь вопрос: зачем автором создана повесть?

По сюжету, надо думать, с целью развенчания индивидуализма. Судьба человека, заключившего себя в воздушный замок самомнения, есть, подсказывает автор, неуклонное движение в жизненный тупик и постепенное крушение всех былых достоинств.

Верно. Но чтобы уловить это движение, чтобы почувствовать и принять нравственный урок, необходимо присутствие незыблемых ценностей, относительно которых совершается падение и крушение, наличие внутренних достоинств, которым предназначено быть разрушенными и о которых герой и мы вместе с ним должны горько пожалеть.

Нет их в повести, этих ценностей, и нет трагедии. Душа вначале столь же порочна,

что и в конце. Вообще все плохое выведено в повести пристрастно и досконально, о хорошем же герои «Воздушного замка» знают лишь понаслышке. Такое ощущение, что у дурного больше прав и жизненной силы, чем у какого-то там запредельного, эфемерного и скучного добра, к которому следует относиться так же, как герой относится к умным книгам — они нужны «для виду».

Проследим теперь за судьбой двух друзей — студентов Саши Андронова и Юры из рассказа «Свидетельство о расторжении брака». Герои много курят, кушают чай с тортом, беседуют «на какую-нибудь светскую тему», без желания ездят на дачу, часто зевают и непрерывно мечтают встряхнуть эту затянувшуюся плесенью жизнь все тем же испытанным способом: «Кажется, встреть любимую, и катись все к чертовой матери!»

Конкретно об их интересах сообщается, что когда Саня выходил в прихожую встречать маму, то «смотрел на гравюру, изображающую машину будущего... думал, что неплохо бы проехать на такой машине, где стекла голубовато туманятся, сиденья пружинят». Поступки и решения, сколько-нибудь важные для судьбы героев, имеют примерно такое обоснование: «Он отверг папино предложение поехать на дачу в Расторгуево... Сане хотелось чего-нибудь другого».

Чтобы жизнь героев совсем уж не походила на рыбью, автор изредка снабжает их возвышенными помыслами: «Стол качается, бутылки позвякивают, хорошо пить пиво и куда-то ехать. Время быстро летит и думается возвышенно и чисто. Так и тянет подвести какие-нибудь итоги. А подведя, задремать».

Не мудрено, конечно, от пустоты такой, неопределенности, бесцельности существования завопить, как завопил герой: «Зачем это все? Зачем учиться? Чтобы работать, растить детей, копить деньги на квартиру... И все время она, она рядом... Мне скучно, скучно стало жить!»

Мне, право, обидно за моего образованного современника, или дремлющего, или же топчущего с детским эгоцентризмом чувства знакомых и близких. Не устраивает меня почти единственный результат его духовных и мыслительных возможностей, который выражается вышевоспроизведенным воплем. Он ведь не звучит в рассказе ни карой, ни приговором мелкому, объевшемуся игрушечными страстями обывателю, ни вопросом, требующим осмысления и разрешения.

Все эти преамбулы к обиженным воплям будут слыть нормой житейской юдоли современного молодого интеллигента, выдаваться за суровые слепки с жизни, за истинную трагедию неутоленного сердца до тех пор, пока сами писатели и критики, не устающие расхваливать молодых за «суровость стиля и жизнеподобие», не задумаются над вопросом: «А что взамен?» Что противопоставить стертым чувствам, узкому эгоизму, беспомощности и бесцельности поведения, пустому рефлексированию, заполнившему некоторые книги, что взамен стержневой ситуации: «Оля ушла, думая, что Юрий ее догонит» (наугад взята из сборника «Воздушный замок»)?

Ответ может быть единственный. Пока молодые писатели не осознают реальных проблем, пока не соотнесут свою жизнь, дело свое с Россией, с народной судьбою, пока критики не перестанут принимать потребительские инстинкты, оголенный рационализм и праздные псевдодуховные, «на какую-нибудь тему», разглагольствования образованного эгоиста за норму сознания, за подлинный мир современного интеллигента, — из-под пера молодых ровной чредой будут выходить или ограниченные тряпичные характеры, или интеллигентствующие циники, или беспробудные мещане, или марионетки, бездумно машущие картонным мечом.

Не надо закрывать глаза на существование циников, на джинсовых идолов, на пятнадцатилетних прагматиков, на вольности современных нравов. Но, спрашиваю, норма ли это все?

Правда жизни требует от мыслящего художника прежде всего четкой нравственной ориентации и определенной общественной позиции — эта истина известна всем.

«Писатель... обязан знать и указывать на ценности, которые ни при каких условиях не должны быть пересматриваемыми как непременное и выверенное временем условие правильного общественного развития» (В. Распутин. Необходимость правды. «Литературная учеба» № 3, 1984 г.).

Многие молодые авторы чувствуют тоскливую неполноценность и тупиковый исход и индивидуалистических взглядов, и равнодушной отрешенности, и мелкотравчатой всеядности. Всякое произведение, где прозвучала свежая мысль, необычное слово, тут же бывает замечено и часто становится весьма популярным, пусть ненадолго.

Герои сборника «Шут» Ю. Вяземского, если сравнивать их с действующими лицами «Воздушного замка» и «Метро «Тургеневская», не отличаются ни более глубо-

кими чувствами, ни жизненным опытом, их сознание не отягощено серьезной заботой. И выражение лица — то же, оно оживляется лишь при виде существа другого пола.

По всем приемам и доводам писателя я должен счесть Сергея из рассказа «Прокол» за незаурядную и положительную личность. Он — несомненно сильный и целеустремленный человек — мчится на велосипеде целый день по шоссе, стараясь заглушить физическим испытанием какое-то мучительное чувство, важную мысль, которую автор не спешит раскрывать.

В исповеди у костра перед девятилетним Вовкой Сергей раскрывает суть своей трагедии: «А я вдруг понял, что занимаюсь не своим делом. Не люблю его... Вот ведь как бывает. Ну да, способности у меня есть, сессии сдаю почти на «отлично». Но ведь разве дело в одних способностях? Надо еще любить то, чем ты занимаешься. Ведь это преступление перед самим собой, понимаешь?.. Это все равно что жениться на нелюбимой женщине, по расчету. Даже хуже!»

Вот это и есть, вероятно, та «попытка исследовать острые нравственные ситуации (о которой положительно отозвался в предисловии к книге В. Орлов) с намерением подтолкнуть читателя к неспокойным раздумьям, а то и к нравственным решениям». В процессе повествования герой раза три-четыре склоняется то в одну, то в другую сторону, не в силах решить, напрасно или не напрасно он испугался поступать в тот институт, о котором «мечтал с седьмого класса».

Эти метания не вызвали у меня не только никаких «неспокойных раздумий», но даже и сочувствия. Почему?

Потому что это не нравственные мучения героя, а моральный катехизис великовозрастного законченного иждивенца, центральным принципом которого является исключительная замкнутость на себе, центральным побуждением — «люблю» или «не люблю» я это. Ни проблеска на согласование своих желаний с внешним миром, не говоря уж о проявлении естественного для юности, горячего, хотя зачастую невостребованного, желания «отчизне посвятить души прекрасные порывы».

Отсутствие ориентации на внешний мир, на интересы других людей, на грандиозный опыт действительности приводит к путанице в том узком отвлеченном мирке эгоистических стремлений, на который обрекают себя такие люди, и постоянно вынуждает их на несуразные объяснения собственных поступков. Вроде таких:

«Я знал, конечно, почему мы развелись с Тоней. Мы слишком любили друг друга, были слишком требовательны к себе и своей любви. В результате нам часто казалось, что мы любили недостаточно сильно. А мы не желали любить вполсилы и потому развелись» («Этюд на органическое молчание»).

Герои Ю. Вяземского живут игрой. Игровой процесс имитирует движение жизни. Соблюдение условий игры подменяет подлинные жизненные интересы. Играет в течение многих лет Шут — школьник Валя Тряпишников («Шут»), страшно сузив весь необъятный мир детства до непосильной для живой души цели — денно и нощно разыгрывать и унижать окружающих его людей. Играет давно уже не школьник Юрий, терпеливо ждущий свидания со своей бывшей возлюбленной («Икебана на мосту»), назначенного десять лет назад. Однако напрасно он старательно раздувал золу отгоревших чувств — возлюбленная не пришла по той простой причине, что десять лет назад стала женой нашего героя, народив ему детей, и в то время, когда он грустил на мосту, спала, видимо, намаявшись за день сугубо реальными делами и заботами. Играют в жизнь, в глубокие драмы, в красивые чувства он и она — студенты театрального училища («Этюд на органическое молчание»). Играет со своим фантастическим аппаратом Бердников («Аппарат Бердникова»).

Если рассматривать игру как подмену в сознании человека жизни, реального опыта, как искусственное раздувание ради забавы ничтожного предмета до закрывающих самую жизнь размеров, то такой игровой способностью наделены все герои Ю. Вяземского. Понятно, что эти случайные и узкие, забавляющие и скрадывающие жизнь идеи, при помощи которых так легко управлять марионеточными героями, не имеют никакого отношения к насущным, серьезным идеям и проблемам, выдвигаемым жизнью. От разрешения первых — ничего не меняется, кроме хода сюжета.

Игра забавляет, увлекает прежде всего самого автора, стимулируемая ею авторская мысль, отцепленная от жизни, легко скользит и может скользить бесконечно, создавая иллюзию работы. Справедливости ради следует отметить, что легкость подмены интеллектуальной игрой мыслительной и духовной деятельности смутила не одного Ю. Вяземского. Она, эта легкость, породила целый ряд подобных «скользящих» произведений.

Вполне возможен такой вопрос: если все персонажи упомянутых сборников одинако-

во мыслят, чувствуют, исповедуют однотипный потребительский взгляд на мир, то не схвачена ли авторами некая важная, общая для молодого поколения черта? Не действуют же эти герои сговорившись.

Но, во-первых, никакое время не может похвастать отсутствием в обществе людей с недостаточным моральным развитием, в том числе эгоистов, иждивенцев, сластолюбцев и т. д. Эти типы всегда были. Правда, прослеживается некая обусловленность судьбы и внутреннего мира героев рассмотренных сборников. Они вели обособленное, иждивенческое существование с первых дней жизни. Они не ведали запрета ни в чем. В детстве — огромные квартиры, заграничные вещицы, дачки в виде замка на зеленой лужайке, спецшколы; в юности — гарантированный престижный институт, беззаботно катящаяся студенческая жизнь, да и потом, позже, — жизнь все время протягивала им дружескую, поддерживающую руку. Не отсутствие ли реальных проблем и страданий порождает у них бесчувственность к действительности, эгоистическую несдержанность?

И еще одна особенность этих характеров бросается в глаза. Героям нельзя отказать в начитанности, в их разговорах не смолкают имена модных философов, ученых, писателей, они любят подводить теоретическую базу под собственные поступки. Но ни мыслители прошлого, ни столичное образование, ни кандидатские степени не в состоянии вытолкнуть их из личных проблем, продлить их взгляд далее вытянутой руки. Они словно находятся вне характерных для большинства условий, вне общественных событий, вне конкретного времени. Но такую полную социальную изоляцию образованных людей, живущих в гуще событий, даже если захочешь, не спишешь на исключительную занятость собой — в действительности этой повторяющейся крайности не встретишь. Здесь явный волевой нажим авторов на созданные ими характеры, искусственное усечение их интересов, их жизни. Тем сильнее выступают черты, которые авторы оставили своим героям.

Конечно, не такие действующие лица составляют основное население нашей молодой прозы.

«Всякое отрицание, чтобы быть живым и поэтическим, должно делаться во имя идеала». Будет закономерным, если я, помня эти слова Белинского, тут же выставлю образы, воздействующие на читателя в возвышающем, очищающем направлении.

Кроме общих, веками сложившихся требований поэтического и этического выражения, идеал, как известно, объективно несет в себе отпечаток времени. Черты его, обусловленные настоящей действительностью, и представляют для нас в данном случае ведущий интерес как наименее определившиеся, но чаще всего функционирующие в наших претензиях. Из большого числа требований, предъявляемых обществом к современной литературе, я выделю (учитывая возможности статьи и проблематику) два из них, на мой взгляд, важнейших: первое — верное отражение жизни; второе — реалистичное представление полезной воодушевляющей деятельности.

Причем второе сейчас наиболее злободневно.

Строящего, пашущего, управляющего, экспериментирующего народа в нашей литературе хватает. Проблема в представлении в о о д у ш е в л я ю щ е й деятельности, то есть способной оказать широкое идейное влияние на общество, реально подвигнуть большое количество людей на полезную Отечеству работу. История доказала наличие у литературы таких возможностей.

Впрочем, сообразуясь с заголовком, работа наша несет более познавательный характер, нежели утверждающий. В поисках своих я во многом прибегаю к помощи нашей молодой критики. Я уверен, ничего яркого, выдающегося она не пропустит. Да, многие книги молодых авторов и даже коллективные сборники остаются ею обойденными. Но и что можно нового сказать, например, о сборнике прозы «Дорога» (М., 1983 г.), если рассказы в нем почти все имеют печать вторичности. Авторы уверенно идут сообща по проторенным путям, уверенно черпают из богатого народного опыта, вместившего и колхозное строительство, и войну, и послевоенные реформы. Но мы не получаем того, чего ждем от молодого поколения писателей, — представления о современной жизни, о проблемах, о насущных задачах ее. Большей частью в сборнике чужой опыт. Там же, где свой, нет энергии, нет цели, нет критического, пристрастного отношения к миру, нет желания что-либо изменить.

«Село наше было гармонистым. Балалайка почему-то не привилась, не пришлась по душе нашим мужикам. Гитара — тем более: добрый инструмент, но нет в нем того размаха, голосистости той, которой людям требовалось», и т. д., или: «Мерин замотал головой, захрупал, прядая от удовольствия ушами. Свежего навоза под ним прибавилось за ночь немного. Аверин в два счета загреб его лопатой и пошел из денника, хлопнув мерина по крутой лоснящейся шее

с длинной гривой. «Ишь, дьявол косматый, разъелся! Как печь. Даром, что денег на овес не отпускают», — проговорил он добродушно и остановился посреди двора. Больше делать как будто было нечего». Примеры взяты из сборника «Дорога». Это не дальнейшая разработка темы, открытого предшественниками пласта народной жизни, а изыскания на отработанной породе. Я говорю об этом с позиции читателя, стоящего перед полкой, где наряду с книгами Белова, Астафьева, Носова примостились альманахи «молодых»: «Дорога», «Истоки», сборники «Молодые голоса». Что читатель выберет? Молодые авторы вроде хотят перещеголять мастеров в художественности, не замечая, что каждое большое произведение Распутина, Белова было новаторским. Читатель же и критик всегда замечают в писателе то, чего нельзя найти у остальных.

В последнее время из поля зрения критических отделов молодежных изданий не выходят имена Б. Кравченко и Н. Коняева. Мало кому из начинающих досталось столько непосредственного участия, столько благословений от известных прозаиков, как Борису Кравченко: Ю. Нагибин, С. Воронин, В. Крупин... Правда, о содержании, о характерах героев, о жизненной достоверности прозы молодого писателя из Кондопоги старшие говорили как-то вскользь. Больше обращали внимания на лаконичную форму его рассказов. По откликам ровесников чувствовалось, что Б. Кравченко взял не формой, а именно ярко выраженным личностным, очень добропорядочным отношением к явлениям окружающей жизни. Он эту добропорядочность просто пропагандирует, часто в счет художественности, взывает к ней, упрекает за отсутствие ее. Герои его, почти все, поделены на плохих и хороших, и непременно, если взаимодействуют в одном рассказе, сталкиваются лбами. Тому способствует исключительность изображаемой ситуации. Так читателю видней.

Не могут существовать вместе старый рабочий Ефремыч и Васька Щеглов — «длинный разбитной парень» («Ефремыч»).

Точно так же ясно для нас, кто есть кто в конфликте между бойкой табельщицей Люськой Кривоносовой и плотником Семеном Бегунком, которого на стройке «уважали за отзывчивость и безотказность» («Расценки»).

Или Тимоха и Обозин («Тимоха») — два односельчанина. Выпало им копать могилку. Один, Тимоха, искренне печалится об умершей — старушка была хорошим человеком. Другой — лишь бы поскорее дело с плеч свалить. За что и получает от Тимохи: «Пошел вон, сволочь!.. Я тебя, гада, вот этой лопатой по жирной шее!»

Или опять же добросердечная деревенская старушка и городской пижон в лакированных ботинках, прикативший на «Жигулях» в деревню купить картошки. Старушка и чаю ему предложила и огромный мешок отборной картошки за шесть рублей (даром, по нынешним временам) отдала. Он же, пока она лазила с ведрами в яму, вогнал топор ее (может, единственный) в колоду по обух да обругал ее за четыре гнилых картофелины «слепой тетерей». Ну, не мерзкий ли тип?!

Взявшись рассматривать рассказы Б. Кравченко, я теперь понимаю, отчего критики и именитые прозаики отдавали дань избранной им форме или общей позиции, категоричности автора и почти ничего не говорили о содержании его произведений. Оттого, во-первых, что в них все исчерпывающе ясно, все доказано и добавить к сказанному автором нечего. Во-вторых, для сюжетов изыскиваются, как правило, исключительные, пограничные ситуации, довольно редкие в нашей повседневной жизни, а потому плохо помогающие понять ее законы.

Жизнь — бесконечная тайна, поэтому всякая категоричность в суждениях о ней вряд ли оправдана.

Когда в литературу приходят нравственно сложившиеся люди с энергичным стремлением привнести в нее хорошее — это замечательно. Но и я не должен быть наивным глотателем всех подряд горячих деклараций. Хотя при столкновении с таким автором читательское сердце более чем когда-либо готово отозваться на искренность. Краткая форма, которую избрал Б. Кравченко для рассказов первой книги, мало пригодна для передачи широкого течения жизни, для охвата человеческой натуры во всех измерениях — противники малых форм тут действуют не только из одних консервативных амбиций. Но она, эта форма, вполне подходит для изображения характерных проявлений человеческой натуры, для показа отдельных достоверных черт нашего современника. Из них можно попытаться в итоге сложить портрет его, а также смысл появления его на свет божий.

«Заведу-у», — передразнил Гуров, вытаскивая папиросу. — Мороз под сорок, а он — заведу... Петушок», — так начинается рассказ «Стажёр». Не нужно особой интуиции, чтобы с первого слова понять — заведет парень, ученик ГПТУ, трактор, и в

минус пятьдесят завел бы. Но мне важно узнать: из какой необходимости проистекают его поступки, во имя каких целей старается стажер, отчего так яро переживает за его успех Гуров, а автор заставляет читателя сжигать нервные клетки? Ну хоть работа какая-нибудь была бы для парня — мне пользу хочется увидеть в его героических действиях, не только хвастливую силу. Нет, не обозначено целей — кроме спортивного азарта, ничего не видно.

Ефремыч из одноименного рассказа переживает за трактор — списывают его, и автор требует от читателя строго определенной позиции.

«Это же додуматься надо. Машина еще жить хочет, а ее угробить желают!» — возмущается Ефремыч. Автор доказывает, что праведнее этого отношения к механизму, к технике не сыскать. Я же думаю, глядя, как машет на живых людей кулаками Ефремыч: на жену, на начальство, да и на читателя, защищая свою «железку», — не моральное ли уродство заслоняет автор своим искренним сочувствием?

Вообще часто кажется, что поводы, по которым горячатся персонажи Б. Кравченко, вопросы, которые они круто решают, недостойны их недюжинных сил, их ярко выраженных добродетелей. Они, эти поводы, вопросы, проблемы — пройденный для сознания современного человека этап. Многое откатилось к груде прописных истин, стало неосновным, обозначилось как следствие.

Но вот кто может представить жизнь в нетронутом, не в возмущенном авторской волей виде, — указывает мне критика на Николая Коняева, на книгу его «Земля, которая помнит все». Вот она, сама объективность и беспристрастность.

Н. Коняев, в самом деле, противоположность Б. Кравченко и по стилю, и по отношению к предмету изображения. Там, где у Кравченко все направлено на разграничение, на обострение, у Коняева разглажено, залито лунным созерцательным светом. Ни в одной вещи он не повышает и не понижает тона, не ускоряет темпа повествования. Критика подсказывает мне, что «его повествованием движет настроение». Ни у одного человека я не встречал такого устойчивого пульса, такого ровного психического состояния, как у автора «Земли...», на всем протяжении сборника. Состояние это настолько стабильно, что его и настроением назвать нельзя.

А между тем Коняев не избегает драматических событий, когда герои или погибают, или лишаются чего-либо дорогого в жизни, или попадают в чрезвычайную, морально трудную обстановку. Но, удивляясь себе, я спокойно внимаю истории исковерканной судьбы и кончины малолетнего Кольки Кондрова («Колька Кондров»), пробегаю — не останавливаясь — повествование о гибели кормилицы семьи, коровы Живули («Живуля»), знакомлюсь без всякого волнения с помешавшимся по неизвестной причине, сжегшим свой дом Афоней («Афоня с большой желтой папкой»). Ничто не сжимает сердце, не пронзает сочувствием.

В книге много и забавных случаев, повседневных историй. И нельзя сказать, что по художественным достоинствам они ниже упомянутых. Но из всех рассказов невозможно выделить и кусочка малого, диалога или картинки, который был бы, что называется, кульминационным моментом, итогом, пиком человеческих чувств и художнических усилий. Объяснение такой ровной писательской манеры я нахожу в следующем: Коняева не столько интересует сам предмет изображения, сколько его поэтическое, изящное воплощение на листе бумаги. Будь то капля дождя или смерть человека.

Если искать сравнений, то стиль Н. Коняева можно, пожалуй, сравнить с легким полетом красивой бабочки над лугом Рассказы — цепочка невесомых, приятных касаний, не оставляющих следа. При любой степени драматизма складывающихся событий.

«Когда-то Афоня имел квартиру, жену и должность. Но от должности отстал, когда догадался, что рожден птицей; жена сама ушла от него, не в силах больше наблюдать за превращением человека в птицу, а квартиру Афоня сжег. По этому поводу мнения расходились. Одни считали, что дом Афоня сжег по пьянке, другие объясняли это нравственным прозрением, которое случилось с Афоней («Афоня с большой желтой папкой»).

«Перекрестилась тетка Лиза и легла в постель. Недолго пришлось ждать. Прибыло в комнате света, вошел и сел у изголовья архангел с трубой. И заиграл. Только почему-то не религиозное, а гимн Советского Союза. Подивилась тетка Лиза. Только кончалась уже точка, померк свет, удивляться некогда стало. Вытянулась тетка Лиза на постели и умерла» («Мать павшего воина»).

Я старался выбрать наиболее высокие места эмоционального рельефа прозы Н. Коняева, наиболее серьезные события жизни человеческой, представленные в ней. В основном же рассказы его наполнены медитативно-лирическими отступлениями, вос-

поминаниями, пейзажной статикой, бытом, в котором повседневность перемешана с романтическими чудесами. И все это легко, изящно, стремительно — на уровне романтиков, зовущих на Сахалин «полежать на берегу океана с корочкой черного хлеба». Ясно, что такой лирический полет возможен лишь при отсутствии излишних тенет сюжета, не говоря уж о бремени «проклятых вопросов», и вообще каких-либо вопросов.

Стиль Коняева, лирический флёр, наброшенный им на всю действительность, выступает как устоявшаяся позиция. Если бы она принадлежала только ему... Но законы бесстрастного искусства показались удобными и выгодными многим начинающим литераторам. Целое течение образовалось. Писателя и в чистоплюйстве, в безответственности не упрекнешь — о жизни пишет, о земле. И содержанием никто не оскорбится. При этом не нужно решать никаких проблем, мучиться в поисках выхода из нравственных тупиков, из жизненных противоречий, донимающих на каждом шагу, биться в сетях обстоятельств, нести груз обязательств. Со всех сторон хорошо!

За моей категоричностью многие увидят, что я только то и делаю, что подступаю к молодым писателям с готовыми мерками, подгоняю в систему. Этак, мол, можно лишиться живого, трепетного, можно лишиться искусства.

Не стану доказывать необходимость обусловленного, выверенного определенной системой ценностей подхода к любому явлению действительности — и невозможность подхода иного. Пусть будет крайность. Пусть мерой будет только чувство, отношение, выражаемое словами «нравится» и «не нравится», к которому сторонникам свободного, безусловного подхода к искусству трудно придраться, как и нам за него зацепиться. С этих позиций — еще Чехов говорил, что сказать «мне нравится» или «мне не нравится» это тоже позиция — я назову несколько имен молодых прозаиков, которые мне н р а в я т с я. Отталкиваясь от этого исходного чувства, я пойду в обратном направлении, то есть от чувства к выстроенному ряду обозначенных достоинств — именно так, собственно, и поступает не только каждый литературный критик, но и любой человек, не разочаровавшийся до конца в пользе умственных обобщений. Итак, м н е н р а в я т с я следующие молодые писатели: Н. Шепилов, П. Краснов, Г. Абрамов, В. Курносенко, В. Карпов. Я остановился на таком количестве имен, при котором имею возможность не быть голословным (нас все время упрекают в том, что бич наш, нашей молодой критики — поверхностность, голословность).

Но что вообще нам нравится в характере и в жизни другого человека? Доброта, глубина чувств, способность искреннего сочувствия, жертвенность, нравственная сила, стремление к правде, независимый ум, знание жизни, деятельность на благо общества, увлеченность небесполезным занятием, меткая образная речь — вот приблизительная совокупность достоинств, которые мы хотим видеть в героях литературы, которых требуем от самих наших писателей. При достаточной точности и достоверности в передаче глубокого и целостного чувства, переживаемого писателем, при «заражении» (Толстой) этим чувством читателя, будет рождаться благодатная духовная связь, которая называется искусством. Сейчас уровень писательской мастеровитости довольно высок. Основная загвоздка — в глубине, в степени постижения человеческой души, в потенциале чувства, с которым один человек обращается к остальным людям.

Те, кого я перечислил, неодинаковы (стоит ли об этом говорить), отличаются по стилю, по направлению взгляда. Но их различия, осмелюсь сказать, вторичны по отношению к совокупности духовных качеств, объединяющих и П. Краснова, и Н. Шепилова, и В. Курносенко, и Г. Абрамова, и В. Карпова. Воплощенная в образы, она составляет главную силу воздействия на читателя, пробивается, несмотря ни на какой банальный сюжет, в любом их произведении.

В рассказе Н. Шепилова «Поединок», помещенном в «Литературной учебе», два студента-стройотрядовца ухаживают за однокурсницей. Из современных сердечных треугольников можно дом повышенной этажности выстроить — урожай на них нынче небывалый. Так что история соперничества между будущими медиками Объездчиковым и Емельяновым, давшая название рассказу, могла бы безболезненно кануть в общей массе, не служи она лишь багетной рамкой для более глубинных, праведных, святых, человеческих отношений. Есть в этом рассказе еще герои — маляр Корнилов и восемь его детишек-погодков. Немного о них сказано. Сообщается, что приехали они в деревню, потому что «кормиться здесь легче», сказано, что по вечерам маляр читает вслух книги младшим детям: «А читает он серьезно и трогательно. В каких-то местах останавливает чтение и смот-

рит в начало книги. Если есть там фотография автора, то Корнилов и дети проникновенно глядят ему в глаза, будто хотят узнать: что стоит за этим человеком?»

Кто-то, возможно, удивится, сочтет, что ни к чему я потратился на столь незначительную деталь. Мне она — и не только, надеюсь, мне — говорит о многом, и сто́ит она, на мой взгляд, десятков страниц мастерского описания характера русского человека, его доброты, любви к людям, нежной и строгой души. Я ничего не буду на сей раз объяснять, просто приведу отрывок из рассказа, где на крошечном пятачке текста уместились и судьба, и горе, и душа, и человеческая ответственность.

Емельянов натыкается ночью, бредя со свидания, на плачущего в старой кузне маляра. Разговорились.

«А выл-то я от обиды, — объясняет ему маляр. — Ну, хорошо, Емельянов: прибыли мы сюда всем гамузом. Сыновьев поднять надо? Надо. А кормиться здесь легче. Приехали. С народом пообзнакомились — хороший народ, трудовой. А зоотехник со своей супругой невзлюбили моих ребят, нищими нас считают. Ладно, богатому дарят, а нищему дают. Да я-то ничего не знал, а дети молчат. А седня у Вадика Харина день рождения, он и пригласил моего Гриньку. Играют же они вместе... Гринька пригласил, само собой, Миньку, Минька — Кольку, Колька — Витьку, ну? Дети. Они и подерутся и помирятся, им радости охота... Вот ты умный человек — врач, скажи.

— Правильно, — сказал Емельянов. А маляру и эти слова были ни к чему, он говорил Емельянову, как до его прихода говорил проволоке и звездам над кузней.

— А зоотехникова жена их и на порог не пустила. Вместе с ихним подарком! — Теперь уже Корнилов наклонил к студенту свое белое лицо, растерянное в ожидании правды. — Как так мы, люди, должны с детьми поступать? Мы что? Мы проживем... Помрем после, а детям на свете надо по правде жить, на нее равняться...»

По сравнению с этим горем маляра, восьмерых детей которого соседи не пустили к себе на день рождения, «вместе с ихним подарком», рядом с этой реальной человеческой заботой и болью, многие рассказы молодых... Да что? Не о них даже речь. Мои дела, поступки, мысли, мои тщеславные притязания, мечты — все, что до сих пор казалось важным, стоящим — как многое из этого вдруг превратилось в пошлый мусор, в мелочь, вздор! Не прямое ли доказательство правды жизненной, постигнутой художником, — мысль внезапная, пронзающая все чувства при виде картины его — вот настоящая жизнь, вот что важно!

И что за сила им дана, простым, непросвещенным, с точки зрения умных и образованных людей, героям Н. Шепилова. маляру Корнилову («Поединок»), пастуху Проне («Ночное зрение»), матери Петра, неграмотной, тихой женщине («Поздно»), деревенскому старику Малых («Одиноко») — чем они воздействуют так на нас, современных умников? Отчего мир их кажется неизмеримо просторнее, полноценней, необходимей нам, нежели мир записных интеллектуалов, говорящих умные, но бесполезные слова?

Ясно, что дело не в авторском пристрастии и симпатии к своим героям, ведь герои «Метро «Тургеневской» тоже повернуты к нам не худшей своей стороной, не устают прихорашиваться и расшаркиваться перед читателем. И даже не в характерных особенностях, не в силе личного писательского дарования Н. Шепилова, — такое же бесконечное расположение у меня и к героям Петра Краснова. Причина заключается в писательской позиции по отношению к жизни. Николай Шепилов, как и другие писатели из этого ряда, раскрывает перед читателем духовные качества человека, безграничную красоту и величие их. Утверждается безграничное превосходство нравственного мира над миром рациональным, над головными способностями человека. Этой подспудной и явной задачей всегда отличалась русская литература.

Другая важная особенность, отличающая названных мною молодых прозаиков, — обостренное ощущение своего времени. В их произведениях есть непосредственное знание жизни, лично пережитое, есть сопричастность всем событиям, происходящим вокруг.

«Детство наше было послевоенное», — начинает Н. Шепилов рассказ «Ночное зрение», первой фразой тесно связывая судьбу героев с той особенной эпохой. Далее следует множество прямых и косвенных деталей и черт, составляющих живую картину послевоенной поры, — это и времянки рабочего пригорода, и Санькина семья, приехавшая с далеких тихоокеанских островов, умерший от ранений отец и заболевший белокровием от «мериканского атома» Санька, это и молчаливый татарин Ахмат-Цветмет, приезжающий на кобыле-лилипутке за утильсырьем, это и босоногая детвора, ныряющая в поисках утильных сокровищ в мутную воду балок, где колчаковцы взрывали когда-то боеприпасы при отступлении, это страшноликий пастух Проня,

бывший полковой разведчик, жена и двое ребятишек которого пропали в оккупацию, это, наконец, человеческие характеры, особенно чуткие к людскому горю. Я вот как думаю: если через сто или двести лет люди захотят познакомиться с нашим временем, с нашим поколением, я посоветовал бы им почитать рассказы Н. Шепилова. Само название «Ночное зрение» обозначает память человеческую, приходящую вместо ночного сна.

Историзм, присущий рассказам Шепилова, не означает присутствие крупномасштабного фона, глобальных событий. Есть будни простых рабочих людей. Но эти повседневные дела, заботы, отношения между людьми дают как раз искомое понимание — на чем жизнь держится.

Так же насыщен приметами времени рассказ «Игра в лото» — это время ушло или уходит теперь в прошлое, но оно было значительной частью жизни у наших современников не только старшего, но и среднего поколения. Автор знакомит нас в небольшом рассказе с добрым десятком разных лиц, и все остаются в памяти. И среди всех характеров нет ни одного, на котором история, эпоха не оставила своих зарубок. А характеры порой говорят о ней больше и доходчивей, чем исторические книги.

Однако не в думах же, конечно, о любознательных потомках, не ради этнографического описания провинциальной жизни создавались эти рассказы. Опыт времени, разные пласты его проступают в героях как проявление жизни. Основа рассказов — картина отношений между людьми, картина, где прописаны главные моральные ценности, все нравственные величины на своих местах — никакой путаницы. На первом месте человеческое достоинство. Из множества самых разных героев рассказа «Игра в лото» не обесценена, не унижена ни одна человеческая личность. Нет понятия «второсортные люди» (оно присутствует у некоторых молодых писателей): глупые, некрасивые, ненужные. Любая личность самоценна. При незыблемости этого принципа мы, однако, получаем четкие оценки личности, ее внутренних качеств, ясно видим плохое и хорошее. Человека здесь отличают не должность, не положение и уж, конечно, не внешние качества, но внутренние достоинства. Верх у того, кто больше пережил, кто больше знает, понимает, кто душевней относится к людям. Низ — у великовозрастных лоботрясов. Плохое осуждается, хорошее поддерживается, возвышается. Все изображено без нравоучительной указки, с большой жизненной достоверностью.

Для рассказов Шепилова характерны внезапные очень высокие нравственные точки— моменты, когда сжимается сердце. И тогда будто льется с высоты свет, и все при нем раскрывается, становится предельно ясным. Такой источник нравственного света в истории о шестилетнем Гане, вставшем на защиту слабого, такой свет идет от пастуха Прони, утешающего больного Саньку, такой свет от маляра Корнилова.

У Петра Краснова нет, пожалуй, таких внезапных, пронзительных порывов правды. Но и там и там одна и та же непоколебимая правда, и там и там она — не индивидуальное, переделанное на современные обстоятельства, понимание законов жизни, но вынесенная из народного быта, традиций, из пластов народной жизни, — и там и там она такая, как ее понимает народ.

Проза П. Краснова строится на обстоятельном, бережном изображении жизни села, на изображении крестьянского характера. Жизнь будничная, работа от зари до зари на поле, на ферме, дома, нескончаемая череда дел. Так, например, в рассказе «Кизяк».

Главное не с величайшей тщательностью запечатленный уклад сельской жизни, а ясное представление о том, как тысячи сторон этого уклада с малолетства формируют характер человека. Работает мальчишка, старается — стыдно от людей отставать. В кругу взрослых забот, взрослых разговоров ничто не сокрыто от детского глаза, от детского сердца, будь то отношение больших к односельчанину Мишке Самолету, который «всю жизнь так прожил — ни в сопелочку, ни в дуделочку», будь то разговоры, «почем весной картошка на базаре шла», или то, как, не задевая достоинства замаявшегося десятилетнего человечка, дают ему передохнуть — посылают в деревню за водой Но главное, что откладывается,—это, конечно, каждодневная необходимая работа. Работа как исток, как образ народной нравственности.

Краснов вовсе не идеализирует деревню. Кукольного ничего нет. Одни, пожалуй, трудности, имеющие свои светлые стороны. Любовь есть сыновья к своей земле, людям, родине. А есть любовь — есть боль, если что не ладно, не так. Смею заявить, Краснов, как никто из молодых, силен гражданским чувством, зоркостью к социальным вопросам. Любой его рассказ очерчивает социально-нравственные проблемы самые глобальные. Возьмите рассказ «Перед но-

чью», где поднята проблема самая злободневная — равнодушного отношения к общему делу.

Краснов ставит частный случай на уровень общественной проблемы, требующей от читателя гражданственного отношения к содержанию конфликта.

Можно заметить, что большей частью авторская симпатия Н. Шепилова и П. Краснова проявляется к людям очень обыкновенным, немудрящим, и некоторая осторожность, отчуждение есть по отношению к людям, иногда в какой-то области выдвинувшимся из общего ряда.

Что это означает? Не крестовый ли поход против наук и просвещения? Нет. Правда рассказов отбивает любые подозрения в односторонности взгляда. Но писатель будто предупреждает об опасности, которую несет в себе гордыня, иллюзия всезнайства. Что произошло с поэтом Петром из рассказа Н. Шепилова «Поздно», того не случилось с его матерью, безответной «темной» женщиной. Она одного лишь хотела, «чтобы к доверчивому Петру не ходили люди с тощими лицами и не поили бы его вином, не сочувствовали бы ему и не разжигали в нем злобу против людей. Она чувствовала, что эти люди врут, но уличить их не могла, знала мало слов. А если бы знала, то сказала бы, что они погубили сына своим всезнайством, иронией по всякому поводу и нытьем». Читатель естественным образом, как бы сам, приходит к краеугольному камню бытия, наглядно утверждающему: будь ты ходячей энциклопедией, титаном и корифеем в науке, в искусстве, в любой области, — не это суть важно, важно, чтобы ты был человеком!

Как быть им? Или для некоторых существен вопрос, как стать им, хорошим, всеми любимым человеком?

Вообще говоря, для Н. Шепилова, для П. Краснова задача очеловечивания упавших под воздействием обстоятельств, ложных знаний, не самая главная. Их центральные персонажи настолько одушевленны, их мировосприятие настолько ясно, гармонично и прочно в нравственной сущности своей, что и мысли нет о переоценке их качеств, тени нет желать чего-то сверх — как в присутствии органической, природной красоты. Без нытья, без жалоб, без зависти к чужому куску несут они нелегкий груз жизненных обстоятельств и тягот. Этот груз только расширяет их душу до слияния с самыми высокими нравственными понятиями — до ощущения всеобщей связи между людьми. Для пастуха Прони естественна вера в то, что «все люди как узелки на одной ниточке. Как ни брось, как ни скрути, а за кончик-то потянешь: все мы тамо». У П. Краснова в повести «По причине души» крестьянин Тимофей Иванов, трудолюбивый, добрый человек, несправедливо осуждается на тюремный срок за... да ну, не важно, за что. Главное, что даже этот чудовищный для нравственно чистой души удар не в состоянии разрушить веру в жизненную справедливость. Там, где иной готов запалить мир с четырех углов, Тимофей Иванов ищет причину случившегося прежде всего в себе: «Мы ведь все норовим других обвиноватить, на других свалить, ну а сами-то каковы?.. Что уж, больно хороши мы, что ли?!. Оглянешься вот так, осмотришься, а сам, оказывается, и виноват, не кто-нибудь там другой. И вот должен теперь понимать всех, не только сам себя».

Многие ли из нас готовы на подобное самоотречение? Обладаем ли мы достаточной силой, чтобы в трудный момент понять «всех, не только сам себя»? То, что естественно для маляра Корнилова, для Тимофея Иванова, для пастуха Прони, то встает перед нами, послевоенной порослью, не прошедшей горнило суровых исторических испытаний, величайшим вопросом. Опасение за прочность внутреннего стержня отличает произведения наиболее чутких молодых писателей, ощущающих ответственность за свое поколение.

За два-три последних десятилетия многое изменилось в нашей жизни, человек изменился, нынешнее племя двадцати-тридцатилетних, облученное телевидением, охваченное всеобщим школьным образованием, научно-технической революцией, городской цивилизацией, — это поколение иное, нежели поколения периода сельского большинства.

Кто мы и что мы, на что способны, что удерживает нас в жизни, не дает потонуть, что нами движет и куда мы движемся? — вот вопросы, которые задает себе мой современник. Не у всех есть та уверенность, прочность в поступках, неосознаваемая, но все пронизывающая нравственная сила, что крепила дух предшественников. В большинстве своем нынешние герои сознают, что хорошо и что плохо, однако некоторых моих современников швыряет, заносит в стороны с опасным размахом.

Четверо подростков в рассказе В. Карпова «Вилась веревочка» (сборник «Федина история») совершают тягчайшее преступление. Чувство вины расковывает душу, высвобождает, поднимая с глубины ее, другие чувства, доселе неведомые, неподозре-

ваемые в себе. Происходит как бы перерождение человеческого сознания, личность предстает в новом качестве. Герои рассказа «Вилась веревочка» сразу взрослеют, постигают высшие жизненные ценности.

Подростков — героев В. Карпова испытала, раскрыла жизнь помимо их воли, бросила луч на их человеческое предназначенье, тяжестью едва ли оплачиваемого иска в большой мере «упростила» путь к постижению истины. Чаще истина заявляет о себе иначе. Чаще человек ведет внешне спокойную, деловую жизнь, ходит на работу, обменивает квартиру, заводит знакомства, воспитывает детей, а внутри мучается своей душевной неустроенностью, отсутствием высшего смысла во всех этих действиях. Он верит, что в душе его, как в кладовой, есть все элементы и силы для построения гармонии. Но силы эти неорганизованны, разобщены, нравственные элементы разбросаны, перемешаны со всяким жизненным мусором...

Кроме того, действительность то и дело подбрасывает вопросы, порожденные нашим временем, о которых не подозревали ни Проня, ни Тимофей Иванов. Возьмите книгу рассказов Г. Абрамова «Нечаянные хлопоты», вы то и дело будете на таких вопросах спотыкаться. Попробуйте их разрешить, попробуйте объяснить современную жизнь!

«Глядя на нее, я подумал, как легко и естественно в наше время недостаточно обеспеченный человек перестает вызывать даже простое сочувствие».

«Почему я совершенно не представляю, как помочь человеку в минуту, когда он действительно в этом нуждается? Кажется, что тут сложного? Но не могу. Не умею. Не знаю как».

«Откуда эти напряженные взгляды, стальные запоры, цепочки, эта боязливость, будто бы отпечатанная на всех лицах?»

Десятки их в книге, прямых, непраздных, насущных вопросов. Ясно, что поодиночке их не разрешить, не совладать — завалят с головой. Но просматривается взаимосвязь их друг с другом, единая обусловленность. В плане наиболее тесного сопряжения с жизнью, в направленности усилий на раскрытие ее законов следует, на мой взгляд, воспринимать в наше время призыв (или основной смысл его) к поиску новых путей в литературе. Новый путь должен обязательно пересекаться с узловыми вопросами бытия и давать на них ответы. К тому добавляю, что наиболее значимые силы молодой прозы находятся в данный момент на этапе поиска и формулирования этих узловых вопросов. Ведущим представителям ее присущи черты, в которых я вижу залог движения: 1) серьезное, даже суровое отношение к жизни, к ее проблемам, требованиям; 2) социальный охват, гражданственность; 3) беспощадность к себе. Посмотрите, как пишет В. Курносенко, врач по профессии, в рассказе «Побег».

«Стало быть, подумал я, те, что умерли, те, что умирают сотнями во всех точках Земли, стало быть, они — от войн, эпидемий, инквизиций — справедливо?! А вот эти ранки, две ранки, у моей, у моей доченьки, у меня — это — несправедливо. Так?

И тут я себя поймал. Я готовился презирать эту женщину, но я себя поймал. Ведь я-то сам — тоже!»

Это характерное беспощадное ловление себя за руку — в эгоизме, в расчете, в любых мелких, недостойных чувствах — свидетельствует о том, что нравственный идеал живет в нашем поколении, притягивает нас своей силой, прочностью. Он ничего пока не обещает, но света его хватает, чтобы начать разбираться в себе, чтобы выйти в процессе внутренней работы к главным вопросам человеческой жизни:

«Я готов поверить в любую смерть. Даже Лизы (это жена моя) поверю, хотя и меньше, чем в чью-либо еще. А в свою — нет. Потому что боюсь. Отвернусь, зажмурюсь, в иллюзию, в дым, в «десять тысяч» поверю, в любое поверю вранье — лишь бы жить, лишь бы не вытаскивать голову из-под крыла. Мне будет хорошо. И моей жене будет хорошо, и дочери, и главное — мне. Мне. Я оптимист. Оптимист от страха.

Я страшный оптимист».

Я не знаю, сколько шагов нужно сделать, чтобы от этих вопросов, от этой беспощадности к себе дойти, приблизиться к постижению всеобъемлющего жизненного смысла. Наверное, много, бесчисленное количество шагов. Но путь выбран, трудный путь, на который отваживаются пока немногие из молодых писателей.

Владимир ЧИВИЛИХИН

О ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ

«...Быть современным»

КОГДА наш народ начнет итожить свои труды за полвека, он, в частности, разберет работу нашего литературного цеха и, наверное, рассудит, кто и как помогал делу. Я-то в этом цехе работаю сравнительно недавно, мало пока сделал, над многим, что происходило в нашей литературе за последние годы, еще думаю и откровенно хочу сказать о том, над чем думаю, что меня тревожило за эти годы и что тревожит.

«Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота — и морем разлились вульгарность, надуманность, лукавство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый... Испорчен русский язык (в тесном содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей легкости — называемый «виртуозностью» — стих, опошлено все, вплоть до самого солнца... Чего только мы не проделывали с нашей литературой за последние годы, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись! Буквально каждая зима приносила нам нового кумира...»

Эти слова произнес в 1913 году Иван Алексеевич Бунин на юбилее «Русских ведомостей». Я не собираюсь полностью прилагать его мысли к нашим временам — нет. Но только никто, думаю, не станет отрицать, что во многих изданиях и книгах последних лет исчезли, как говорил Бунин, «драгоценнейшие черты русской литературы», и пусть не морем пока, а, скажем, порядочной лужей, все же разлилось то, что пришло на смену им, — и пошлость, и скороспелые кумиры, и легкость необыкновенная в рассуждениях о святых вещах, и эпигонская имитация стилей.

Не буду говорить обо всем этом, скажу лишь два слова о последнем — об эпигонстве. И не о жалком подражательстве заграничной литературной модерняге — деле абсолютно бесперспективном, а об эпигонстве, так сказать, на отечественной почве, явлении более сложном.

Довольно часто стали встречаться в журналах, книгах, особенно в рукописях, которые должны выйти через два-три года, произведения гладкие, как сейчас говорят, профессиональные, хорошие в общем-то по языку, не требующему особой редактуры. Но вот читаешь другой раз страницу за страницей и никак не можешь отделаться от ощущения, что все это ты уже где-то читал. И не раз. Слов нет, Бунин, например, внес огромный вклад в развитие русской прозы, но боже, сколько же молодых стали сейчас ему подражать! Причем имитируется довольно умело не только его язык, но и, что более существенно, имитируется его мироощущение. И чувствуется, что сей подвиг очень нелегко дается, хотя, наверное, свершить его все же легче, чем решиться на мучительные поиски своей золотой розы.

Продолжая тему об эпигонстве, перейду к более серьезному вопросу. Иногда берется одна из граней мировосприятия любимого писателя, гипертрофируется и искусственно прилагается к нашим дням.

Недавно я прочел издательскую рукопись, сделанную «под Бунина» очень умело и тщательно. Читаю. Ощущения новизны, которое всегда сопутствует настоящему в литературе, нет. И вот передо мной один за другим стали выстраиваться герои новелл. Это глубоко несчастные, голодные и бездомные старики, какие-то бродяги, неудачники, калики перехожие, обманутые жизнью и безропотно несущие свой страдальческий крест. И все это сплошь, как нарочно.

Конечно, горемыки есть в нашей жизни, и не всегда они становятся такими по своей вине. Отрицать это было бы так же плохо, так же вредно, как плохо и вредно было бы не заметить заданного предвзятого взгляда автора, представляющего нам картину жизни неполной, необъективной, необъемной, а следовательно, нехудожественной.

Я не мог принять этот общий тоскливый тон, нагнетающий настроение безвыходности, этот серый и скучный мир, в котором даже все краски притушены и стерты, — на протяжении дюжины рассказов, несмотря на обилие среднерусских, сибирских, даже среднеазиатских пейзажных зарисовок, ни разу не появляется солнце! Не думаю, чтобы это получилось случайно. Подтекст всего сборника, выбор героев, тон, делающий музыку, буквально кричит об одном: вот я показываю народ, вот жизнь как она есть, вот она, правда-матка, другой нет, и ничего с этим не поделаешь.

Однажды наш большой поэт Давид Кугультинов рассказал мне удивительно красивую народную легенду. В калмыцких степях будто бы растет трава, обладающая чудесным свойством награждать людей счастьем, доставлять им радость. Но эта трава неотличима от всех других. И когда человек срывает вместо нее горькую полынь, судьба делает ему мету — родимое пятно. Тайна и благости чудодейственной травы открываются избраннику, и драгоценная эта трава обладает еще одним свойством — второй раз на этом месте ее сорвать нельзя.

А разве не так в литературе, в искусстве? Наградить людей радостью может лишь избранник — самородный талант. И стиль — не вопрос формы или техники, а вопрос видения писателя, его образа мыслей, философии, вопрос личности. Бунин интересен своим неповторимым внутренним обликом, который, кстати, нельзя понять без его биографии, окружения, эпохи, в которую он жил и творил. Об этом надо помнить, наверное, когда мы учимся у классиков. Слепое эпигонство, повторяю, может привести к бездумной имитации мироощущения, под которое можно, легко и просто сдвинув времена, подложить миропонимание, взятое и оттуда, и отсюда. А в этом большая и серьезная опасность. Например, позиция молодого автора, которого я имею в виду, отнюдь не пассивна, она очень активно воспитывает пассивность!

Довольно модными стали в прозе общепсихологические медитации, фиксация неясных ощущений и настроений, чрезвычайно расплывчатая и фальшивая многозначительность — все это создает лишь видимость художественности, все это посредственность, явившаяся на смену, по словам Бунина, «непосредственности», а главное — все это уже было.

Воспитанные на нашей литературоведческой и критической классике, мы не знаем, из каких мест или каких времен явилось к нам то, что нередко происходило в нашей критике за последние годы, но наверняка все это тоже было — безответственный субъективизм и релятивизм в оценках произведений писателей, шум, треск, реклама, безудержные восторги по поводу одних имен и полное уничтожение или замалчивание других. Иногда терялись критерии истины, точки отсчета, и почти игнорировался в ряде случаев объективный научный взгляд на литературный процесс. В критике часто встречаешься с такими точками зрения, с такими проявлениями субъективизма, вкусовщины и групповщины, что дальше, кажется, уже и ехать некуда.

...Огорчительно, например, когда на страницах солидного журнала ведется несолидная критическая игра без правил. Некоторые критики размолачивают произведения, так и сяк раздирают тексты, вынимают из них душу живую, а потом со сладкой мукой лепят из этого сырья то, что им хочется видеть в нашей литературе. Такого, кажется, не бывало в худшие времена рапповского и всякого иного догматизма. Любой писатель будет благодарен за деловую, умную критику его произведений, за помощь в общем деле становления нашей лите-

ратуры, но зачем эти запрещенные силовые приемы, эти швыряния писателей головами на барьер?

Хочу обратить внимание также еще на одну особенность иных критических выступлений, приобретенную в последние годы в благоприятной атмосфере политического и хозяйственного субъективизма. В ряде статей и книг настойчиво выпячиваются второстепенные имена и произведения из прошлой нашей литературы, с другой стороны, мы перестали вспоминать многих писателей, составляющих становой хребет нашей социалистической культуры, в произведениях которых были те самые, как говорил Бунин, «драгоценнейшие черты», возрожденные революцией, — и глубина, и серьезность, и простота, и непосредственность, и благородство, и прямота.

Мы почти перестали вспоминать Серафимовича, Фурманова, Алексея Николаевича Толстого, мы позволили себе не заметить в прошлом году 90-летие со дня рождения Сергеева-Ценского, мы уже не ссылаемся на великого знатока русского языка, писателя-коммуниста Павла Петровича Бажова, мы не вспоминаем Вячеслава Яковлевича Шишкова, оставившего нам четыреста печатных листов превосходной литературы, Александра Георгиевича Малышкина, о котором Михаил Светлов сказал однажды, что «Малышкин — это чистота советской литературы». Не вспоминаем их, а значит, и не воспитываем на них.

Мы позволили настолько разорвать связь времен, что стали подзабывать даже самого Горького. В некоторых литературоведческих статьях и книгах, особенно отдельных молодых критиков, чаще ссылаются, например, на физика Нильса Бора, чем на основоположника пролетарской литературы. Я вовсе не призываю без конца талдычить и повторять общеизвестное, но сколько же в наследии этого великого писателя нужных нам сейчас и не освоенных пока мыслей, как могуч дух этого великого труженика и великого гуманиста, когда-то заряжавшего литературную атмосферу благородством и жаждой творчества, и как нам подчас не хватает этого! «Ему бы не бронзой средь бурного века, а просто еще бы пожить — человеком!» — хорошо сказал в балладе о нем покойный Василий Кулемин. Поневоле иногда думаешь: неужели кому-то надо наши времена без Горького превратить в негорьковские, чтобы, может быть, мы в конце концов задали бы себе проклятущий вопрос: «Да был ли Горький-то? А может, Горького-то и не было?»...

Я слабо разбираюсь в тонкой химии тиражирования и книготорговли, но случаются в этом важнейшем передаточном звене культуры, связывающем писателя с читателем, партию с народом, просто удивительные вещи. И я считаю своим долгом погромче сказать хотя бы об одной недавно вышедшей книге. Называется она «Литература и время». В ней собраны статьи, речи, заметки Леонида Максимовича Леонова о литературе и искусстве, сделанные за сорокалетнюю его службу отечественной словесности, начиная с очерка «Поездка в Сорренто», включая, в частности, речь на Первом съезде, статьи о Чехове, Гоголе, Барбюсе, Горьком, Грибоедове, патриотическую публицистику военных лет, прекрасное «Слово о Толстом», малоизвестную, боевую и мудрую статью «О театре будущего» и кончая памятной всем речью на ленинградской ассамблее Европейского сообщества писателей, которую Л. М. Леонов закончил просьбой не судить его за то, что ему в этой речи требовалось более, чем слушателей, убедить себя самого в «примате гражданина над художником». В книгу включено много статей и речей, которые никогда не издавались.

Это могучая книга. В каждой статье огромный русский писатель, поднимая читателя над обыденщиной литературных фактов, подмечает в искусстве явления и соотносит их с явлениями жизни. Видно, это святая тайна большого мастера, умеющего подчас одной строчкой, написанной в те времена, когда моего поколения и на свете-то еще не было, породить живые и быстрые ассоциации о сегодняшнем дне нашей литературы и нашей жизни. Густые глубокие леоновские абзацы засасывают глаз, ты не видишь еще, куда они тебя ведут, но вдруг в твоем восприятии как бы взрываются детонаторы, и вот ты уже покорен ясной точной мыслью, явлением истины. И каждым своим словом Леонид Леонов пресекает устоявшийся, банальный взгляд на предмет разговора, в то же время оставаясь верным своей цели, своей философии, своей позиции художника-гражданина.

Я бы купил десяток экземпляров этой книги, чтобы, скажем, при случае одарить ею хорошего человека или, например, взять ее с собой в недружественную заграницу в качестве концентрата родной духовной пищи, когда совсем уже не полезет в горло непривычный тамошний харч. Но оказалось, что книгу купить нельзя. Мы с другом-поэтом облазили всю Москву. Книги нигде не оказалось. В чем дело? Оказывается, книга «Литература и время» была издана тиражом в 5000 экземпляров. Ни у кого из опрошенных мною писателей этой книги нет. А что говорить о работниках культуры Ленинграда, Киева, Ростова, Новосибирска, о несметной армии любителей искусства, жаждущих понять нашу литературу и наше время? Не знаю, чья это ошибка — книготорга или издательства. Но если книготорг запросил эти пять тысяч экземпляров, издательство должно было с ним не согласиться. Я за такие, как сейчас говорят, волевые решения!

...Мы переживаем добрую пору, когда наш народ дышит воздухом перемен, борьбы и надежд, когда в науке, в экономике, в других сферах жизни нарождаются новые идеи, без шуму-грому поднимаются свежие, крепкие силы, чтобы улучшить общие наши дела не на словах, а практически. Мешать этому или даже со стороны смотреть, как будет получаться, — недобросовестно по отношению к своему народу; помочь ему в его делах, сойтись сердцем с читателями — вот наша задача. А для этого, по-моему, есть только одно средство: быть в своем творчестве современным.

Я не имею в виду современность, так сказать, календарную; мне, например, легче писать о людях, которые сейчас живут рядом со мной, другому же, чтобы вышло хорошо, надо немного отступить, взять дистанцию. Дело не в этом. Важно стать *современником своего народа*. Проникнуться духом времени, помочь угробить не скажу старое, потому что не все старое плохое, а помочь угробить плохое, — современно лишь то, что нужно современному человеку; заметить в жизни, написать о главном, неисчезаемом — современно то, в чем живет будущее: вот задача!

И, честное слово, иногда тошно становится от ломанья и пошлого обезьянничанья в поэзии и прозе, от литературного политиканства, от публичных демонстраций приязней-неприязней, от постыдного зрелища, когда какой-нибудь писатель, как хорошо в свое время выразился М. Пришвин, «занимается своим собственным распадом на-двое». Однако если вглядишься в литературный горизонт, то увидишь, как большая литературная волна, поднятая глубинными силами народной жизни, идет, набирает высоту, становится все накатней, круче и заметней...

Из выступления на пленуме правления Союза писателей РСФСР (1966 г.)

Забота о молодежи

...Так уж кажется, совсем недавно, чуть ли не позавчера, я принес в издательство рукопись первой своей книжки, и вот неумолимое время ставит тебя в положение, к которому, наверно, невозможно привыкнуть, — сам еще казнишься за письменным столом в неуверенности, подолгу ищешь нужное слово, своего поворота темы, так и этак выверяешь поступок героя, мучительно ждешь от самого себя доказательств своей литературной небездарности, а нужно уже, разбирая утреннюю почту, раскрывать чужую рукопись и отвечать на труднейший вопрос: «Вы только скажите, стоит ли мне продолжать, честно напишите, есть ли у меня что-нибудь и не лучше ли бросить насовсем это дело?»

С годами такой вопрос налагает на меня, как, думаю, и на каждого из нас, все большую ответственность, ибо только с годами мы начинаем осознавать бездонные глубины величайшей загадки, какой является человек с его подспудными — до поры до времени! — возможностями, способностями, талантами...

Сегодня я вспомнил подлинный случай из литературной биографии Егора Исаева, о котором он так характерно умеет рассказывать. Дело было как буд-

то в конце войны. Воинскую часть, в которой служил сержантом Егор Исаев, посетил известный поэт. Исаев робко показал ему свои первые вирши, и маститый поэт сказал что-то вроде этого: «Послушайте меня, молодой человек, я стреляный поэтический воробей. Оставьте это, не тратьте зря времени. Жить вы, конечно, как говорится, будете, писать, как говорится, нет». И я думаю сейчас: а что, если б Егор Исаев, послушавшись тогда глубоко уважаемого метра, притушил огонек, что разгорался в его сердце? Мы бы не имели «Суда памяти», не имели бы новой поэмы Егора Исаева, а она уже почти есть, не имели бы того, что этот талантливый и своеобычный художник еще успеет сделать, — были бы духовно беднее...

Нельзя не радоваться нашему сегодняшнему собранию, которое как бы подводит итоги большой работы, нельзя не радоваться тому, что российский писательский союз сумел найти организационные формы, помогающие выявлению в народе литературных талантов. Как праздник, многие из нас вспоминают, например, читинский семинар, который ввел в литературу Валентина Распутина, Александра Вампилова, Вячеслава Шугаева — всего около пятнадцати писателей.

Вот уж и новая поросль подоспела...

Несколько слов о том, что́ в прозе писателей, которых мы сегодня называем молодыми, меня оставляет равнодушным, а иногда и огорчает. Докладчик говорил о следовании каким-то литературным образцам и чуть ли не целое направление обозначил. Все правильно — молодой писатель подчас незаметно для себя осваивает предшествующий опыт, но худо, если это освоение идет за счет задержки собственного развития, отсрочки решительного поиска своего пути, своего лексического и смыслового ключа.

Конечно, это не плохо, когда в рассказе или повести проступают водяные знаки авторской судьбы, но суть вещи, ее фактура всегда должны представлять общественный интерес, а исполнение свидетельствовать о творческой самостоятельности. Последние годы стало много печататься книжек о прошлом, о детстве, первой любви, деревенской природе, о бабушках или дедушках, книжек, выдержанных в одинаковой лирико-элегической, а иногда и слащаво-сентиментальной тональности. Снова и снова вспоминаешь алексеевскую «Карюху». Тоже о деревне, о детстве, о родных, но какая в этой маленькой повести свежесть и суровая правда, какая сила изобразительности, какой историзм и социальный запал! Действительная жизнь, полная борьбы и шероховатостей, глубоких и сложных общественных, то есть социальных, экономических и нравственных конфликтов, противоречит упрощенческой умилительности, пасторально-буколической гладкости, а столь симпатичное, характерное для многих литераторов светлое мироощущение куда нужнее при художественном исследовании серьезных проблем жизни.

К сожалению, мы не даем пока нашему читателю г е р о я, а нужда в нем, тоска по нему огромна. Я заметил, что молодые рабочие, крестьяне, студенты, солдаты, школьники, едва почуют в облике персонажа сильные черты, цельность, окрыленность, — немедленно откликаются, затевая подчас очень доверительные разговоры о жизни, выборе пути, об идеалах. В отличие от многих из нас они не боятся этого слова — идеалы. Один студент пишет мне в своем умном письме: «Без идеалов человек становится скотом, а без носителей идеалов жизнь мертвеет». Я думаю, что навязший когда-то в зубах так называемый идеальный герой и герой, отвечающий идеалам большинства, — это все же разные вещи. Не буду останавливаться на классических героях советской литературы, продолжающих свою службу народу. Другие времена — другие песни... Читатель обновляется, герой ему будет нужен всегда, и долг всех нас, особенно молодых писателей, чья главная обязанность — поиск и дерзание, думать и работать над образом нового героя, которого бы поняли и полюбили современные читатели, захотели бы следовать ему.

Многим молодым писателям недостает знаний о подлинной широте жизни, ее объемности, и они почему-то не стремятся принять писательского участия в ней в качестве полномочных представителей своего народа, который одарил их талантом. Однажды я уже говорил о том, что считаю хорошей школой для молодого литератора работу в публицистике, в жанре серьезного очерка. Ведь нам

есть что поддержать, за что побороться, и нерешенными проблемами наша действительность не обижена... Друзья! Ну почему бы липецким, курским, воронежским, орловским, белгородским молодым писателям не объединиться да по-серьезному не разобраться, скажем, в овражных бедах русской земли? Помочь своим словом, общественным вниманием, своей поддержкой таким людям, как задонцы, — это было б великим делом, нужным партии и народу, настоящему и будущему нашего земледелия.

А вот еще большая тема. Ростовские, краснодарские, ставропольские молодые писатели знают, как ценится в их краях бревно или плаха — крылечка не починишь, мосток через канаву не перебросишь, на скворешницу доски не найдешь, не говоря уже о капитальных потребностях южнорусских деревень в лесных материалах. Между тем в лесах одной только Московской области пропадают без пользы более десяти миллионов кубометров древесины, которую сейчас надо выборочно изымать из леса для его же пользы, — это сухостойные и престарелые деревья первостатейной технической ценности. Молодые писатели лесных северных областей и безлесных, но денежных южных, могли бы в подробностях рассмотреть эту нелепую хозяйственную ситуацию, выявить для общего блага неиспользованные возможности, и я уверен: в такой работе они освежат свое восприятие действительности, загорятся новыми темами, увидят новые для себя характеры, ненадуманные жизненные ситуации. Да мало ли в окружающей реальности такого, на чем можно заострить свое перо и посодействовать улучшению жизни?!

Прежде чем перейти к новой теме, разрешите прочесть небольшое стихотворение молодого поэта, еще не выпустившего ни одной книжки.

На поле брани пали мужики.
От мужиков остались пиджаки.
Их жены и на хлеб не променяли,
Хозяев новых к ним не примеряли.
У сельских вдов устойчивая память,
А мужняя одежда всех теплей.
Ходили в них с граблями и цепами
Дорогами прожорливых полей,
Награды и взысканья получали
В тех пиджаках, свисающих с плеча,
Полою утирали след печали,
Детишек укрывали по ночам.
Уж внучки носят платьица бедово,
Как вызов старомодным старикам,
А в пиджаках поныне ходят вдовы,
И нет износа этим пиджакам!

Стихи написаны Анатолием Дрожжиным из Брянска. Опытный глаз может заметить в них какие-нибудь огрехи, но бесспорно, что автор очень одаренный человек, которому нужно внимание, поддержка, помощь. Ведь молодой литератор, особенно на периферии, часто лишен доброго совета, подсказки большого мастера, варится в своем соку, поздно созревает и случается, что он, годами работая в местной газете, испытывает недоброжелательство, ревность к своему просыпающемуся таланту, зависть к литературному приработку. По себе знаю, как необыкновенно дорого бывает простое устное слово поддержки или предисловие к книге, короткое письмецо большого писателя или доброжелательная рецензия. Но пора, видно, это добровольное вспомоществование подкрепить целенаправленными, организованными мерами.

Открыть талант проще, чем помочь ему выйти на широкую литературную дорогу. Тут непочатый край работы для организаций нашего союза, молодежной и литературной прессы, для издательств. В десятый раз читая в газете или журнале знаменитый список участников Первого всесоюзного совещания молодых писателей, думаешь — ну хорошо, эти товарищи проработали в литературе двадцать пять лет и заслуживают упоминаний, но почему же не вспоминаются писатели Второго, Третьего, Четвертого совещаний? Или оскудела наша земля талантами? Да нет же, не в этом дело, и наш пленум — еще одно тому свидетельство...

Из выступления на пленуме правления Союза писателей РСФСР (1975 г.)

Из писем

Уважаемая товарищ П.!

...Передо мной лежат два тома «Словаря русских старожильческих говоров». Считаю, что филологи Томского университета делают большую и благородную работу, редкую по нынешним временам. Не мне судить о научном значении этой работы, хотя оно, несомненно, велико. Скажу попросту о том, как отношусь к ней я, рядовой русский писатель.

Словарем не только можно пользоваться, не только изучать его, но и читать. Для меня и других писателей, сибиряков и несибиряков, ваш труд — замечательное подспорье в работе, однако я скажу все же о чтении. Мне лично занятие сие доставляет истинное наслаждение. И дело совсем не в том, что я родился в Мариинске, долго жил в Тайге, бывал во многих деревнях, которые посетили диалектологические экспедиции томичей-филологов, и радость узнавания родины через Вашу работу ни с чем несравнима. Дело в более существенном, принципиальном. В современной нашей литературе есть тенденция к обесцвечиванию, дистилляции, обеднению языка, противоречащая великим традициям великой русской литературы. Ваша работа настораживает слух, прививает вкус к народному слову, позволяет заглянуть в его семантические глубины, выявляет огромные резервы современной литературной речи...

Сердечно благодарю Вас и весь коллектив томских филологов за труд. С нетерпением жду выхода очередного тома. Как мне его добыть? Когда предполагается закончить все издание?

С уважением

Владимир Чивилихин
19 марта 1967 года.

К Р...

...Конечно, литература воспитывает не так, как передовая статья в газете, по-другому, она тайными путями пробирается в сердце и мозг человека. И все же предмет литературы — вся жизнь, которая включает в себя заботы и страсти миллионов людей, живущих на одной земле с художником, заботы и страсти общественного, то есть социального порядка. И писатель ограничит себя, обеднит в своем творчестве жизнь, если увлечется абстрактными общепсихологическими проблемами. Они вовсе не общечеловеческие, как это иногда утверждается, потому что общечеловеческое непременно включает в себя общественное, социальное.

20.08.65.

К В...

...Я считаю, что литература, особенно русская, — это единый процесс, нечто целое и цельное, всегда дружно, вне зависимости от жанровых или каких-либо иных особенностей отражавшая и отражающая всегда трудную жизнь своего народа, его духовную, нравственную сущность, но ее — кто волей, кто неволей — искусственно дробят сейчас на вопросики-подвопросики, на литературу, например, «рабочую», «военную», «историческую», «о природе», а так называемых «деревенщиков» превратили в последние два-три года в некое стадо...

...Вспоминая твои слова о декабристах во время одной из встреч, думаю о том, что героев 1825 года невозможно убрать из нашей истории или скомпрометировать. Кроме всего прочего, они оставили такой след в нравственной жизни русского народа, что дай бог каждому, а сейчас время такое, что мы должны дорожить любой ценностью прошлого...

Жму руку

В. Чивилихин
14.09.80.

Здравствуй, Ю...!

...мне кажется, что это не «книга раздумий», а «книга впечатлений», и это тоже неплохо — непосредственность, искренность, типичное в мимолетном всегда были добрыми качествами в русской публицистике, хотя всем нам страшно далеко до первой и лучшей публицистической русской книги (объемом всего в печатный лист!), я имею в виду «Слово о полку Игореве». Хорошо, что ты вспомнил о Василии Шукшине, однако надо бы повыразительнее сказать где-то к месту о фильме «У озера». Так вот получается: «Светлое око Сибири» прочло сто тысяч человек, а (...) этот фильм просмотрели десятки миллионов, если не сотня; ложь сейчас бежит не на коротких ногах и даже не на длинных, а величаво шагает на ходулях.

Ты молодец, что добился новой публикации о Байкале, было трудно, предполагаю и даже знаю, для меня уже стало невозможным вымаливать на коленях право любить свою страну, но думаю иногда — неужто все в литературе заменится жвачкой, иногда очень даже мягкой и сладкой, то есть «художественной»?

Жму руку

Вл. Чивилихин

10.06.75.

Дорогие товарищи!

Наконец-то могу выполнить вашу просьбу — прислать в Сочинский музей Николая Островского свою книгу.

«Как закалялась сталь» я впервые прочел еще перед войной, совсем зеленым парнишкой. Мне было тогда всего лет 10, и жил я в небольшом сибирском городке Тайга. Книгу привез мой старший брат Иван из Томска, где он учился. Как драгоценность, помню, он прятал ее от меня, но я находил и читал запоем вместе с сиротой Маней Поворовой, которую мы приютили. Это была очень одаренная девочка — она первой из наших мест была послана в Артек. В то время и она, и я пожирали все книги, которые попадались под руку, однако «Как закалялась сталь» заслонила все, что я читал до того, и многое-многое из того, что прочиталось за долгие годы после.

Мне Павка Корчагин светит всю жизнь, как высшее выражение принципиальности, самоотдачи, энергии, воли, верности делу рабочих и крестьян. И я, подобно миллионам других, всегда хотел быть похожим на него, только не всегда это получалось, хотя тоже был полусиротой с детства, так же любил мать-великомученицу и старшего брата, тоже ездил в юности кочегаром на паровозе, тоже боролся кое с кем и кое за что, тоже стал писателем и даже одновременно, в один день с Николаем Островским, удостоился премии Ленинского комсомола...

И вот я уже на целых двадцать лет пережил его, а сделано так мало!

Спасибо работникам музея за то, что они с такой страстью пропагандируют облик и книги Николая Островского.

Ваш Владимир Чивилихин — 12 октября 1979 года.
Москва.

Уважаемый Г. М.!

...Статью Вашу прочел еще до отъезда. Она интересна, богата по материалу, очень нужна...

Но... она суховата и статична. Надо бы всю ее переписать. В журнальном выступлении, кроме познавательных достоинств, должна быть яркая полемичность, броскость, разговорные интонации, доверительность, популярность. Стиль изложения у Вас рассчитан на более или менее осведомленного и понимающего человека, в то время как надо было сочинить что-то вроде завлекательного письма к некоему усредненному современному человеку, грамотному и умному, но который впервые через Вас знакомится с травками и проблемами их внедрения в рацион, быт и медицину. Показать статью в журнале такой, как она написалась, или Вы подвигнетесь поработать еще над ней в смысле ее оживления и популяризации?.. Я хочу сказать, что боги сроду не обжигали горшков, делом сим всегда занимались люди. Только дело это нелегкое и даже подвижниче-

ское — хорошо писать, и я каждый день сажусь марать бумагу с чувством, будто никогда ничего в жизни не писал.

Жму руку и жду ответа.

В. Чивилихин
14.01.76.

Дорогой А...!

Ваше письмо получил. Оно честно отражает нашу изменчивую и непростую жизнь — сплав прошлого с будущим, бессилие и всесилие человека, отражает непридуманную, реально существующую борьбу правды с ложью, общественной морали с эгоистической. Это моя «профессиональная», так сказать теоретическая, холодноватая оценка письма. Читал же я его неотрывно, с гневом и душевной болью, с благодарностью за доверие. Письмо вызывает очень сложное ощущение тоски и радости, упадка и подъема сил, неуверенности и уверенности в себе и людях, хотя моей шкуре давно бы пора задубеть — меня мололо всяко.

Что Вам ответить? Вы правы, называя меня писателем-журналистом. И сейчас я помечтаю, опять же «профессионально». Вот послушайте. Откровенно говоря, это письмо вместе с тем, что Вы еще не высказали (а Вы, как я понял, собираетесь писать мне еще, уже больше о себе), это письмо — хорошая заготовка к своеобразной повести-исповеди. В нем есть страсть и жизненная достоверность, знание материала, производственных, моральных проблем, знание себя как основного героя вещи. Нужно сделать работу художественной — поместить людей и вещи в видимый, слышимый и осязаемый мир, расположить конфликты в порядке возрастающей драматичности, глубже и яснее прорисовать характеры, раскрыть полнее Степачёва и себя (т. е. основного героя предполагаемой повести), много чего еще надо. Я был бы счастлив, если б этим своим советом помог Вам решиться, заставил бы сесть Вас за работу, чтоб через годик-полтора появился на Руси еще один честный литератор. Мне кажется, Вам стоит об этом подумать.

И тут же во мне берет слово журналист-коммунист. Ведь Вы — живой человек, и Степачёв тоже, и (к сожалению) Вартазарян. Все, о чем Вы пишете с такой взволнованностью, реально существует в жизни, с этим надо реально же бороться, помогать правде, чтоб ее лжа не съела.

Честно скажу, я не могу одобрить Вашего поступка, хотя, как говорится, сам грешен. Простой вопрос есть: если я сбегу, ты, он, — кто же будет налаживать дела на нашей родной земле? Степачёвы? А мы будем только ими восхищаться? Кстати, добавлю, что Степачёв в Вашем письме почти не действует, действуете больше Вы сами и Ваше желание публично объяснить свой поступок — тоже действие, борьба. Пожалуй, я немедля покажу Ваше письмо друзьям-газетчикам. Думаю, что они могут за него зацепиться и поднять разговор, который носится в воздухе.

Мне, знаете, пишут многие, и я очень часто жалею, что не являюсь главным редактором газеты. Ведь чтобы напечатать Ваше письмо сейчас, надо быть смелым. Что ж, попробуем убедить...

Желаю Вам крепости духа и здоровья

В. Чивилихин

Уважаемый Н. Я.!

«Подредактировать», как Вы пишете, Ваше коротенькое воспоминание о фронтовом эпизоде невозможно, надо все переписывать, то есть сочинять заново. Такой или десяток подобных эпизодов можно даже выдумать — это несложно, но нужно иметь множество другого, чтоб случай стал литературным произведением, и если, скажем, кто-то на такой основе сделает рассказ, то это будет не Ваш рассказ, а того, кто его напишет с присущим ему слогом, умением строить сюжет, фразу, передать настроение. Дело это специфическое, деликатное, потребен талант, и Вы, конечно, понимаете, что нельзя чужой талант выдать за свой...

С уважением

В. Чивилихин 28.05.77.
Москва.

Ув. Р.!

Вы постепенно втягиваете меня в дискуссию. Наверно, это обоюдно полезно, только, честно сказать, меня Ваше последнее письмо привело в состояние недоумения и досады.

Еще раз (вернусь)* к двум (старым) пунктам. Если у Вас другие (мысли) и Вы на них стоите, то я бы хотел это окончательно понять. Вы не согласны с тем, что символика Леонова — принципиально новый ракурс в образном видении мира, и считаете, что в этом он не неповторим и неиндивидуален. Я придерживаюсь обратной точки зрения. Мне кажется, что прием иносказания вообще пронизывает художественное творчество. Вы правы, что в мировой литературе «очень много писателей», пользующихся этим приемом. Но я имею в виду символику Леонова, а не писателей вообще... Где Вы встречали подобное столкновение умов, идей, характеров, целей, исполненное глубочайшей символики? И вот (...) во всем этом (и многом другом, о чем надо думать Вам) — леоновский ракурс в образном видении мира, самостоятельная леоновская символика. Но совсем уже другое дело, если Вы не видите этой самостоятельности...

Относительно «фона» я также остаюсь при своем мнении и совершенно не согласен с Вашим утверждением, что «деревенский фон для многих писателей органически необходим». Эти «многие писатели», очень хорошие писатели, деревенский фон взяли только потому, что он им ближе, знакомее, и тут зависимость обратная той, которую устанавливаете Вы.

И абсолютно, по-моему, недопустимо сближать Л. М. Леонова с этими писателями по признаку, намеченному Вами. Если идти по этому признаку — «деревенская тема», то уж куда они все ближе Бунину, Шолохову, Панферову. И Вы чувствуете, какая получается сборная солянка? К тому же, честно говоря, Вы никак не сможете назвать Л. Леонова писателем, разрабатывающим «деревенскую тему», и подтягивать к нему «последователей» — Астафьева, Шукшина, Белова, Айтматова и т. д. по этому признаку — значит противоречить научности, объективности и здравому смыслу.

Или осмелюсь привести в пример свою писанину. Я плохо знаю деревню — это объясняется моей биографией. Но почему же Вы тогда считаете, что моя работа идет в «леоновском» ключе? Из-за того, что я о лесе пишу? Но это же совершенно поверхностное и неверное объяснение! Нет, наверное, тут надо исходить из сути, из того, что составляет идейно-философское кредо художника, из того, что хочет (принести) людям писатель. И без Вас, извините меня, все позапутано в сегодняшнем литературном процессе нашей критикой и литературоведением... Мне кажется, что Вы собираетесь идти по (...) формальным признакам... И характер Ваших вопросов ко мне подтверждает это мое заключение. Нет, если Вы задумали написать такое исследование, то я христом-богом молю вас — не поминайте меня в своей работе; я не есть и не хочу выглядеть где-то эпигоном кого бы то ни было, усваивающим язык, приемы и прочие формальные всетемности старшего товарища по перу, которого я действительно считаю в какой-то степени своим учителем, а он меня — в какой-то степени последователем.

Да, я не ответил на Ваш вопрос, заданный в одном из предыдущих писем. Вы спрашиваете, откуда я знаю быт и характеры очень разных по профессии людей. А я это сам не знаю. Может быть, потому, что я перепробовал множество работ? Был кочегаром на паровозе, слесарем, чертежником, бригадиром на промывке паровозных котлов, мастером ремесленного училища, преподавателем, работал и на сенокосе, и на лесоповале, на шишкарном промысле и пр. (Немного) также я знаю (...) изыскателей железных дорог, лесоустроителей, метеорологов, лесников и лесничих. У меня среди них много друзей...

В общем, желаю Вам успехов. Не обижайтесь на меня за некоторую резкость — я ведь хочу, чтоб Вы поставили в своей работе перед собой сверхзадачу, а не пошли по легкому пути. Эта задача требует больше раздумий о нашем времени и литературе, чем наметили себе Вы. И работа Ваша могла бы стать весомее, серьезнее, глубже, «леонистее».

(В. Чивилихин)

---

* Здесь и далее в скобках должны быть слова, не разобранные по рукописи.

Письмо в редакцию

ОТВЕТЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ ВОПРОСЫ

В «Литературной газете» от 19 марта 1986 года на видном месте и под броским заголовком напечатана статья П. Николаева «Время ответов». Отвечает П. Николаев, естественно, «Нашему современнику», хотя и не тем ученым, которыми был уличен в кое-каких «опрометчивых высказываниях» (см. №№ 5 и 8, 1985). К тому же им он уже отвечал, а если и неубедительно, то виновато, видимо, «безвременье».

П. Николаев распаляется по поводу того, что в № 3 журнала за 1985 год «автор одной из недавних журнальных публикаций» «объявляет толчком к созданию тайных декабристских обществ известие о намерении царя перенести столицу России из Петербурга в Варшаву!». Читателю разъясняется, что «в двадцатом веке благодаря В. И. Ленину выявлены иные конкретно-социальные истоки декабризма», а вовсе «не мнимый космополитизм Александра I». У того же автора П. Николаев обнаружил «пример внесоциального взгляда на явления», «снижение профессионального уровня» и неверную ссылку на воспоминания И. Якушкина, которые будто бы «подтверждают совсем противоположное». Не уточнив, какая же «противоположность» космополитизму вызывала гнев декабристов, П. Николаев оставляет недоступную простым смертным «методологию» и взывает к чувствам читателя: «На что рассчитывал автор? Неужели на лень читателя, который не захочет перепроверять факты? А в случае перепроверки у читателя возникнет недоверие и ко всему рациональному и интересному в подобной работе — неужели автора это не беспокоило?».

В последней тираде П. Николаев разъяснил, на что он сам рассчитывает: читатель проверять не будет, не посмотрит даже, о чем шла речь в №№ 3 и 9 (1985 г.) «Нашего современника». Видно, не слишком высокого мнения он и о подготовленности своего читателя, если отсылает его к несуществующим работам о декабристах. А в тех номерах речь шла тоже о методологии, и в рамках ее рассматривалось, в частности, соотношение патриотизма и космополитизма. Именно в этой связи и давалась отсылка к воспоминаниям Якушкина, помещенным в I томе известного трехтомника «Избранных социально-политических и философских произведений декабристов». П. Николаев уверяет, что отсылка неверна и что Якушкин не может служить возвышению патриотического чувства. Что же, давайте проверим! Предмет того несомненно стоит.

Воспоминания И. Якушкина о «московском заговоре» 1817 г. цитировались многократно, и ничего нового в этом случае «один автор» не сказал. Сошлемся хотя бы на известное двухтомное исследование М. В. Нечкиной — крупнейшее в советской историографии.

М. В. Нечкина призывала «обратить внимание на следующие явления при изучении истории Союза Спасения. В ноябре 1815 г. Александр I подписал конституционную хартию Польши, а Россия оставалась страной самодержавного произвола, лишенной конституции. Это оскорбило патриотов-новаторов, задело достоинство передовых русских людей» («Движение декабристов», т. 1, М., 1955, стр. 149). И непосредственно к событиям 1817 г. относится следующее ее рассуждение:

«Чувство, что Россия стоит на краю гибели, еще более обострилось у декабристов во время пребывания в Москве. В разгоряченную атмосферу страстных прений, как пылающая головня в сухой хворост, попало пришедшее из Петербурга... письмо члена общества Сергея Трубецкого, извещавшее о страшной опасности, грозив-

шей России. Александр I, как передавало письмо, только что имел конфиденциальный разговор с князем П. П. Лопухиным о своем намерении, восстанавливая Польшу под своим владычеством в границах 1772 г., не посчитаться с историей и отторгнуть от России Правобережную Украину и Белоруссию, которые декабристами, естественно, рассматривались как исконно русские земли. По всем данным, разговор на тему, близкую к изложенной, действительно имел место, так как Александр I в это время был вплотную занят вопросами польского устройства и проектировал территориальное расширение Польши... Отторжение от России ее огромных исконных областей, сопровождаемое оскорбительным законодательством и неминуемым народным бунтом, в хаосе которого, по мнению декабристов, вообще все могло бы погибнуть, вызывало их страстное возмущение и требование немедленного выступления тайного общества («начинать немедленно действие», — требовал основатель общества Александр Муравьев). Для них стало еще яснее, что царь «ненавидит Россию»... Вопрос о цареубийстве стал поэтому в порядок дня на бурных заседаниях в Хамовнических казармах. Живой их облик отражен в показаниях Александра Муравьева: «Преступный разговор сей был общий, был шумный, происходил в беспорядке... многие говорили вместе, не слушая и не выслушивая других. Иной... курил табак, другой ходил по комнате». Совещание, по свидетельству Сергея Муравьева, длилось «пять или шесть дней»...

В Петербург от Московского совещания спешно направили письмо с извещением о назревающих решениях и с вызовом остальных членов в Москву.

В напряженной атмосфере собраний в Хамовнических казармах предложение прибегнуть к цареубийству нашло несколько откликов. По данным следственных дел и мемуаров, можно установить по меньшей мере четыре имени декабристов, вызвавшихся быть цареубийцами: Якушкин, Никита Муравьев, Артамон Муравьев и Федор Шаховской, причем первым заявил о своем решении Якушкин. Эти имена всплыли, по-видимому, не на одном, а на нескольких заседаниях тайного общества... По свидетельству Фонвизина, вообще все присутствовавшие члены решили «посягнуть на жизнь монарха».

Наиболее красочное описание первого заседания мы находим в «Записках» Якушкина: «Александр Муравьев перечитал вслух еще раз письмо Трубецкого, потом начались толки и сокрушения о бедственном положении, в котором находится Россия под управлением императора Александра. Меня проник дрожь (sic!); я ходил по комнате и спросил у присутствующих, точно ли они верят всему сказанному в письме Трубецкого и тому, что Россия не может быть более несчастна, как оставаясь под управлением царствующего императора». Все уверили в том Якушкина, а Александр Муравьев предложил бросить жребий, «чтобы узнать, кому достанется нанесть удар царю. На это я ему отвечал, что они опоздали, что я решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести» (там же, стр. 176—178).

А что же все-таки прямо противоположное вычитал П. Николаев у Якушкина? Каким образом зачислил он патриотизм в разряд «внесоциальных явлений», если это чувство обязательно социальное? И что такое нашел он у Ленина, что позволило бы отвергнуть изложенные факты? Статью Ленина «Памяти Герцена» изучают в школе. Другие упоминания указывают на то же: далеки от народа, но жертвовали собой, дабы разбудить его.

Крестьянин бунтует, доведенный до отчаяния. Когда речь заходит о мотивах деятельности дворянских революционеров, у нас и выбора нет: если люди жертвуют собой ради других — их побуждения бескорыстны. А патриотизм и есть самое бескорыстное из социальных чувств.

П. Николаев тоже «жертвует». С легкостью и безоглядностью бросает на поток свой «профессиональный уровень». Это, в конечном счете, его личное дело. Но автор до такого же «уровня» пытается низвести и Ленина, и материалы съезда, да еще в форме угрозы: «вот теперь-то мы поговорим». А это посерьезнее, чем отношение декабристов к космополитизму.

А. КУЗЬМИН.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

К 41-й годовщине Великой Победы

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Что помнят ветераны

Продовольственная программа — забота общенародная

КРИТИКА

К VIII Всесоюзному съезду писателей СССР

Письмо в редакцию

О наших авторах

☆ *Олег Алексеевич АЛЕКСЕЕВ родился в 1934 году в деревне Малая Мохновка Псковской области. В годы Великой Отечественной войны активно помогал партизанам. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор многих книг стихов и прозы, в том числе «Гремок», «Волхова», «Горячие гильзы». Член Союза писателей. Живет в Москве.*

☆ *Виктор Петрович АСТАФЬЕВ родился в 1924 году в селе Овсянка Красноярского края. Участник Великой Отечественной войны. Автор многих книг прозы. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР. Живет в Красноярске.*

☆ *Евгений Рысеевич БУЛИН родился в 1952 году в Магнитогорске. Окончил Куйбышевский политехнический институт. В настоящее время учится на заочном отделении Литературного института имени А. М. Горького. Живет в г. Люберцы Московской области.*

☆ *Анатолий Егорович КОНАНОВ родился в 1920 году в деревне Коптяевской Архангельской области. Участник Великой Отечественной войны. Полковник в отставке. Окончил военное училище и Архангельский педагогический институт. Печатался в журналах «Север», «На боевом посту». Автор сборника рассказов «Колька Гранин». Живет в Архангельске.*

☆ *Борис Николаевич КУЛИКОВ родился в 1937 году в станице Семикаракорской Ростовской области. Автор многих книг стихов, прозы и очерков. Член Союза писателей. Живет в Семикаракорске.*

☆ *Юрий Николаевич ЛЕОНОВ родился в 1932 году в Свердловске. Окончил отделение журналистики Уральского университета. Автор книг прозы «Письма идут месяц», «Люди как люди», «Желуди для красной конницы» и других. Член Союза писателей. Живет в Москве.*

☆ *Иван Сергеевич УХАНОВ родился в 1938 году в Горьковской области. Окончил факультет русского языка и литературы Оренбургского педагогического института имени В. П. Чкалова. Автор многих книг прозы. Член Союза писателей. Лауреат премии Ленинского комсомола. Живет в Москве.*

Рукописи менее авторского листа не возвращаются

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию газеты «Красная звезда»: Москва, 123826, Хорошевское шоссе, 38.

Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **З. С. Гуляевская, М. И. Кононова**

Адрес редакции: 103750 ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 221-43-59 (ответственный секретарь), 221-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 228-32-16 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав редакцией)

Сдано в набор 12.02.86 г. Подписано к печати 14.04.86 г. А-10578.
Формат 70×108$^{1}/_{16}$. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 19,22 Тираж 220 000 экз. Заказ 404 Цена 80 коп.

Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

ЦЕНА 80 КОП. ИНДЕКС 73274

НАШ СОВРЕМЕННИК